

А. БЕЗАНСОН

русское прошлое и
советское настоящее

ален БЕЗАНСОН



русское
прошлое
и
советское
настоящее

**РУССКОЕ ПРОШЛОЕ И СОВЕТСКОЕ
НАСТОЯЩЕЕ**

Alain Besançon

**RUSSIAN PAST
AND SOVIET PRESENT**

Translated and edited by A. Babich
With an introduction by *Mikhail Heller*

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
LONDON 1984

Ален Безансон

**РУССКОЕ ПРОШЛОЕ
И СОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ**

Перевод и общая редакция *А. Бабича*
Вступительная статья *Михаила Геллера*

OVERSEAS PUBLICATIONS INTERCHANGE LTD
LONDON 1984

Alain Besançon: RUSSKOE PROSHLOE
I SOVETSKOE NASTOIASHCHEE
Translated and edited by A. Babich
With an introduction by Mikhail Heller

First Russian edition published in 1984
by Overseas Publications Interchange Ltd
8, Queen Anne's Gardens, London W4 1TU, England

Copyright © Alain Besançon

All rights reserved

No part of this publication may be reproduced,
in any form or by any means, without permission.

ISBN 0 903868 51 2

Cover design by *Danuta Niekrasow-Heller*

Printed in Great Britain
by Multilingual Printing Services (UPL)
200 Liverpool Road, London, N1 1LF

КОРНИ И ПЛОДЫ

Знаменитая формула Черчилля — «Советский Союз это загадка, покрытая тайной, обернутой в секрет» — хорошо выражает отношение западного мира к октябрьской революции 1917 г. и порожденной ею системе. Революции в Англии, Франции, в других странах вызывают до сих пор споры историков и политических деятелей об их причинах и последствиях, о цене и результатах. Никто, однако, не говорит о тайнах, секретах, загадках революций и созданных ими обществах и государствах.

Непонимание характера советской системы, целей советского государства объясняется различными причинами: увлечением коммунистической идеей, обманутостью лозунгами, соблазном «твердой власти», разочарованием в «гнилой демократии», надеждой на утопию. Все эти и другие подобные причины имеют один источник: мышление по аналогии. Советский Союз рассматривается — причем безразлично, прокоммунистическими или антикоммунистическими — историками, социологами, государственными и политическими деятелями по аналогии с иными странами и системами. Как в басне о слепцах, знакомившихся со слоном, западные теоретики и практики обнаруживают знакомые им части тела, но не видят чудовища, неизвестного истории.

Статьи и эссе французского историка Алена Безансона, собранные в предлагаемой читателю книге, посвящены различным частным или общим проблемам русской и советской истории: их объединяет редчайшее достоинство — понимание специфичности изучаемого объекта, адекватность методологического подхода. Одна из самых интересных работ называется «Анатомия одного призрака». С присущим ему мастерством формулировок

Ален Безансон определил объект своей научной деятельности: призрак. Он увидел «фантастичность», «фантазмагоричность» системы, которая представляет собой чудовищную реальность для всех, кто находится в ее утробе.

Заглавие сборника сразу же отсылает читателя к одному из важнейших вопросов нашего времени: в какой связи находятся между собой «русское прошлое и советское настоящее»? Ответ на этот вопрос в значительной степени предопределяет понимание или непонимание советской системы. Подавляющее большинство западных теоретиков и практиков — историков и государственных деятелей — отвечает на вопрос однозначно: октябрьская революция — это революция русская, не только потому, что она произошла в России, но и потому, что такая революция могла произойти только в такой стране. Было бы несправедливо, говоря о «западном» ответе на вопрос, не вспомнить, что в значительной степени он подсказан некоторыми русскими историками и философами, прежде всего Николаем Бердяевым. Книга Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма» во многом определила отношение западных мыслителей к коммунизму, как русскому феномену. Но Бердяев писал свою книгу полвека назад, до появления в разных частях света коммунистических государств советского типа.

Подавляющее большинство западных теоретиков и практиков своих взглядов не изменило. Ален Безансон принадлежит к числу тех, кто обнаружил универсальность советского феномена, кто на вопрос о связи между прошлым и настоящим ответил: нельзя забывать о существовании географии, истории, национальной памяти, но их роль вторична по сравнению с теми силами, которые приводятся в движение коммунистической революцией.

Взгляды А. Безансона на русскую историю, на историю СССР, на характер «призрака» сложились не сразу. Его первые работы были посвящены истории

России XIX в. Значительное место занимает в них исследование культуры, литературы. Историк сразу же определяет свой метод: понимание русского прошлого невозможно без понимания духовной жизни, без постижения смысла деятельности носителей духовности. Естественно, что А. Безансона привлекают споры славянофилов и западников, история рождения интеллигенции. Немало западных исследователей работает над этими сюжетами. Первая же книга А. Безансона («Убитый царевич», 1967), свидетельствовала, что молодой историк ищет выхода из круга традиционных понятий и традиционной методологии. Он перебрасывает мост между прошлым и настоящим, между Россией и Советским Союзом, но обнаруживает, что это связь между «новыми людьми», первый портрет которых дал Чернышевский, и «новыми людьми» ленинско-сталинской эпохи. Еще более важным и плодотворным было открытие связи между языком героев «Что делать?» и докладами на съездах партии. А. Безансон констатирует: «Стилистический ритуал докладов на партийных съездах при Ленине и Сталине (но уже на собраниях «у наших» в «Бесах») выдает притязание на создание законченной модели реальности и полное бессилие заключить реальность в эту псевдорациональную клетку, которую строит оратор».

Через десять лет после первой книги Алан Безансон подведет итоги своим поискам, ход которых запечатлен во многих публикациях, выпустив монографию «Интеллектуальная родословная ленинизма». Что такое ленинизм? — спрашивает историк. — Каково его происхождение? Где его корни? Ленинизм — это советская идеология. С этим согласны все. Но что такое идеология? Начав исследование цитатой из А. Солженицына об «арсеналах лжи», привлекаемых, как «налог в пользу Идеологии», А. Безансон сразу же отказывается от традиционного в западной философии понимания идеологии. Отказывается от анализа абстрактного, теоретического понятия и подвергает разбору идеологию

в действии — физическую силу, поработившую народ, инструмент власти.

Советская идеология, если ее рассматривать как систему идей, поразительно проста. Ее целиком исчерпывает статья в «Кратком философском словаре». О ней было все сказано в знаменитой 4-й главе сталинского «Краткого курса ВКП(б)». Но идеология не сводится к системе идей. В ней имеются обманчивые черты сходства с религией, с философией.

Поиски «секрета» идеологии А. Безансон начинает с поисков модели. Он находит в истории религии движение, многими своими чертами предвосхищающее идеологию. Это — гностицизм. Главные черты гностицизма и его продолжения — манихеизма: наличие двух принципов — добра и зла, света и тьмы, духа и материи, и трех времен — прошлого, когда перечисленные выше враждебные субстанции были совершенно разделены, настоящего, когда они смешались, и будущего, когда они снова — как в прошлом — будут разделены. Манихеисты, кроме того, утверждали, что Старый человек должен уступить место Новому человеку. Появление Нового, Совершенного человека спасет мир. В июне 1983 г., выступая на пленуме ЦК, К. Черненко излагает эту идею так: «Революционное преобразование невозможно без изменения самого человека. И наша партия исходит из того, что формирование нового человека — не только важнейшая цель, но и неперемное услэзие коммунистического строительства».

Анализ гностической модели позволяет А. Безансону сформулировать определение идеологии. Это — систематизированная доктрина, обещающая спасение тем, кто ее примет; доктрина объявляет себя соответствующей космическому порядку, который она сумела разгадать, в связи с чем провозглашает себя — научной; в политической практике доктрина стремится к тотальной перестройке общества, в соответствии с порядком, открытым по законам науки. Общее с религией — вера в спасение. Общее с наукой — вера в науку.

Блестящий мастер чеканных формул А. Безансон резюмирует: Авраам, св. Иоанн, Магомет знали, что они верят; Ленин верил, что он — знает.

Автор «Интеллектуальной родословной ленинизма» отмечает, что идеология — феномен, возникающий лишь в исключительных обстоятельствах. В истории человечества он обнаруживает лишь два примера: гитлеризм и ленинизм.

Открытие феномена идеологии, как определяющего фактора советской системы, дало А. Безансону возможность отвергнуть господствующее на Западе убеждение о неразрывности русского исторического процесса и логичности превращения царской России в Советский Союз. «Нет, — пишет он, — идеология, по вине которой Россия заключена как бы в скорлупу, гипертрофирующую наиболее карикатурные черты старого режима, идеология разорвала связь между старым и новым режимами, значительно увеличив нормальную дистанцию, которая отделяет у современных народов прошлое и настоящее». Одновременно историк отвергает распространенное мнение о чисто русском происхождении идеологии, подчеркивая: «Эта точка зрения опасна тем, что позволяет думать, будто бы идеологический режим может возникнуть лишь на территории России и не транспортабелен в другое место. Факты современной истории свидетельствуют об ином».

Об ином свидетельствует и происхождение идеологии, ее прошлое. А. Безансон выделяет два цикла, предшествовавших ленинизму: французский и немецкий. Французский цикл — французское умственное движение, начавшееся в XVII в., завершившееся революцией. В различных клубах эпохи революции, прежде всего у якобинцев рождается «эмбрион партии с ее важнейшим элементом — языком». В эту эпоху появляется массовый террор, направленный не против человека, людей, а против «чудовищ», «врагов народа». Наконец, в это время на сцене истории появляется фигура Идеолога: человека искреннего, бескорыстного, не любящего

ни денег, ни женщин, ни вина, не имеющего друзей, мастера политического маневра, видящего всюду заговоры и ловушки, жреца партийного языка.

В немецком цикле корни идеологии уходят в XVI в., и оттуда ведут к Гегелю, Марксу, Энгельсу.

Россия дополняет два важнейших элемента идеологии — французский и немецкий циклы — третьим. В России появляется интеллигенция, социальная группа, которая станет как бы переносчиком микроба идеологии. Западные элементы идеологии проникают в кровообращение русской мысли — и через славянофилов, и через западников. Чернышевский создает модель революционера-идеолога, Нового человека. Одновременно рождается мечта о партии. Первый ее эскиз набрасывает П. Ткачев.

В начале XX в. Ленин создает систему, в которой жестко и упрощенно кристаллизуются темы и идеи гностицизма. А. Безансон обнажает «основы ленинизма»: ленинизм, как манихеизм, опирается на два принципа и три времени. Два принципа — это ленинский дуализм: в мире идет ожесточенная борьба классов; борьба нужна, следует ее непрерывно усиливать, ибо чем острее конфликт, тем ближе окончательное решение; главный враг — тот, кто мешает обострению конфликта, борьбе двух враждебных сил. Все в мире существует как борьба противоречий, двух сил; существуют две морали, две культуры.

Сохранив концепцию трех времен, ленинизм ее «усовершенствовал», введя понятие «плохого прошлого», которое мешает приближению будущего, и «хорошего прошлого», ускоряющего будущее, расчищающего ему дорогу. Настоящее — время сортировки: уничтожается то, что мешает будущему, проявляется забота о том, что может ему помочь.

Написав историю советской идеологии, проследив ее корни, А. Безансон обращается к плодам — приступает к изучению идеологии у власти. До захвата власти она была доктриной. После — ее сутью стала власть, сохра-

нение власти. Первым актом идеологии было разрушение. Революция, объясняли Маркс и Энгельс, акушер нового мира. А. Безансон констатирует: пролетарская революция взрезала брюхо старого мира — ребенка там не оказалось.

В числе важнейших открытий А. Безансона — основная функция идеологии после прихода к власти: создание ирреальности, миража того, чего нет в реальности. Идеология декретирует создание «зрелого социализма» и запрещает, угрожая тюрьмой, лагерем, сумасшедшим домом, сомневаться в подлинности иллюзии. Хорошо зная роль физического террора, историк самое пристальное внимание обращает на еще более важный инструмент идеологии — Слово, которое всегда есть слово лжи.

А. Безансон определяет советскую идеологическую систему, как логократию — царство слова, царство лжи. Нет, пожалуй, ни одной работы историка, в которой он не анализировал бы механизма лжи, действующего в советской системе. Среди наиболее блестящих страниц — анализ советской экономики, «призрака», не имеющего ничего общего с классической политической экономией, но представляющего собой чудовищную реальность для трети человечества, которое живет в его тени.

Анализ «корней и плодов» идеологии приводит историка — логично — к человеку в советской системе, к основной проблеме: что такое советский человек, создан ли он уже, возникнет ли он в скором будущем? Заключительная глава «Анатомии одного призрака» посвящена человеку, живущему в клетке идеологии. Аристотель говорил, что человек не может жить без удовольствия. А. Безансон признает, что советская структура дает гражданам необходимую для жизни дозу удовольствия — советского удовольствия. Система образования, книги, фильмы, телевидение воспитывают человека, который довольствуется советским удовольствием, умеет находить его в советской жизни.

На западе все чаще признают: социализм невыносим. А. Безансон ставит вопрос иначе. Он спрашивает: для кого невыносим? И отвечает: социализм невыносим для человека, который нуждается в моральной свободе — в свободе быть самим собой, думать свои мысли, считаться со своим мнением, своими чувствами, быть личностью. Эти люди представляют наибольшую опасность для системы, которая стремится к призрачной, невозможной цели и нуждается для этого в призраках человека.

Тексты Алена Безансона — глубокие, блестящие, иронические, неожиданные, являющие собой великолепный образец «острого галльского смысла» — не оставляют равнодушным ни одного читателя, вызовут споры, возражения. Это естественно — только посредственность вызывает единодушие. Исследования А. Безансона вовлекают в спор о главном феномене нашего века. Французский историк позволяет увидеть универсальность феномена, понять причину угрозы. Он предупреждает об опасности и говорит о возможности, о необходимости сопротивления.

Ценность работ А. Безансона в том, что он не ограничился изучением исторических источников о прошлом России и настоящем Советского Союза. Он широко распахнул себя для восприятия опыта — мыслей, страданий, чувств — обитателей «чрева Левиафана». Книги А. Солженицына, А. Амальрика, В. Буковского, многих других позволили ему раскрыть «секрет века». В определенном смысле выход книги А. Безансона на русском языке — выплата долга. Можно надеяться, что читатели примут ее с интересом, которого она заслуживает.

Михаил Геллер

РУССКОЕ ПРОШЛОЕ И СОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ*

Между советской Россией и ее прошлым существуют два рода отношений: нормального типа и исключительные. Что значит нормальные отношения? Некоторые связи между старым и новым не подлежат сомнению. Географическое пространство со всеми его особенностями, население, с учетом демографических пертурбаций — последствием революционных событий, даже социальные группы — остаются элементами постоянными и легко распознаваемыми. Нельзя ликвидировать декретом крестьянство, рабочих, интеллигенцию. Остаются нормальными и исследования — научного типа — ведущиеся в поисках ответа на вопрос: что произошло? Какие элементы в ситуации России накануне революции сделали революцию вероятной, возможной? Историческая теория, созданная для ответа на эти вопросы, принадлежит к нормальному типу, если советская реальность рассматривается по обычным законам, как каждая другая.

Исключительным является использование истории для оценки — разного рода — советской реальности, привлечение прошлого в качестве свидетеля обвинения или защиты в процессе, в котором стороны не могут прийти к соглашению о фактах, о характере советского режима. Исключительно и многообразие взглядов на суть старого и нового режимов. Я дам краткое определение четырех типов интерпретации: советской, троцкистской, голлистской и славянофильской.

Мне кажется, что все эти взгляды интерпретируют неверно совершенно очевидный факт: исключительную комбинацию сходств и расхождений между старым и новым режимами, которая мешает достигнуть согласия в оценке советской реальности. Совершенно очевидно,

*) Статья в журнале «Contrepoint», № 14 (1974). (Анонимный «сам-издатковский» перевод, впервые опубликованный в журнале Вестник РЖД, № 126 (1978) и заново отредактированный для настоящего издания).

что изучение советского режима в его связях с прошлым позволяет лучше понять его нынешнее состояние.

Официальная история СССР подчинена историософии. Дан исторический процесс — от начала и до конца времен, — в котором русской истории определены место и смысл, заключающийся в пришествии «социализма» и поражении сил, ему противостоящих. Но эта официальная история значительно отличается от марксистской историософии, известной до революции. Плеханов сделал из русской истории вывод, что и для партии, и для всех лучше было бы не брать власти. Троцкий, не находясь больше у власти, мог дать допустимую, хотя и марксистскую, теорию русской революции. Будучи в высшей степени схематичным, он все же сохранял контакт с реальностью. В России действительно существовали социальные классы, слабое государство, партия большевиков, и была проиграна война. Все это изменилось после прихода большевиков к власти.

Взяв власть от имени историософии и ею обосновав легальность этой власти, большевики должны были историософию реализовать. Необходимо было, чтобы социализм на практике соответствовал потенциальному социализму, точный и общеизвестный образ которого имелся. Если этого соответствия не было, следовательно историософия ошибалась, а, следовательно, подрывалась и легальность, а затем и сама власть. Поскольку образ был канонизирован, а реальность жила своей независимой жизнью, следовало придать реальности иной образ, засыпая образовавшуюся пропасть. Большевики, как Демидурт, рассчитывали переделать вещи, пристально всматриваясь в модель — социалистическую Идею, но поскольку вещи сопротивлялись, большевики переделывали представление об этих вещах.

История, следовательно, переписана. Рождается то, что К. Папаиоанну назвал «*метаистория*» и «*субистория*»¹. «*Метаистория*» — жизнь, становящаяся с каждым

1 К. Papaioannou, «L'idéologie froide», Paris, 1967, chapitre 5.

годом «лучше и веселее», как выразился Сталин в 1934 г. «Субистория» — это фашистско-троцкистские чудовища, выползающие ночью для совершения своих преступлений. Открытый перелом, возникающий между идеей и реальностью, разрывает псевдоисторический бинт, которым пытались рану прикрыть. Собственно история исчезает между *мета-* и *субисторией*.

Как выглядят в этих рамках отношения между настоящим и прошлым? Логически оправдание настоящего производится с помощью четырех маневров, которые могут производиться в различных комбинациях и дозировках: легенды старого режима, революции, контрреволюции, социализма.

Легенда старого режима долго удержаться не могла. В течение нескольких лет советская историография сохраняла инерцию революционной критики. Писалось об отсталой России, застывшей на месте, о тюрьме народов. Фикция «пустого места» позволяла отнести на счет нового режима весь экономический и культурный капитал, существовавший помимо него. Образ царской каторги оправдывал жестокость социалистических методов. Было трудно, однако, скрыть дореволюционные достижения России. Поскольку революция была пролетарской — понадобился пролетариат. Национализм восторгался достижениями русских и, во вторую очередь, славян. Следовало неумеренно превозносить русский вклад в мировую цивилизацию, до минимума ограничивая ее вклад в русскую культуру. Местные национальные герои, такие, как Шамиль, должны были уступить место неизвестным сторонникам «дружбы народов». Многочисленные историки, слишком долго остававшиеся верными черной легенде царизма, жестоко поплатились.

Легенда революции и захвата власти — самая увлекательная из историософских схем. Это — *historia salutis*, священная история. История большевистской партии — это учебник посвящения в таинства и догма-

тического богословия* члена партии. Именно поэтому на всей территории международного коммунистического движения изучают события, которые даже специалистам по этим вопросам кажутся незначительными: раскол в болгарской партии, споры среди армянских дашнаков, съезд корейской или филиппинской компартии. В секретной истории все становится точкой отсчета. История секретна — ибо архивы находятся под замком, а смысл событий меняется в зависимости от степени посвящения. Историки несут политическую ответственность, и их рассказ калейдоскопически изменяется в зависимости от поворотов «генеральной линии». Эта история снабжает партийных деятелей аргументами и ярлыками. Различные отклонения от «генеральной линии» квалифицируются как экономизм, в необходимых случаях приводятся ссылки на «священную историю», завизированную Лениным, хотя, по утверждениям специалистов, она не имеет никакого соответствия с известными историческими фактами.

Основная тема третьей легенды — легенды контрреволюции — заключается в представлении ее всегда наступательной и сплоченной. Она выступает в форме заговора, который может называться по-разному: Антанта, Империализм, Фашизм, Буржуазный Национализм. Заговор этот может быть разоблачен лишь марксистско-ленинской теорией и разгромлен средствами революционной власти.

В четвертой легенде — легенде социализма — доминирует метаистория. В оглавлении классической «Истории ВКП(б)» содержание 1935-1937 гг. изложено так: «Дальнейший подъем промышленности и сельского хозяйства в СССР. Досрочное выполнение второй пятилетки. Значение кадров. Стахановское движение. Подъем народного благосостояния». Но недалеко и субистория: «Ликвидация остатков бухаринско-троцкистских шпионов, вредителей, изменников родины». И, в

* *Théologie positive* (франц.) — раздел богословия, включающий Священное Писание, учение св. отцов церкви, постановления Соборов, догмы и церковные обряды (*Прим. перев.*).

закключение: «Курс партии на развернутую внутрипартийную демократию».

Таким образом в советской историографии сознательно выражаются прошлое и настоящее. Но чтобы лучше понять эту историографию, необходимо иметь в виду, что управляется она двойной бессознательной проекцией. На прошлое проецируется то, что принадлежит сегодняшней реальности. Дореволюционный режим изображается тогда по образу сталинского режима. В то самое время, когда десятая часть населения сидела в лагерях, выходил исторический журнал «Каторга и ссылка», рассказывавший о десятке тысяч ссыльных и каторжников XIX в. Журнал прекратил свое существование после ареста всей редакции. В эту же эпоху специалист-пенитенциарист Гернет написал «Историю царской тюрьмы» в пяти томах. Другая проекция — изображение противника по своему образу и подобию. Имперское петербургское государство с его бюрократией и его полицией изображаются по образу партии, которая, кстати, представляла собой деформированного близнеца того государства, которое она хотела свергнуть. Троцкизм, международный сионистский заговор — двойники подлинных действий Коминтерна, проецированных на организации-фантомы.

Симметрично вытеснению зла путем проекции происходит интроекция* добра. Новый режим присваивает все хорошее и общепризнанное, что было в старом режиме. Древние церкви, Пушкин и Толстой, балет и икра вырываются из исторического контекста и становятся созданием *русского народа*, который ныне представляет советская власть. Таким образом все хорошее записывается на счет нового режима и сохраняется в той степени, в какой это придает ему блеск. Восстановленная старинная изба — это русский народ. Изба с тараканами — это капитализм.

Следует отметить, что мировое общественное мнение

* Интроекция — в психоанализе так называется механизм (обратный «проекции») бессознательного перенесения и приписывания себе чужих побуждений и/или поведения (Прим. перев.).

с удовольствием участвует в этой игре. Француз, присутствовавший со мной на представлении в московском Большом театре, с удовольствием глядя на спектакль, археологически точно восстанавливавший императорский балет с теми же костюмами и декорациями, не мог удержаться от выражений благодарности советской власти за чудесный вечер. Возвращаясь морозным вечером, по снегу, и глядя на пьяниц, он пожалел старую Россию: «Предстоит еще много сделать, но они прошли длинный путь».

Рассмотрим теперь интерпретацию противников советского режима. И начнем с левых.

С наибольшей полнотой точка зрения левых выражена в троцкизме. В 1930 г. Троцкий писал: «Октябрьская революция унаследовала от старой России кроме внутренних противоречий капитализма не менее глубокие противоречия между капитализмом в целом и докапиталистическими формами производства»². В переводе это должно означать, что Россия не обладала необходимой экономической базой для строительства социализма. Власть имущие пользуются своим положением для того, чтобы не страдать от нехватки продуктов. Они становятся привилегированными. Отрезанная политикой «социализма в одной стране» от мировой экономики, паразитическая бюрократия отнимает политическую власть у пролетариата. Так происходит «термидор» (после высылки Троцкого) и бонапартистский переворот со Сталиным в роли Бонапарта. Интернационалист, замороженный своей теорией перманентной революции, Троцкий равнодушен к русскому наследству. Он задерживается лишь на экономическом аспекте, на отсталости. Политические прецеденты он ищет в прошлом другой страны, в истории революционной Франции. В этом он — европеец. Но подлинный европеец обнаружил бы русские черты в режиме Сталина. Троцкий их не видит и в этом проявляются русские черты его характера.

² L. Trotsky, «Révolution permanente», Préface à l'édition américaine, 1930.

Западные ученики Троцкого более внимательны. Виктор Серж писал в 1937 г.³: «В поражении социалистической революции значительную роль сыграло влияние старой России. Факторы, порожденные историей, продолжают действовать с удивительной силой. Премущественность политических мер ужасна». Он вспоминает Ивана и Петра, недоверие к иностранцам, сочетающееся с лихорадочным подражанием иностранному. «Старые тюрьмы выполняют старые функции. Суздальский и Соловецкий монастыри, куда отправляли еретиков, превратились в *изоляторы* для еретиков социалистических». Дейчер, проведя, в троцкистском духе, параллель между французской и русской революциями, резюмирует: «Наполеон окружен блестящей атмосферой, пышными красками и элегантностью Версаля и Фонтенбло, в то время как фигура Сталина гармонирует с жестоким климатом Кремля»⁴.

Ни один троцкист не может, однако, пойти слишком далеко в этом направлении, ибо в принципе они согласны с тем, что в России произошла необратимая социалистическая революция. «Ее руководители изменили Октябрьской революции, но они ее еще не ликвидировали. Революция обладает огромной способностью к сопротивлению, вытекающей из новых производственных отношений, силы пролетариата и т.д.»⁵ Виктор Серж подчеркивает, что существуют «социалистическая экономика, план и психологические достижения (?)»⁶ По мнению Дейчера, Сталин — великий революционер, подобный Кромвелю и Робеспьеру. Он осознал истинное направление *хода истории*, в то время как злополучному фюреру это не удалось. «Дело Сталина», которое «быть может, следует очистить», сохраняет всю свою ценность и должно быть хранимо для будущего⁷.

Левые видят в советской России прежде всего социа-

3 Victor Serge, «Destin d'une révolution» Paris, 1937, p. 315 et ss.

4 I. Deutscher, «Staline» Paris, 1961, Préface.

5 L. Trotsky, «La Révolution trahie», Paris, 1936, p. 284.

6 Victor Serge, *ibid.*, p. 322.

7 I. Deutscher, *ibid.*, p. 589.

лизм внациональный, принадлежащий всему человечеству. Русское прошлое — это балласт, гиря у ног. Это мертвец, хватающий живых. Но социалистическая суть сохранена. Прошлое преодолено. Оно может только *искажать* облик.

Тема левых — *искажение*. Тема правых — *маска*. Вместо социалистической реальности под одеждами — русская реальность, прикрытая социалистической одеждой.

«26 ноября мы приземлились в Баку. На аэродроме, выслушав приветствия представителей советских властей, я принял парад прекрасного подразделения — винтовки на руку, грудь вперед, они прошли печатая шаг. Не было сомнения — вечная русская армия». Легко узнается стиль генерала де Голля⁸. О Сталине де Голль пишет: «Один лицом к лицу с Россией, Сталин видит ее таинственной, более сильной и более прочной, чем все теории и все режимы. Он ее любит по-своему. И она приняла его как царя до истечения страшного времени и поддерживает большевизм, чтобы использовать его как орудие. Собрать славян, раздавить германцев, распространиться в Азии, получить доступ к открытым морям, такими были мечты родины, такими стали цели деспота»⁹.

Голлистская версия удивительным образом совпадает с версией троцкистской. И одна, и другая считают себя свободными от официальной мифологии. И одна, и другая отвергают часть реальности, считая ее поверхностной и временной. Есть «глубина», а в «глубине» есть Россия, социализм. Эмпирическая реальность — это то, что необходимо преодолеть для достижения сути, которая и принимается за подлинную реальность. Совершенно естественно, что обе политики, основанные на симметричных миражах, увенчались как нельзя более торжкими неудачами. Но эти неудачи неспособны обогатить опыт, ибо догматизм заранее дает аргументы,

⁸ «Mémoires de Guerre», t. III, p. 71.

⁹ *ibid.*, p. 74.

объясняющие неудачи. Каждая неудача, рассматриваемая в связи с очередными достижениями русской нации или социализма, признается *случайностью*.

Более тонки взгляды русской эмиграции, продолжающей традиции славянофильства. Типичен здесь Бердяев. Россия, говорит он, была всегда апокалиптической и мессианской. Она никогда ни в какой форме не принимала ни права, ни частной собственности, ни гуманистического индивидуализма, ни буржуазии. Пролетариат в марксистском мифе — это возрожденный в новой форме миф русского народа. Ленин, считая крестьян революционным классом и естественным союзником пролетариата, воплотил это возрождение. Парадокс русской судьбы заключается в том, что «либеральные идеи, идеи права, одним словом, идеи социального реформизма, оказались в России утопическими. Большевизм же оказался наименее утопическим и наиболее реалистическим, наиболее соответствующим всей ситуации, как она сложилась в России в 1917 г., и наиболее верным некоторым исконным русским традициям универсальной социальной правды, понятой максималистически, и русским методам управления и властвования, основанным на всемогуществе принуждения»¹⁰.

Бердяев писал далее: «Пало старое священное русское царство и образовалось новое, тоже священное царство, «перевернутая теократия». Произошло удивительное превращение. Марксизм, столь не русского происхождения и не русского характера, приобретает русский стиль, стиль восточный, почти приближающийся к славянофильству. Даже старая славянофильская мечта о перенесении столицы из Петербурга в Москву, в Кремль, осуществлена красным коммунизмом. И русский коммунизм вновь провозглашает старую идею славянофилов и Достоевского: «ex Oriente lux»¹¹.*

¹⁰ Николай Бердяев, «Истоки и смысл русского коммунизма». Париж, 1955, стр. 93.

¹¹ *ibid.*, стр. 116.

* Свет приходит с Востока (лат.).

Здесь мы снова обнаруживаем близость идеи славянофильской и революционной. Они разнятся лишь знаком. «Миссия русского народа, — пишет Бердяев, — сознается, как осуществление социальной правды в человеческом обществе, не только в России, но и во всем мире»¹². Большевистское государство осуществляет это недостойными средствами. Но оно сохраняет идею русской нации и само существование Святой Руси, а поэтому большевизм, оставаясь демоничным, превосходит своей сутью пошлый буржуазный Запад. Советская власть «это единственная власть, выполняющая хоть как-нибудь защиту России от грозящих ей опасностей»¹³. Бердяев целиком присоединяется к практической позиции, занимаемой в это время Троцким: необходимо любой ценой защищать советское государство, как хранилище России, или как крепость пролетариата. Славянофильский апокалипсис становится неотличимым от большевистского катастрофизма.

Этот краткий обзор основных исторических взглядов не приблизил нас ни на шаг к нашей теме, неверное освещение которой сводится к одному: Советский Союз явно и неизбежно вызывает в памяти историю дореволюционной России. Две обычные и наивные реакции формулируются так: «Всегда то же самое», «Точно так же было и раньше».

Раскроем Кюстина¹⁴: «Русские охотно делают святых из своих героев. Они с удовольствием смешивают ужасные добродетели своих господ с благотворным могуществом своих святых и стараются прикрыть верой жестокость истории». Или, в менее возвышенном жанре: «Нам присуща слабость болтовни, их силу составляет секрет: в этом прежде всего их ловкость». «Вам ни в чем не отказывают, но вас всюду сопровождают: вежливость становится здесь средством слезки». «Только в России существует профессия: мистификатор иностранцев». И так далее.

¹² *ibid.*, стр. 120.

¹³ *ibid.*, стр. 120.

¹⁴ «La Russie en 1839», *passim*.

Можно заполнить целые страницы подобными цитатами. В одних излагаются основы деспотизма, в других детали русской обыденной жизни: полицейская слежка, административный балатан, проникающий всюду запах кислой капусты. Составленные из Кюстина антологии укрепили иллюзию правых от Ш. Морраса до де Голля: ничего не изменилось.

Но это еще одна иллюзия. Книга Кюстина не была исследованием: она — пророческий кошмар. Его описания пристрастны. Он не видел того, что избежало сферы правительственного деспотизма, что начинало реагировать против него в форме русской культуры. Он плохо измерил и границы самого деспотизма, бывшие вполне реальными в царской России, христианской стране, заимствовавшей модели на Западе. Описания Кюстина пристрастны и потому, что преувеличены. К тому же они быстро устарели. Кюстин познакомился с русским государством. Интуитивно он почувствовал русского революционера, человека без корней, невежду, фанатика, готовящего новый деспотизм. Но, быть может под влиянием католической мысли де Местра и поляков, он даже не заподозрил существования третьей силы, ценности и силы русского либерализма в западных формах — кадетов, социал-демократов. В 1914 г. Россия почти совсем не походила на «Россию в 1839 г.» Анатолий Леруа-Болье, Уоллес, описавшие земство, полу-парламентаризм, народное просвещение, печать, даже не вспоминали Кюстина. В это время он был всего лишь курьезом.

А потом выяснилось, как верно отметил Джордж Кеннан¹⁵, что «если мы даже согласимся, что «Россия в 1839 г.» не очень хорошая книга о России в 1839 г., мы окажемся перед тревожным фактом, что это великолепная книга, несомненно самая лучшая из книг о России Иосифа Сталина и совсем неплохая книга о России Брежнева и Косыгина». Как же случилось, что

¹⁵ G. Kennan, «The Marquis de Custine and his "Russia in 1839"». Princeton, 1971, p. 124.

фальшивая книга о 1839 годе оказалась правдивой в 1939 году? На этот вопрос можно ответить так: история России вышла из гроба, но обезображенная длительным там пребыванием. Советский режим вызвал возрождение всего архаичного в русской истории, всего того, что Кюстин описал, но что накануне революции постепенно исчезало.

Не вся история возродилась таким образом. Но важнейшие ее классические периоды находят кажущееся соответствие в истории современной.

В советском ритуализме нетрудно было обнаружить сходство с церемониальной книгой священного дворца. Византийский монизм, совмещающий власть духовную и власть земную, нашел своеобразный эквивалент в правлении диктатора-теоретика. Монголы дали прецеденты жестокости «азиатскому деспотизму» Ленина и его наследников. Москва Ивана III предоставила в идеологии третьего Рима первый набросок советского мессианства. Иван Грозный дал модель кровавых чисток, бессмысленных, уничтожающих классы, дробящих общество, разоряющих страну. Петр Великий — это эскиз авторитарной модернизации, приобщения к Западу «восточными» средствами, подмены рыночного механизма государственным принуждением, использования архаичных средств в военном деле. Хитрая петербургская дипломатия, империализм, притворяющийся славянской солидарностью, коррупция зарубежной печати, вытягивание денег у союзников, рассылка во все стороны шпионов и пропагандистов — все это, казалось бы, продолжается без всякого перерыва.

Будем, однако, и здесь осторожны. Спросим: не искажены ли эти мнимые прецеденты ретроспективной проекцией советского мира в прошлое? Именно таким образом совершают несправедливость по отношению к Византии, которая никогда не знала советской степени совмещения духовного и земного, где, к тому же, духовное существовало. Обижают монголов, высоко ценивших справедливость и честь. В XVI в. Иван Пере-

светов писал, что если бы к христианской вере России могло присоединиться татарское правосудие, ангелы могли бы жить в этой стране¹⁶. Совершают несправедливость по отношению к петербургскому государству, которое было способно к реформам, которое способствовало значительному развитию культуры, богатства, свободы. К тому же сходство одной эпохи с другой не означает передачи каких-то качеств, если это не доказано со всей убедительностью. Необходимо употреблять понятие прецедента с большой осторожностью.

Мы можем сделать в этом месте два замечания. Предположив, что перед нами феномены одного и того же типа, мы обнаруживаем между ними огромное различие в интенсивности. Нет общей мерки для строительства Петербурга и сталинских строек, как ее нет для Петропавловской крепости и архипелага ГУЛАг. Если история повторяется, то следует перевернуть формулу Маркса: последующая трагедия позволяет рассматривать прототип как добродушный фарс.

Отметим далее, что все феномены, проявляющиеся в этой жестокой и преувеличенной форме, принадлежат к сфере государства и власти. В то же время все то, что составляет живую ткань общества, его обычаи, стиль, повседневная жизнь, существует в совершенно иной форме.

Русская национальная жизнь выжила, но либо в разрушенной, либо в ослабленной и выхолощенной форме. Россия сохраняет последнее в Европе традиционное крестьянство, но это крестьянство обнищавшее, не имеющее права покинуть свои разваливающиеся избы, находящееся в крепостной зависимости без помещиков, живущее коллективной жизнью без «мира»*, в деревнях без праздников и церквей. Россия сохраняет последний пролетариат, описание которого мы встречаем у Золя или Горького, пьяный и неумелый. Как

¹⁶ A. V. Soloviev, «Holy Russia», s-Gravenhage, 1959, p. 24.

* Мир — сельская община или члены этой общины.

говорит рабочий у Василия Гроссмана: «Рабочий без права бастовать, разве это рабочий, я вас спрашиваю?»¹⁷

Источники иссыкли, и советская Россия превратилась в музей мертвых форм. Все, что не умерло, помещено в некрополь, в заповедник, в котором бесконечно переиздают все тот же слегка чеховидный роман, в котором не перестают играть Чайковского и размножают копии «национальной по форме и социалистической по содержанию» живописи 80-х годов прошлого века. Это касается и нравов. Это касается и того, что осталось от политической жизни в обществе. На схеме оппозиции, нарисованной Амальриком, сохранились все формы русской общественной мысли XIX в.: славянофильство, западничество, либерализм, социализм. Сегодня, как и тогда, герой национальной жизни воплощен в Писателе, религиозная жизнь разделена между ритуализмом закабаленной церкви и болезненным мистицизмом многочисленных сект.

Поверхностный взгляд не обнаружит различия между этими двумя видами существования старинной России — красочное возвращение всех исторических форм Власти и мумифицированное, хрупкое существование всего остального. Поскольку все выглядит так, как если бы все оставалось на своем месте, верной представляется точка зрения правых, и именно она принята западными дипломатами, балующимися историческими занятиями.

На самом деле представление о том, что в России все сохранилось, как было — тончайшая из иллюзий. Большевизм не является простым воскрешением разрушенного, ни простой остановкой истории, он — псевдоморфоз, точнее — извращенное подражание, *perversa imitatio*. И это я хочу продемонстрировать.

Констатируем сначала, что при поверхностном взгляде ленинский режим может показаться синтезом трех основных течений, возникших в царствование Николая I и питавших последующую политическую жизнь России.

¹⁷ В. Гроссман, «Все течет . . .», Париж, Имка-Пресс, 1970.

Ленинизм принял наследство западников: стремление к просвещению, к образованию, к разуму, к организации. Западные левые узнают себя еще в ленинском сциентизме, в придавании этических ценностей революционным действиям. Одновременно он принял и значительную часть славянофильского наследства: идею коллективизма, идею мессианства, презрение к гнилому Западу, национализм, действующий по принципу компенсации*. Он унаследовал, наконец, официальный национализм, т. е. доктрину петербургского государства. Партия, если использовать выражение Герцена, расположилась в России, как армия в оккупированной стране. Сегодня, после построения «социализма», она претендует, как и дореволюционное русское государство, на *внеклассовость*, объявляет себя «над классами». Большевики присвоили себе, казалось бы, всю русскую историю. Именно поэтому они пользовались доброжелательностью всех партий, которые были ликвидированы после революции. Дело было не только в национализме; всем этим партиям, от Брусилова до Мартова, казалось, что выполняется их программа. Но наследник отказывается от наследства. Снаружи синтез представляется осуществленным, изнутри — он отвергается.

Ленинизм — учение марксистское — ни в коем случае не может признать даже малейшего родства со славянофильством. Он выбрасывает из западничества его либеральный элемент, что, кстати, влечет за собой очистку марксизма от наличного в нем либерализма. Он выворачивает триаду официального национализма: демократия занимает место самодержавия, атеизм — православия, интернационализм — народности. Конечно, он принимает государственные функции. Сталин отмечал, что советское государство значительно сильнее государства «буржуазного», т. е. царского. Но новое государство объявило себя демократическим по принципам, комму-

* Компенсация — в психоанализе так называется механизм, заключающийся в попытках найти моральное равновесие, преодолеть природный недостаток или увечь с помощью стремления к само-совершенствованию (Прим. перев.).

нистическим по цели: абсолютная свобода в условиях абсолютного изобилия.

Откуда же идет это отрицание наследства? Из собственной ленинизму комбинации утопии, которая считает себя соответствующей сциентистскому порядку, установленному в Истории, и политики, которая должна ее осуществить. Ленинская идея заключается в том, что достаточно отбросить несколько политических препятствий, чтобы история спонтанно и наконец-то свободно могла пойти по пути, который наметила для нее теория. В этом смысле ленинизм представляет собой временно отложенный либерализм, ибо достаточно поставить на свое место необходимые элементы, чтобы победил принцип *»laissez faire, laisser passer«**, который подтвердит теорию. Вряд ли была когда-нибудь другая диктатура, которая так искренне считала себя временной, как диктатура большевиков в 1917 г.

К сожалению, как известно, утопия не реализовалась сама собой после того, как утописты пришли к власти. Наоборот, единственная «спонтанность», которую проявила первичная историческая материя, было сопротивление всеми силами, упорное нежелание пойти в ту сторону, в которую предполагали ее направить. В этот момент идеологические диктатуры обычно теряли власть. Первыми в истории большевики ее сохранили. Отсюда все дальнейшее.

Не имея возможности воздействовать на реальность, они сохранили возможность воздействовать на представление об этой реальности. Таким образом произошло вступление в мир фальсификации, в том числе — это нас и интересует — в мир исторической фальсификации. И немедленно история была уничтожена суб- и мета-историей. Частью более общего процесса было извращение языка. Язык, используемый обычно для передачи правды, во всяком случае как средство общения, используется теперь как инструмент власти, т. е. в магических целях. Сталин дал глубокое определение писа-

* Невмешательство (в ход, развитие событий, обстоятельства и т.п.).

теля, назвав его «инженером человеческих душ». Можно ли определить подобную магическую функцию языка как софистику или, например, заклинание? Нет, ибо и софистика, и заклинание признают себя таковыми, но ни Ленин, ни Сталин не потерпели бы, чтобы их уличили в шаманстве. Напрашивающееся сравнение, к которому всегда прибегают русские — это безумие.

Действительно, сумасшедший — это тот, кто под угрозой внутренних сил (воспринимающихся им, однако, как внешние) и в условиях невозможности изменить окружающую его действительность, произвольно трансформирует свои представления о ней. Трансформируя свое восприятие, он тем самым трансформирует самого себя и в результате этого насильственного процесса застывает в форме, неспособной к дальнейшему развитию. Так у него возникает иллюзия, что он сумел отдалиться от своих врагов на безопасное расстояние.

Трансформация действительности при незнании того, что представляет собой действительность, и утрата таким образом контакта с действительностью — вот то общее, что объединяет сумасшедшего и идеолога, находящегося у власти.

Конечно, между психическим и идеологическим бредом имеются различия в природе, этиологии, симптомах, а главное — в следующем: психический больной не может по своему произволу зайти слишком далеко в трансформации воображаемой и личной реальности. Как только он становится опасным для себя и для других, его — по закону — изолируют. Большевизм обладает могучим инструментом воздействия на реальность — современным государством. Что он с его помощью делает?

Прежде всего сохраняет бешеный бег идеологии. Идеологию можно рассматривать, в некоторых отношениях, как некие искусственные пути, прочно блокирующие возвращение к реальности, мешающие, если можно так выразиться, *проснуться*. Идеологический язык, осуществляя немедленную интерпретацию всего того, что

может произойти, уменьшает давление реальности, удерживает на расстоянии ее отражение, оправдывает убийства, сохраняет место сна в реальности, постоянно легитимизирует действия государства. Навязывая идеологию, государство сохраняет защитную функцию безумия. В то же самое время государство стремится включить в сферу своей власти весь комплекс общественной реальности. Государство сокрушает сопротивление реальности, которую оно наполовину психопатически воспринимает как заговор белогвардейцев, троцкистов, сионистов, империалистов и т. д., давая политическое решение неразрешимым проблемам. Это поглощение всей социальной и культурной жизни политикой Сталин резюмировал в 1934 г. тацитовской формулой: «И доказывать нечего, да, пожалуй — и бить некого»¹⁸.

Государство бредит, излагая свои цели, но оно рационально в средствах и способах, используемых для сохранения и расширения своей власти. Расширение государственной власти — функция пустоты и ирреальности ее программы. Поглощение общества становится таким образом заменой осуществлению невозможной утопии. В никогда не виданных ранее масштабах государство заменяет общество, которое не способно осуществить то, чего от него хотят. Здесь, мне кажется, находится ключ к историческому парадоксу, который объединяет СССР и дореволюционную Российскую империю и разделяет их.

Общество искалечено. Сведенное до минимума экспансией государственной сферы, одурманенное идеологическим карцером, обескровленное периодической резней, организуемой партией в периоды параноидальных кризисов, оно неспособно создать иное искусство, кроме протестующего, неспособно создать оригинальную экономику и достойный жизненный стиль. Поэтому мне кажется двусмысленным определение советского общества как общества индустриального. Не потому, что нет индустрии, а потому, что нет общества, т. е. коллектива

18 И. Сталин, Сочинения, т. XIII, стр. 347.

людей, связанных организованными отношениями и взаимными услугами. Все это взяло на себя государство. Общество сведено до состояния тени в царстве Аида. Оно лишь силуэтом напоминает дореволюционное общество, но лишено цвета крови и тепла жизни. В лучшем случае оно находится в состоянии анабиоза. За одним исключением: все то, что служило резервуаром государственной мощи — армия, национализм, военная технология, развивается, как раковая опухоль.

Каково будущее Государства? Навязав фикцию, которую реальность обнажает как утопию, государство стремится эту утопию осуществить. При этом оно имеет (после уничтожения внутренней спонтанности) лишь одну конкретную модель — Запад. Потому государственной программой становится: догнать и перегнать. Но сделать это оказывается невозможным. Чем больше советская Россия внешне имитирует Запад, тем меньше она похожа на него внутренне. Государство не может возместить инерцию русского общества, стремясь имитировать спонтанное развитие западного общества. К тому же оно его имитирует не потому, что хочет быть на него похожим, а потому, что хочет осуществить утопию и быть одновременно Западом и его противоположностью. В этом смысле СССР может быть лишь сфабрикованным и ирреальным двойником Запада, его Големом.

По своей форме советское государство не имеет иностранного образца. Ни одно государство, ни западное, ни восточное, никогда такой формы не имело, никогда такой функции не выполняло. В русской истории можно найти богатый набор различных форм абсолютной власти. Византийский ритуализм, монгольская жестокость, мессианизм XVI в., петровский волюнтаризм, петербургский империализм — все это рецепты и формы, готовые к немедленному использованию. В России не было исторической преемственности, переходов, традиций. Был каталог пустых и отживших форм, ожидающих лишь того, чтобы их использовали,

хотя бы и в иных целях. Почему новое государство ухватилось за них?

Прежде всего они дали ему дополнительную, кроме идеологической, видимость законности и преемственности. Новое государство изображает себя наследником старого. По мере своего развития оно реабилитирует великих деспотов прошлого: Петра Первого со времен Ленина, Ивана Грозного при Сталине. С некоторого времени оно позволяет реставрировать некоторые церкви и восторгаться иконами, в той степени, в какой часть православного ладана всегда воспаряла к темному лику русского государства.

Во-вторых, эти формы были уже приспособлены к осуществлению абсолютной власти. Конечно, ни одно прежнее русское государство не имело ирреальных и неограниченных притязаний. Ирреальность — сфера нового государства. Поэтому оно искажает до неузнаваемости прежние формы. Именно благодаря этой карикатурности Кюстин оказался реалистическим портретистом с опозданием на один век.

Тем не менее, остается фактом, что принуждение и подмена общества государством составляет историческую оригинальность России. Стоит подвергнуть здесь анализу точность концепции *псевдоморфоза*, сформулированной Шпенглером по поводу именно дореволюционной России.

«Я называю историческим псевдоморфозом случай, когда чужая старая культура расцветает не на своей почве с такой силой, что препятствует молодой культуре дышать, и та не может не только развивать чистую собственную форму выражения, но и не может достичь полного развития собственного самосознания»¹⁹. Относится ли это к русскому случаю? Ответ сложнее простого «да» или «нет». Не было спонтанного развития в заимствованных формах. Государство изготовляло поочередно формы — по образу Византии, степной империи, монархий центральной Европы, — в которые госу-

¹⁹ O. Spengler, «Le déclin de l'Occident», Paris, 1948, t. II, p. 173.

дарство же вливало пассивную и молчаливую человеческую массу. Авторитарный способ имитации делает из русского псевдоморфоza особый вид — *извращенное подражание*. Это Византия — без высокого христианства, монгольская империя без права и чести, западная монархия без собственности и свободы. Имитация была постоянно отравлена завистью и ненавистью и, как писал Шпенглер, «вместо взлета жизненных независимых сил, только соки ненависти к далеким силам питают гигантские ветви»²⁰.

Но советское государство, имитируя Запад в отчаянной попытке воплотить утопию, доводит свое отвращение к образцу до такой степени, что его уже нельзя узнать. В этом оно превращается в революцию абсолютную, которая не остановится, пока не уничтожит свою модель. С другой стороны, карикатурно имитируя исторические формы русского деспотизма, советское государство осуждено в лучшем случае быть псевдоморфозом псевдоморфоza. И в этом отношении оно является абсолютным консерватизмом.

Таким образом мы имеем дело со странным государством, одновременно всемогущим и не имеющим собственной сути, которое, в еще большей степени, чем во времена Карла Маркса, «даже после осуществления планов мирового масштаба, продолжает рассматриваться как дело веры, а не факта»²¹. Коммунистическая утопия ответственна за это положение. Ошибка де Голля — придавать видимым формам государства достоинства и ограничения, присущие дореволюционному режиму. Ошибка славянофилов в том, что они убеждены в жизненности старинных социальных и культурных ценностей, жизненность эту потерявших. Если ход моих рассуждений верен, то именно тогда, когда СССР больше всего походит на Россию и, казалось бы, надевает облик вечности, тогда он наиболее революционен и тогда следует его рассматривать как коммунистическую державу.

²⁰ *ibid.*

²¹ Karl Marx, «La Russie et l'Europe», Paris, 1954, p. 207.

Постскриптум

1) Ход моих рассуждений основан на том, что я различаю два типа сохранения прошлого, которые в других теориях отождествляются. Я делаю различие между формами власти, воспринятыми и развитыми новым государством с целью осуществления утопии (идеологической), и формами гражданского общества, продолжающими существовать в искаленном и выхолощенном виде. Подтверждается ли эта теория, если ее применить к другим государствам, кроме русского? На первый взгляд — да. Пруссачество в ГДР, имперский церемониал в Китае находятся как-будто в том же самом отношении к коммунистическому режиму, как и царский режим в России.

2) Токвиль отметил, что революция завершила государственную эволюцию старого режима. В префекте он видел очевидного наследника интенданта. Но вряд ли он мог обнаружить прямую связь между интендантом и Карьером, который топил подвластных ему граждан, или Фуше, который их расстреливал. Для того, чтобы связь не прерывалась, необходим отказ от утопических целей. Только реставрация (наполеоновская или монархическая) позволяет восстановить историческую преемственность, включить в нее революцию. Однако до сих пор ни одна большевистская революция не закончилась реставрацией.

О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА*

Если попытаться дать определение советского режима в рамках классификаций, предлагаемых Аристотелем или Монтескье, то окажется, что он изворачивается и с легкостью ускользает от всех подобных попыток. Действительно, в «Политике» Аристотеля перечислены три «надлежащие», то есть имеющие целью общественное благо, формы правления, и советский режим претендует на обладание совокупностью всех преимуществ, характерных для трех этих форм. В данном случае общественное благо — это социализм, или, в еще более совершенном виде, коммунизм. В отличие от аристотелевского «общественного блага», оно не существует реально, в данный момент, а присутствует лишь в потенции, но при этом осмысливается как конечная цель фактически существующих, но временных явлений, как диктатура пролетариата или народная демократия. Советский режим может претендовать на звание *республики*, ибо в этом случае «Государство управляется всем множеством граждан во имя общей пользы»¹. Можно, однако, обратиться также к статье 126 Конституции СССР 1936 г., сформулированной следующим образом:

«Наиболее активные и сознательные граждане из рядов рабочего класса и других слоев трудящихся объединяются во Всесоюзную коммунистическую партию (большевиков), являющуюся передовым отрядом трудящихся в их борьбе за укрепление и развитие социалистического строя и представляющую руководящее ядро всех организаций трудящихся, как общественных, так и государственных».

Тогда мы имеем все основания утверждать, что режим является также *аристократическим*, в том смысле, что

* Статья в журнале «Contrepoint», № 20 (1976).

1 «Политика», III, 7.

государством управляют лучшие среди граждан. Наконец, в течение десятилетий государством на благо общества управляли лучшие среди лучших; поэтому режим Ленина и Сталина (и даже, в конце концов, Хрущева и Брежнева) мог считать себя идеальной формой *монархии*.

По мнению противников советского режима, дело обстоит как раз наоборот, и они всячески стремились приклеить к нему порочащие ярлыки трех «дурных» форм правления. Сразу же после революции приверженцы автократии не сомневались, что новый режим представляет собой *демократию*, то есть власть немущих, осуществляемую ими исключительно в своих собственных интересах. Более пристальное наблюдение позволило вскоре обнаружить абсолютную власть коммунистической партии — то есть *олигархию*. И наконец стало очевидным, что Ленин, и в еще большей степени Сталин, управляли политической жизнью общества деспотическим образом, и что, следовательно, режим соответствовал определению *тирании*.

Неуловимое зло

Дело обстоит, однако, вовсе не так просто: дальнейший анализ показывает, что эти новые определения столь же плохо отражают суть советского режима, как и предыдущие, и если мы не можем причислить его к «хорошим» формам правления, то он не соответствует и их противоположностям, что не позволяет отнести его к «дурным» формам правления. Действительно, для последних характерно, что власть осуществляется исключительно во имя личных интересов власть имущих: социальных низов в демократии, богачей — в олигархии, и монарха — в тирании. Однако понятие личного блага столь же неуловимо в условиях коммунистической реальности, как и понятие блага общественного. Все происходит таким образом, как будто при устранении из системы отсчета понятия Справедливости становится невозможным распознать также и несправедливость, и в еще

меньшей степени воспользоваться ее плодами, как это было возможно в рамках классических отклонений от «хороших» форм организации общества.

Советский режим в процессе своего установления опирался на «демократические» устремления русского народа. Действительно, в первые годы советской власти беднота насильственно подчиняла себе и управляла богатыми, экспроприируя при этом принадлежащую им собственность. Однако государство сохранило за собой поначалу номинальное право собственности практически на все, что только возможно, а затем постепенно присвоило себе также право пользования плодами и доходами с этой собственности. Прошло десять-двенадцать лет, и основной социальный класс, извлекая выгоду из конфискации и раздела земельных угодий и недвижимости, крестьяне, подверглись, в свою очередь, экспроприации. Они никогда не управляли государством, так что, строго говоря, в России никогда не было демократии в том отрицательном смысле, который придает этому термину Аристотель. После коллективизации это слово полностью лишилось смысла. Тогда, может быть, мы имеем дело с олигархией? К этой точке зрения охотно присоединяются оппозиционные марксисты. Например, в 1904 г. Роза Люксембург высказывала свои опасения по поводу большевистской концепции власти:

«Ничто не сумело бы привести к более надежному закабалению жаждущей власти интеллектуальной элитой еще столь молодого и незрелого рабочего движения, чем этот демократический панцирь, в который оно заковывается, чтобы затем превратить его в автократию, манипулируемую неким комитетом»².

В том же году Троцкий уже предвидел, что ленинская формула привела бы от олигархии к тирании:

² Р. Люксембург, «Централизм и демократия», цит. по: К. Папаиоанну, «Маркс и марксисты», (на франц. яз.), изд-во «Фламарион», 1972, стр. 270-271.

«Эти методы приведут к тому, что партийная организация «подменит» собой самую партию, что Центральный Комитет подменит партийную организацию, и, наконец, один «диктатор» подменит сам Центральный Комитет»³.

Итак, партия монополизирует власть. Чтобы осуществить свои экономические проекты, она почти открыто прибегает к эксплуатации. Для рабочих — ни профсоюзов, ни системы защиты социальных прав, и самый низкий в Европе уровень заработной платы. Для крестьян — возвращение к ярму подневольного труда. Кроме того, партия закрепляет за своими членами самые влиятельные посты, самые блестящие и самые выгодные карьеры. Наконец, она не отказывает себе и в материальных привилегиях, пусть даже самых примитивных: лучшая пища, более добротная одежда, закрытые распределители, специально отведенные дома отдыха, недоступные для «простых смертных» поездки и т. д. Понятно, что у Джиласа были основания выдвинуть концепцию «нового класса»: коммунистическая бюрократия пришла на смену буржуазии в качестве нового эксплуататорского класса. Троцкий, придерживавшийся ортодоксального марксизма, отвергал выражение «классовая эксплуатация»⁴ и предпочитал называть это явление лишь «социальным паразитизмом», распространившимся в чрезвычайно широких масштабах, что не противоречит аристотелевскому определению олигархии. Тем не менее, даже имея в виду факт эксплуатации и наличия привилегий, было бы неверно утверждать, что партия и ее приверженцы управляют государством в своих личных интересах — а именно это необходимо, чтобы режим мог считаться олигархией в собственном смысле слова.

Для Аристотеля решающим критерием было распределение богатства. Однако нигде и никогда коммунисты

³ Л. Д. Троцкий, «Наши политические задачи», 1904.

⁴ «IV Интернационал и СССР», октябрь 1933 г.

не завладевали материальными благами для собственного потребления. Государство обеспечивает им некоторый достаток, уровень которого можно было бы назвать «мелкобуржуазным», но не более того. Если они начинают заниматься спекуляцией и обогащаться сверх меры, им грозит уголовное наказание. Можно возразить, что в подобного типа режимах подлинное удовлетворение потребностей достигается не через богатство, а через власть. Это верно, но в этом случае необходимо, чтобы власть осуществлялась «со спокойной душой», чтобы она представляла собой законное право (римское *jus*), обладание которым не было бы сопряжено с риском, и которое могло бы передаваться по наследству, как семейное имущество. На самом деле все обстоит как раз наоборот. Единственное исследование, основанное на имеющихся в нашем распоряжении архивных материалах, «Смоленск в годы советского правления»⁵, показывает нам членов аппарата, изнемогающих от постоянного, непрекращающегося, изнурительного давления, не оставляющего никому ни тени спокойствия. Выбрать партийную карьеру — это согласиться на жизнь в постоянной опасности. Разумеется, nepотизм как явление существует: легче получить высшее образование, опираясь на безупречное «социальное происхождение», и нет ничего лучше, чем быть при этом сыном или дочерью члена партии. Это немаловажно, но все же этого недостаточно, чтобы обеспечить наследуемость социальных привилегий, как в сословном обществе. В конце концов, это всего лишь дополнительный фактор, поправка к социальной мобильности, и нечто подобное можно найти в почти любом классовом обществе.

Поскольку политическая жизнь целиком и полностью сосредоточена в рамках партии, любая перемена поли-

⁵ «Smolensk under the Soviet Rule», De Merle Fainsod, 1958. Франц. перевод: «Smolensk à l'heure de Staline», Fayard, 1967. (В начале войны против СССР немецкие войска успели захватить архивы Смоленского обкома партии, которые были еще во время войны опубликованы в виде многотомного издания гитлеровским ведомством по делам пропаганды. После войны эти документы были тщательно изучены западными историками, которые признали их безусловную подлинность. — Прим. перев.)

тического курса не может осуществляться иначе, как через перемены в самой партии. Отсюда и неизбежность периодических чисток, среди которых сталинские чистки были лишь наиболее энергичными. Можно ли назвать олигархическим режим, где олигархия каждодневно ощущает грозящую опасность, где олигархия в целом иногда бывает на волосок от физического уничтожения, как это казалось в 1937 году?

В таком случае, можно попытаться определить советский режим как *тиранию*. На старости лет Сталин вел себя по всей видимости как классический тиран. Но тогда его с большим основанием можно причислить к русскому типу «грозного царя», Великого Грешника, и он выходит за рамки режима, который перестал узнавать в нем свои характерные черты. Освободившись от Сталина, партия сразу же приняла меры предосторожности, чтобы впредь единое руководство не могло превратиться в тиранию, то есть в систему правления, где тиран управляет во имя своих собственных интересов. Идеалом является не Сталин, а Ленин, и именно на Ленина как на образец ссылаются Сталин (неправомочно, по мнению части исповедующих большевистский моральный кодекс), Хрущев и Брежнев. Ленин управлял через посредство полиции и чиновников. В мае 1922 года он пишет тогдашнему наркому юстиции:

«Основная мысль, надеюсь, ясна (...): открыто выставить принципиальное и политически правдивое (а не только юридически узкое) положение, мотивирующее *суть* и *оправдание* террора, его необходимость, его пределы. ... Только революционное правосознание и революционная совесть поставят условия применения на деле, более или менее широкого»⁶.

Принцип правосудия, то есть принцип справедливого раздела при соблюдении равных прав каждого, отвергается Лениным, поскольку принадлежащий к другому

⁶ В. И. Ленин, Собр. соч. 5-е изд., т. 45, стр. 190.

лагерю рассматривается не как сторона в судебном процессе, а как противник, которого революционер уничтожает или терроризирует по своему произволу. Именно это и составляет сущность определения тирании. И все же, тирания ли это? Ведь если тиран управляет во имя своих частных интересов, то он должен в какой-то степени и сознавать себя тираном. У Ленина этого сознания никогда не было. Он управлял во имя своей идеи общественного блага, социализма, во имя исторических носителей этого блага, пролетариата, партии, Центрального Комитета, и у него было и следа понимания того факта, что он сам является диктатором. Его методы осуществления власти являются диктаторскими, чего он и не скрывает, но их нельзя назвать тираническими, ибо идеология не позволяет ему не только признать, но даже представить себе свою собственную выгоду. У аристотелевского тирана есть свои частные интересы, у генерального секретаря их нет.

Кошмарный сон

Классификация Аристотеля является чисто теоретической, хотя в ней неявно подразумевается в качестве конкретной модели древнегреческий город-государство. Монтескье пытается эмпирически связать виды режимов с типами общества, которым они соответствуют. Его классификация дуалистична: он противопоставляет республиканский (демократический или аристократический) и монархический режимы — режиму деспотическому. Первые два представляют собой режимы, основанные на свободе, режимы умеренные, где каждый чувствует себя в безопасности, а последний есть режим где царит произвол, и где единственной движущей силой является страх.

Здесь вновь советский режим объединяет в себе черты всех трех типов. Он претендует на то, что основан на республиканской добродетели, и коммунистический «новый человек» воспитывается в этом духе. Члены партии, занимающие видное положение, в сущности, достаива-

ваются этой *чести*, как в условиях монархии. Наконец, имеются многочисленные свидетельства, рисующие картину царящего при советском режиме всеобщего *страха*, как при деспотическом режиме. Монтескье изучал деспотизм на основе путевых записок Шардена, Бернье и документов о современных ему Индии, Персии и Китае, которые ему удалось собрать.

«Абсолютный суверен является единственным и всемогущим, хотя иногда он может наделять своею властью великого визиря; но каковы бы ни были формы взаимоотношений между деспотом и его окружением, не существует устойчивых социальных классов, ни рангов, ни сословий; нет эквивалента ни античной добродетели, ни европейской чести; страх царит над миллионами подданных, на протяжении всех этих безмерных пространств, где Государство может сохраняться лишь при условии, что всею полнотою власти наделен один человек»⁷.

Все это напоминает СССР, хотя относиться к данной картине следует с осторожностью. Описание Монтескье соответствует реальности не в большей степени, чем описание маркиза де Кюстина соответствовало русской реальности 1839 г.⁸ У Монтескье, как и у Кюстина, заметно преувеличение. Представитель западной цивилизации проецирует наружу собственные страхи и помещает свои кошмарные видения в бескрайних степях и в экзотических странах.

От Монтескье до Виттфогеля, видение азиатского деспотизма преследовало и терроризовало европейца, боявшегося потери своих свобод и уничтожения структуры европейского общества; это была своего рода реализация конкретного страха в воображаемом месте. Советский режим нельзя свести к режимам азиатских империй. Действительно, в этих империях *сословия* не

⁷ Раймон Арон, «Этапы социологической мысли» (на франц. яз.), изд-во «Галлимар», 1967.

⁸ Маркиз де Кюстин, «Письма из России» («Россия в 1839 г.»), изд-во «Академия», М.-Л., 1932.

были подвергнуты уничтожению: они просто не успели возникнуть. В силу различных исторических причин общество на Востоке не достигло той тонкой дифференциации, которая является уделом лишь Запада. Если бы эта дифференциация возникла, у империй появилась бы возможность усовершенствоваться. В СССР, наоборот, «атомизация» общества, разрушение социальных структур является целью сознательной политики, представляющей собой составной элемент режима, обратившего вспять вековую эволюцию, которую претерпевал прежний царистский «деспотический» режим.

Далее, по сравнению с СССР классические деспотические режимы вполне достойны считаться умеренными. Они предоставляли «маленьким людям» возможность предаваться своим повседневным занятиям, своему труду и развлечениям; они не преследовали лавочника, ремесленника, торговца; они стояли на страже добрых нравов, юридических традиций, установленных религий; они сохраняли и поддерживали политический и экономический порядок, который был отражением некоторого космического и духовного порядка. Суверен был его гарантом и символом. Первым действием только что вступившего на престол китайского императора было — задать ноту «ля», установить точку отсчета гаммы. Могло случиться, что суверен деградировал, преступал издревле заведенный порядок, вел себя как тиран; его дворец, его жены, евнухи и кони, вместо того, чтобы возвеличивать гармонию общественного устройства, начинали нести на себе печать достойной осуждения, а вскоре и вызывающей омерзение погони за личной славой и собственными утехами. Поскольку общество было примитивным и могло оказать лишь ничтожное сопротивление, азиатский деспот не задумываясь предпринимал одно за другим бессмысленные и дорого обходящиеся обществу действия:

«Когда дикари Луизианы возымеют охоту поестъ плодов, они срубают дерево и собирают плоды. Вот что такое деспотическое правление»⁹.

Советский режим не таков. Он не только не признает никакой стабильности установленного порядка, но наоборот, стремится его разрушить, и именно поэтому сковывает целые народы неслыханными мерами принуждения, именно поэтому стремится перековать нравы и обескровить религии. Его действия не бессмысленны, как поступки некоего обезумевшего султана: они запланированы и направлены на достижение цели, которая никогда по сути своей не является чьей-либо личной целью. Именно в этом и состоит, быть может, то различие, которое дает нам возможность прийти к некоторому промежуточному выводу: советский режим нельзя причислить ни к «хорошим» формам правления в смысле Аристотеля и Монтескье, ни к «плохим», как раз потому, что независимо от степени «умеренности» этого режима он не имеет своей целью ни общественное, ни личное благо. Он стремится к общественному «псевдо-благу» и осуществляет лишь некоторое личное «псевдо-благо».

Итак, перед нами диковинное создание. Сегодня Монтескье перед лицом фактов сохранил бы свою дуалистическую классификацию: с одной стороны, все известные в истории режимы, и с другой — режим советский. Узнав побольше, он бы, вероятно, согласился, что его смятенное воображение опередило действительность. Но как же назвать этот плод уже не фантазии, а реальности?

Примат идеологии

Тоталитаризм — предлагает Раймон Арон, продолжающий начатое Монтескье расследование.

«К обычным чертам бюрократического деспотизма добавляется воля революционной партии, преиспол-

⁹ Ш. де Монтескье, «О духе законов», кн. V, гл. XIII.

ненной решимости к переменам, и вдохновенная рационалистическая идеология, которая сама по себе представляет критику существующей действительности. Наконец, современное индустриальное общество дало советскому режиму такие средства достижения цели, которыми никогда не располагал ни один деспотический режим прошлого — монополию на средства убеждения масс и современные методы психологического воздействия. Азиатский деспотизм не содержал в себе ни создания нового человека, ни ожидания наступления новой эры в истории человечества»¹⁰.

Яснее и точнее не скажешь. В чем же состоит феномен тоталитаризма? Раймон Арон выделяет пять следующих составных элементов:

- 1) Наделение одной партии монополией на любую политическую деятельность.
- 2) Эта партия вдохновляется идеологией, которая, ввиду того, что партия признает за этой идеологией абсолютный авторитет, становится официально исповедуемой, единственно истинной, государственной религией.
- 3) С целью распространения и укоренения этой единственной истины государство оставляет за собой монополию средств насильственного воздействия и средств убеждения.
- 4) Подавляющая часть экономической и профессиональной деятельности подчинена государству и становится в некотором смысле составной частью самого государства.
- 5) Поскольку с определенного момента государственная и всякая иная деятельность подчинены идеологии, любая ошибка, совершенная в экономической или профессиональной деятельности, становится одновременно идеологическим прегрешением¹¹.

¹⁰ Р. Арон, «Демократия и тоталитаризм» (на франц. яз.), «Галлимар», 1965, стр. 319.

¹¹ Там же, стр. 287-288.

Это определение было сформулировано почти двадцать лет назад. Удивительно вовсе не то, что оно не устарело перед лицом меняющейся действительности, а то, что эта действительность, вопреки надеждам автора, не перестала быть актуальной и соответствующей вышеприведенной формулировке. Это определение не является социологическим в обиходном смысле этого слова. Ни индустриальное общество, ни единственная партия, ни их сочетание не приводят к неизбежному появлению тоталитаризма. Требуется еще одно условие:

«Исходная причина, как мне кажется, находится в самой революционной партии. Различные режимы превращались в тоталитарные не в процессе постепенного и неуклонного перерождения, а лишь благодаря наличию первоначального, отправного намерения — решимости преобразовать существующий порядок в соответствии с определенной идеологией»¹². [Деспотизм и идеология тесно связаны друг с другом, и фактически] «патологические формы деспотизма немислимы вне идеологической одержимости».

Мне хотелось бы уточнить и продолжить принадлежащий Арону анализ в отношении двух моментов. Во-первых, является ли слово «тоталитаризм» наиболее удачным? В своем непосредственном значении оно относится к поглощению государством всех видов индивидуальной деятельности, которые обычно осуществляются в рамках общества. Термин «тоталитаризм» подходит для обозначения явлений, описанных в пунктах 4 и 5, а также в пункте 1 приведенного выше определения. Однако это понятие не включает само по себе содержания пункта 2, то есть идеологию, рассматриваемую как абсолютная истина и навязываемую в этом качестве всему обществу. Оказывается, однако — и Раймон Арон был первым, кто это осознал, — что тоталитаризм, понимаемый в непосредственном и узком смысле, является вторичным по отношению к идеологии. *Идеология не*

¹² Там же, стр. 291.

является орудием тоталитаризма, но наоборот, тоталитаризм представляет собой политический результат и воплощение в общественную жизнь идеологии, которая хронологически и исторически является первичной. Разумеется, не очень удобно определять некоторое явление с помощью его результатов, а не его причин или принципов. Дело в том, что сами по себе результаты вполне могут присутствовать — локально или временно — и во всех прочих режимах. Именно поэтому многие исследователи писали (не претендуя, впрочем, на строгость термина) о тоталитаризме Восточной Римской Империи, царства инков или государства Спарты. Локально, в определенный исторический момент, для определенной группы населения такие явления, как императорский культ в Константинополе, распределение продуктов питания в древнем Перу или контроль за частной жизнью граждан в Спарте, быть может, субъективно соответствовали тому, что испытывает какой-нибудь москвич, обязанный утром демонстрировать свой энтузиазм на Красной площади, днем стоять в очереди за картошкой, а вечером — держать язык за зубами у себя в коммунальной квартире.

С этой точки зрения тоталитаризм не является чем-то совершенно новым: он вполне укладывается в рамки деспотизма, как его понимал Монтескье (не того, который он мог наблюдать, но по крайней мере того, который он мог себе вообразить, экстраполируя определенные явления, ростки которых уже были для него заметны). Так, по мнению Костаса Папаиоанну, все составляющие советский режим компоненты уже существовали по отдельности в историческом прошлом. То, что является свойственным только этому режиму, — это «феноменальная быстрота, с которой все эти традиционные, или даже архаические, компоненты власти сумели возродиться в сплавленном воедино и усовершенствованном виде — и это после столетия «прогресса» и триумфа двойной революции, которая пообещала установить социализм в городах, а в действительности уста-

новила ничем не сдерживаемую эксплуатацию крестьян в деревне»¹³. Помимо быстроты, отметим еще *размах* функционирования всех этих возродившихся компонентов, абсолютную концентрацию и централизацию тотальной, всеильной власти. Таким образом, можно было бы утверждать, что между деспотическими режимами (или их зародышами) в историческом прошлом и советским режимом существует различие в степени, в интенсивности — сколь угодно значительное, но все же чисто количественное.

Однако, абсолютное своеобразие этого режима по сравнению с любым другим известным из истории (и именно поэтому его нельзя ни вообразить заранее, ни понять, не испытав на опыте) состоит в положении, занимаемом идеологией. Она является существом и конечной целью режима, и тоталитаризм подчинен ей как слепое орудие. Лишь идеология, — подчеркивает Раймон Арон, — дает тоталитаризму его новое обличье и заставляет его невиданным ранее образом мобилизовать все социальные ресурсы, гигантски возросшие благодаря индустриализации. Более подходящим, чем «тоталитаризм», был бы термин *идеократия* (упоминаемый Ароном) или *логократия*, предлагаемый Милошем. Назовем же его вместе с Солженицыным — и с самим Ароном, который делает это по ходу изложения в своей книге — попросту: *идеологический режим*.

Большевизм и нацизм

В истории существовало два тоталитарных режима — гитлеровский и советский. Установив их общие черты, Арон проводит противопоставление между ними, беря в качестве критерия исходную программу — в одном случае отвратительную в самой основе, и в другом — благородную в первоначальном замысле:

«Различие является существенным в отношении идеи, которая воодушевляет оба начинания; однако

¹³ К. Papaioannou, «L'idéologie froide», Paris, 1967, p. 165.

в одном случае все завершается в исправительно-трудовом лагере, а в другом — в газовой камере. В одном случае в дело вступает решимость любыми средствами построить новый режим и, быть может, создать «нового человека», а в другом — часто дьявольское стремление уничтожить некоторую псевдо-расу»¹⁴.

Я не уверен, что рассуждая таким образом, мы беспристрастно подходим к обоим режимам и не упускаем при этом из виду их истинный смысл. Стремление уничтожить некоторую псевдо-расу не является ни более благородным, ни более постыдным, чем стремление уничтожить некий псевдо-класс, учитывая, что здесь «псевдо» имеет такой же вес, как и «раса» или «класс». Объективно судью не интересуют мотивы, на которые ссылаются обе идеологические системы, да он и не обязан их знать, поскольку обе системы находят оправдание в самих себе и отвергают универсальные критерии, которые им чужды. То, что интересует правосудие — это фактически совершенные деяния и преступления, определяемые в соответствии со всеобщими критериями права. Если человек погибает в лагере, то невозможно решить, является ли он жертвой большей несправедливости в том случае, когда лагерь называется «трудовым» или «лагерем уничтожения». Что более несправедливо — быть убитым в качестве «кулака» или в качестве «еврея»? Можно утверждать, например, что преступление, совершенное во имя возвышенного (или кажущегося возвышенным) идеала является более тяжким, чем в том случае, когда преступная цель прямо признается — но в глазах Гитлера уничтожение евреев

¹⁴ Гит. соч., стр. 275.

«Десятком трупов обрывалась фантазия и душевные силы шекспировских злодеев. Потому что у них не было идеологии. Идеология! — это она дает искомое оправдание злодейства и нужную долгую твердость злодею. ... Так инквизиторы укрепляли себя христианством, завоеватели — возвеличением родины, колонизаторы — цивилизацией, нацисты — расой, якобинцы (ранние и поздние) — равенством, братством, счастьем будущих поколений. Благодаря ИДЕОЛОГИИ досталось XX-му веку испытать злодейство — миллионное». А. Солженицын, «Архипелаг ГУЛаг», УМСА-Press, 1973, т. 1, стр. 181.

было гуманистической задачей, имеющей целью избавление от них человечества. Более того, это был единственный пункт, где нацисты, как они полагали, выходили за рамки узконациональных интересов и приобретали себе право на всеобщую признательность. Опираясь на латинскую поговорку *«corruptio optimi est pessima»*¹⁵, можно утверждать, что чем более возвышенным является идеал, и чем более благородной — провозглашенная цель, тем более отвратительна измена этим идеалам. Ограниченность нацистских амбиций гарантировала, быть может, менее чудовищный размах разрушений, чем универсальность советской доктрины. Можно отстаивать и обратную точку зрения.

Подобное противопоставление двух режимов, исходя из их программ, приводит к двум различным подходам в понимании их истории. Рассматриваемый в свете своих традиционных целеустремлений — имперских и националистических — гитлеризм абсолютно ясен. Если добавить к этому в качестве исходной предпосылки расистскую идею — то он не менее ясен и в своем проекте перестройки расовой карты Европы. Поэтому я не могу согласиться с Раймоном Ароном, когда он пишет:

«В это время [в Германии] свирепствует еще более непредсказуемый террор, чем тот, жертвой которого могли стать советские граждане, и, главное, ставящий перед собой совершенно другую цель. В Советском Союзе целью террора было создание общества, полностью соответствующего идеалу, тогда как в случае гитлеровского террора цель заключается просто-напросто в уничтожении»¹⁶.

В случае гитлеровского террора речь также шла о построении общества в соответствии с определенным идеалом, и этот идеал представляется нам более чудовищным, чем советский, только потому, что нацизм уже больше не существует. Кроме того, гитлеровский террор

¹⁵ Извращение наилучшего есть самое худшее (лат.).

¹⁶ Там же, стр. 301-302.

был более предсказуемым, чем террор коммунистический, потому, что категории подлежащих уничтожению лиц характеризовались внеидеологическими терминами. Евреи и славяне существовали до нацизма и продолжают существовать после него, даже если их определение не соответствует определению, содержащемуся в нацистских расовых законах. Однако, мы не можем сказать того же самого о категориях лиц, перечисленных в статье 58 УК СССР 1926 года, где первый ее пункт определял как контрреволюционное любое действие — или бездействие — направленное на ослабление власти¹⁷. Разумеется, между гитлеровской программой и историей национал-социалистской Германии существует глубочайшая согласованность, почему Раймон Арон и считает, что здесь зло заложено уже в самих корнях нацистской системы. Что же касается советского примера, то тут, по мнению Арона, налицо противоречие между замыслом и его осуществлением в историческом плане. Он пишет:

«Исторически советский режим родился из революционной решимости, вдохновленной гуманистическим идеалом. Цель состояла в создании самой гуманной системы, которую когда-либо знало человечество, первой системы, где каждый сможет чувствовать себя полноценным человеком, где исчезнут классы и где благодаря однородности общества воцарится взаимное уважение граждан. Однако это движение, направленное на достижение абсолютной цели, не останавливалось перед применением любых средств, ибо доктрина гласила, что идеальное общество может быть построено только путем насилия и что пролетариат ведет против капитализма войну не на жизнь, а на смерть. Из этой комбинации возвышенной цели и безжалостных методов и возникли различные исторические фазы советского режима»¹⁸.

17 См. «Архипелаг ГУЛаг», т. 1, стр. 71.

18 Цит. соч., стр. 294-295.

Отсюда следует, что советская история по отношению к своему замыслу представляет собой не что иное, как цель непреднамеренных случайностей. Гражданская война, коллективизация и сопутствующий им террор не были преднамеренными. Можно дать им рациональное объяснение: они являются результатом сопротивления материала — то есть действительности, подвергающейся революционной переделке. Однако с этой точки зрения «великие сталинские чистки» становятся уже «абсолютно иррациональными» и «безрассудными». Здесь допустимо единственное объяснение, еще более опирающееся на «фактор случайности»:

«Чтобы заложенное в потенции стало реальностью, чтобы стал возможен переход от действий по выборочному уничтожению «социальных сорняков», которые еще можно понять, к выходящим за всякие пределы разумного масштабам «великой чистки», требовалось нечто абсолютно исключительное. Требовался человек — и им был сам Сталин».

Бесспорно, подобное описание не противоречит ходу событий. Определенное число коммунистов на всех этапах ощущало расхождение как между намерением и результатом, так и между справедливостью и несправедливостью. Они высказывали свои сомнения вслух и часто платили за это жизнью. «Великие чистки» нельзя понять, если не учитывать особенности кадровой политики Сталина, его стремление выковать новую партию, более преданную, чем существующая, которая была сталинской по убеждениям, но не по родословной. И все-таки, при всем при этом теория, прибегающая при описании советской истории к понятию «случайности», напоминает артиллерийское орудие, которое позволяет стрелять либо ближе цели, либо дальше нее, но в саму цель не попадает. Ближе цели — потому что понимание истории как неудачной попытки установить царство справедливости относится к области *наивности*, представляющей собой изъян в идеологии. Наивность заклю-

чается в суждении о достоинствах системы на основе не критериев, внутренне присущих самой доктрине, а на основе универсальных критериев, которых идеология не признает. Потенциальная справедливость и фактическая несправедливость появляются в оценке как следствие «неидеологичности» суждения, в той степени, в которой идеология отвергает автономию морали по отношению к доктрине. Дальше цели — потому что осуществление власти ради власти и привнесение в этот процесс «личностного фактора» относится к другому изъяну в идеологии, который я называю *цинизмом*¹⁹. Предлагаемая Ароном интерпретация корректно определенного им феномена — идеологического режима — охватывает его с двух сторон и затрагивает сам феномен не во всей его полноте, а лишь с краев, в побочных проявлениях, в его шероховатостях и изъянах.

Идеологическая программа не является гуманистической лишь потому, что она является идеологической. В городе будущего, который предстоит построить, часть человечества оказывается онтологически исключенной. Это исключение не является предметом дискуссии о справедливости или несправедливости данного факта, поскольку по самой своей природе исключенная часть лишена права быть *стороной* в возможном судебном разбирательстве. Что же касается другой части человечества, «избранных», то их судьба также определяется не извечными представлениями о справедливости и несправедливости, а лишь подчинением нормам мышления и поведения, определяемым советской идеологией. Нацизм признавал, что он реализует свои цели исключительно в собственных интересах — кроме уничтожения евреев, которому он придавал универсальный характер. Таким образом, он открыто задавался целью установить в масштабе всего человечества олигархию или тиранию, а в масштабе германского народа — аристократическое или монархическое правление. В

¹⁹ Анни Кригель проанализировала эти два понятия в работе «Заметки об идеологии во Французской коммунистической партии», «Contrepoint», № 3, стр. 95-104.

противоположность этому, советская идеология заполучила в свое распоряжение (обманным путем присвоив чужое наследство) подлинно универсальные и гуманистические идеалы религии и морали. Таким образом, возникает неувязка между гуманистической (или универсалистской) программой с одной стороны, и идеологической программой, с другой. Вторая из них претендует на реализацию первой, но в самой своей основе, вводя принцип исключения «недостойных», предполагает, что эта реализация будет частичной, что извращает и даже полностью перечеркивает ее смысл.

Если большевистская программа провозглашает на словах лозунг справедливости или даже возвышенных идеалов абсолютной справедливости, то попытку вменить ей это в заслугу следует признать глубоко сомнительной, ибо та же самая программа недвусмысленно предусматривает законное право лгать и убивать (или, вернее, поскольку она вообще отрицает правозаконность, считает это вполне уместным). Даже в том случае, когда идеологический режим осуществляет *справедливую* реформу — например, раздел помещичьих земель между крестьянами — она не может быть *названа* таковою, так как она была проведена в жизнь не во имя справедливости, а во имя идеологии. Именно поэтому последовательный большевик не испытывал утрызений совести, когда он забирал обратно крестьянскую землю — точно так же, как он не считал своей заслугой наделение крестьян землей. Различие между нацистской и большевистской программами — это отнюдь не различие между злом и добром (или между человечностью и бесчеловечностью). Их разделяет то, что одна из них сформулирована ясно и неприкрыто и воспринимается вполне однозначно, тогда как смысл другой затемняется благодаря наличию демагогических или туманных формулировок, допускающих самое различное толкование. Превосходство демагогии над прямолинейностью лежит вовсе не в сфере морали, а в сфере функциональности. При этом каждая сторона полагает, что Справедливость

облекает собою ее программу и облагораживает ее, в то время как это программа втискивает Справедливость в свои рамки и полностью ее извращает.

Диалектика двух реальностей

Согласно Арону, режим становится тоталитарным благодаря наличию первоначального, исходного намерения — решимости радикально преобразовать существующий порядок в соответствии с определенной идеологией. При этом режим прибегает к трем видам террора. Первый из них можно считать «нормальным»: это террор, осуществляемый одной фракцией против своих оппонентов. На протяжении веков он сопутствует любой революции: у новой власти множество противников, и чтобы выжить, она должна их разгромить. Второй тип террора, сопровождающий коллективизацию (и, можно добавить, также первые пятилетки), можно объяснить рационально, если оставить в стороне абсурдность самих проектов, логическим следствием которых он является. Третий тип террора, когда он обращается против самой партии, представляется загадочным:

«Никто не поддался на обман полностью, но у немногих хватало смелости назвать это нонсенсом, бессмыслицей или попросту воскликнуть: «Ложь! ложь! ложь!» Фактически, что еще более удивительно, этот мир мрачных вымыслов не казался только лишь годлым или отвратительным. В каком-то смысле он притягивал или, во всяком случае, завораживал, потому что все в нем имело глубокий смысл, ничего не происходило по воле случая. Глубинные силы истории сплетались здесь с концепциями классов и заговорами отдельных личностей. Диалектика Гегеля достигала своего апогея в иступленном полицейском разгуле»²⁰.

Я могу только восхищаться этим клиническим описа-

²⁰ Там же, стр. 283-284.

нием гиппотического транса, в который впадает посторонний наблюдатель, чуждый идеологии, но подпавший под влияние ее колдовских чар. И все же есть способ разорвать магический круг и проникнуть в суть *mysterium magnum* — Великого Таинства террора, проявления которого усиливаются по мере того, как причины исчезают. Для этого нужно лишь принять в расчет четвертый тип террора, управляющий тремя остальными. В самом деле, наряду с усилиями по переделке действительности, которые дают исчерпывающее объяснение первого типа террора, уже хуже объясняют второй, и совсем плохо — третий, существует еще навязываемая идеологией фикция: что другая реальность *уже существует* — а именно, ее собственная реальность. Режим осуществляет террор не потому только, что он стремится перевести идеологию из состояния потенциального к состоянию реального существования, но также — и в конечном итоге, главным образом — потому, что он утверждает, что она *уже существует* реально.

Революционная программа до-идеологической эры не посягает на принцип единства реальности и сохраняет его, даже разрушая саму реальность. Она соблюдает также принцип последовательного протекания событий во времени, хотя и ускоряет сам процесс. Петр I является типичным представителем подобной простой формы революционной власти. Чтобы преобразовать Россию, он устанавливает террор, но в ходе этих преобразований он не утверждает, что Россия уже не та, что была. Точно так же, заботясь о своей пропаганде, он не фальсифицирует информацию, не устанавливает царство всеобщей лжи. Наоборот, он лишает «святую Русь» ореола исключительности, чтобы она стала более понятной и близкой другим народам, и применяет к русской действительности общепринятые мерки, чтобы успешнее ее преобразить. Он ниспровергает всемогущество церкви, открывает границы. Что же касается отрубленных голов, то он выставляет их на городских воротах.

В древних апокалиптических сочинениях существу-

ющий мир не смешивается с новым миром, который придет ему на смену — это две отчетливо отделенные друг от друга эры в истории мироздания. Древние гностики, наоборот, верили, что существующий телесный мир скрывает за собою другой, внутренне связанный с первым невидимыми узами. Этот другой мир присутствует «здесь и сейчас», рядом и одновременно с видимым миром, и разделяющая их граница является препятствием лишь для человеческого сознания, еще не озаренного «светом истины». Таким образом, две длящиеся параллельно «эры» могут с полным правом считаться за одну.

Петр I строит новый мировой порядок, который должен прийти на смену прежнему. Поэтому, когда староверы называют его Антихристом, а официальные епископы — Константином²¹, они применяют апокалиптическую схему. Идеологический режим направляет острие своей террористической деятельности на то, чтобы заставить весь мир, своих подданных и своих прислужников поверить, что сущность общественного мироздания уже преобразована, что с приходом социализма человечество уже вступило в завершающий и окончательный этап своего развития. Вспомогательным средством здесь служит *нормальный* или *рационально объяснимый* террор, не останавливающийся ни перед чем в стремлении загнать общество в «царство свободы». Однако есть еще и особый вид террора, специфический только для идеологического режима, который идет гораздо дальше. Он призван тщательно законопатить все щели, возникающие в перегородке, отделяющей подлинную реальность от реальности идеологической. Его первым мероприятием является закрытие границ и взятие под контроль информации. Необходимо, чтобы та часть реальности, которая находится под контролем

²¹ Константин Великий (274-338 гг.) — первый христианский римский император. Во время его правления христианская религия впервые добилась официального признания, а затем быстро приобрела широкое влияние в масштабе всего государства. Сам Константин перешел в христианство только в конце своей жизни. (Прим. перев.)

режима, воспринималась как несуществующая, как ирреальность, а псевдореальность — как подлинная реальность. Второй этап состоит в перевоспитании масс, и это перевоспитание должно быть доведено до такой степени, чтобы люди перестали верить своим глазам и ушам, чтобы белое беспрекословно именовалось черным, чтобы перед лицом лжи язык оказывался парализованным и никто уже не мог бы кричать во весь голос: «Ложь! ложь! ложь!».

Этот террор характеризуется не просто более широким размахом — в этом случае он только довел бы до крайнего предела и обобщил все те виды насилия, которые уже были испытаны человечеством в разные периоды его истории. Это террор нового типа. Он более невыносим, потому что единство мира оказывается разрушенным. От человека, лишенного возможности оторваться от реального мира, требуют, чтобы он жил в несуществующем мире. Лишенного возможности выйти за пределы исторического времени, его заставляют жить в вымышленном времени, знаменующем собой конец всей предыдущей истории человечества. Таким образом, он оказывается царстве лжи и подлога, что еще более невыносимо, чем само угнетение. Наконец, само существование этого всеобъемлющего террора и острейшего страдания должно отрицаться. Террор первых послеволюционных лет был достаточно похож на обычный террор, чтобы в нем можно было признаться. Более того, он прославлялся. Ленин превозносил заслуги ЧК, и среди всех глав тайной полиции, о которых упоминает история, только Дзержинский удостоился памятника, стоящего в центре Москвы. Но после того, как этот террор уже выполнил свою задачу и у режима уже больше нет настоящих, реально существующих врагов, врагом становится сама реальность. Дело в том, что самим фактом своего существования она подрывает веру в завершенность процесса создания «нового общества» — и поэтому нужен новый, бесконечно более жестокий террор. Однако, поскольку он сам по себе несовместим

с идеологической реальностью, и она развалилась бы сразу же, как только о нем стало бы известно, эта реальность превращает террор в тщательно охраняемую государственную тайну.

В сердце нового режима выросстал аппарат подавления, существование которого перечеркивало смысл режима, но на который он фактически опирался. В зените сталинской эпохи блистательные достижения советского режима были сведены к тоненькой оболочке, которая давала внешнему миру впечатление гладкой и непрерывной поверхности. Однако, если кто-то по неосторожности или случайно проникал за эту оболочку, он немедленно попадал в империю ГУЛага, что испытали на себе многочисленные западные коминтерновцы. Сколь тонка бы она ни была, эта оболочка никогда не была разорвана: благодаря своей вездесущности террор сумел стать невидимым. При этом оказалось, что на этой высшей стадии он выходит из-под контроля. Задача полиции превратилась в задачу чисто метафизическую: на плечах Ежова, Берии, «органов» покоилась вся новая действительность и вера в ее существование. Цели, которые можно точно определить в рамках конкретной, *физической* реальности — создать колхозы, построить заводы, переделать партию — становятся второстепенными по сравнению с грандиозной задачей: заменить эту реальность реальностью *метафизической*. Если для достижения перечисленных выше целей не было необходимости разрушать сельское хозяйство, то полное подчинение крестьянства (и, следовательно, уничтожение его элиты) лежит уже в сфере второй задачи. Чтобы сохранить за партией монополию власти, «великая чистка» не была необходимой, но чтобы сохранить идеологическую чистоту партии, без нее, быть может, и нельзя было обойтись.

Стоящая перед идеологическим режимом проблема состоит в том, чтобы контролировать эту диалектику двух реальностей. Высасывая соки из подлинной реальности, фиктивная реальность не может себе позво-

лить обескровить ее полностью, так как при этом она погибнет сама. Поэтому нужно поддерживать определенное равновесие, как в случае паразита и организма, на котором он паразитирует. Сегодняшний советский режим избегает возврата к сталинизму, потому что при Сталине это равновесие едва не разрушилось. Если ему не пришел конец в первые месяцы гитлеровского нашествия, то лишь потому, что советская власть сумела чрезвычайно быстро проскочить точку равновесия и оказаться по другую ее сторону: она пошла на то, чтобы идеология временно отошла в тень. Во время Великой Отечественной войны режим допустил массивное проникновение в жизнь страны подлинной реальности и проделал это столь успешно, что его союзники и даже подданные начали относиться к нему как к классическому авторитарному режиму, не очень отдаленному по своим внешним проявлениям от того, который Солженицын считает наиболее подходящим для первого этапа будущего возрождения России. Партия сохраняла власть, но привлекала к участию в своих мероприятиях достойнейших граждан страны. Церковь жила в условиях фактического конкордата²². Ложь была прикрыта национализмом, который мог более эффективно мобилизовать массы. Солженицын не сохранил тяжелых воспоминаний об этом периоде, на который пришлось начало его вступления в жизнь: он видел в нем предвестие будущих перемен к лучшему. Тем не менее, как только опасность миновала, сфера влияния советской реальности начала расширяться столь же легко и быстро, как она сократилась в начале войны. Солженицын испытал это на своем опыте. Спрятанные под поверхность, «органы» сохранились в нетронутom виде. Процесс создания метафизической реальности, на время оставленный, сразу же после войны развернулся с невиданной широтой, так что страна вновь едва не захлебнулась в

²² Конкордат — договор между правительством какого-либо государства и Ватиканом, устанавливающий правовые нормы взаимоотношений между государственной и церковной властью в данной стране. (Прим. перев.)

собственной крови. После смерти Сталина режим обрел равновесие, по всей вероятности, столь устойчивое, как ни в один момент своей предыдущей истории. Он пребывает неизменным по своей сути.

«Замолчи, Санчо!»

Но в чем же состоит эта суть? Где искать его исходные принципы, движущие мотивы, его естество? Советский режим целиком и полностью держится на идеологии, а идеология, в свою очередь, зависит от некоторой реальности, которую он неумолимо старается воплотить в жизнь — именно поэтому его гнет так жесток — но которая, тем не менее, отказывается существовать, что отнимает у режима его сущность и лишает реальности. Если рассматривать его в рамках обычной реальности, трудно найти что-либо более внушительное, чем этот режим, что-либо более впечатляющее, чем его «органы», но поскольку его цели находятся вне этой реальности, он кажется бессильным в своем всемогуществе и управляет ею не в большей степени, чем управляет кроликом ласка, впившаяся ему в шею. Если же рассматривать его в рамках реальности фиктивной, то чтобы поверить в режим, нужно поверить в эту реальность, а чтобы люди продолжали в нее верить, режим вынужден скрывать свою истинную суть.

Там, где рассуждения ни к чему не приводят, обратимся за помощью к притче. Ибо когда мудрецы пребывают в смущении перед неразрешимой загадкой, кто же, как не безумец, сумеет объяснить нам природу советского режима? Откроем «Дон Кихота»:

«Они обнаружили большую мельницу, сооруженную посередине реки, и, едва лишь заметив ее, Дон Кихот вскричал громким голосом: «Смотри, друг мой Санчо, перед нами город, замок или крепость, где томится какой-нибудь рыцарь, либо изнемогает в неволе некая инфанта или принцесса, коим я призван помочь!»

— О каком еще городе, замке или крепости вы твердите, сеньор? — отвечал Санчо. — Разве вы не видите, что это водяная мельница, построенная на реке, мельница, чтоб молотить зерно?

— Замолчи, Санчо! — вскричал Дон Кихот. — Хоть с виду это и мельница, но это не так. Разве не говорил я тебе, что колдовские чары лишают вещи их природного состояния, превращая их в нечто другое? Я не хочу сказать, что они действительно превращают одни вещи в другие, но они заставляют их казаться другими».

Мельница посередине реки — это Россия. Замок, где томится в неволе инфанта — это Россия в воображении революционера. Революционная власть — это власть Дон Кихота. Но власть над чем — над мельницей или над замком? Идеология заставляет видеть замок под наружностью мельницы, и в результате какой-то поистине безумной аберрации все меняется местами: это действительность начинает казаться результатом наваждения. При этом отсутствует «апокалиптический» переход, и воображаемая реальность не подвергается преобразующему воздействию со стороны подлинной реальности: замок остается замком, игнорируя наличие мельницы, и правитель мельницы будет управлять ею как замком, а вовсе не как мельницей. В зависимости от выбранной точки зрения, эта власть будет казаться то могущественной, то бессильной. Все, что в мельнице напоминает мельницу, устраняется; жернова и колеса идут на слом, а мельник проходит курс перевоспитания. В результате бедняга мельник начинает думать, что он живет под властью абсолютного деспотизма, который он даже не может назвать по имени. «Замолчи, Санчо!» И тем не менее мельница остается мельницей, а замок упорно отказывается подавать признаки жизни. Поскольку, несмотря ни на что, жить все-таки надо, правитель делит с мельником хлеб, который тот продолжает с грехом пополам выпекать где-то в укромном уголке.

В конце концов мельник в своей изувеченной мельнице (но более мельнице, чем когда бы то ни было) задается вопросом, не является ли именно он — мельник, а не инфанта! — единственным существующим обитателем и хозяином мельницы. Власть он сносит как докучливого гостя или как дурной сон. В этом смысле он живет в условиях анархии: термин *тираническая анархия* мог бы стать самым приближенным к реальности определением режима, который сам себя определяет как «архимонолитный», лишенный антагонистических противоречий.

Притча объясняет нам, почему советский режим с такой легкостью увильивает от попыток применить к нему анализ Аристотеля, Монтескье, Раймона Арона. Он неуловим, как угадываемая карта в руках ловкого шулера. Он утверждает, что сочетает в себе преимущества трех «хороших» форм правления — но если сорвать с него эту удобную личину, то окажется, что он несводим и к трем «плохим» формам. Он соответствует определению деспотизма Монтескье, если оговорить, что Монтескье не знал того деспотизма, о котором писал, а лишь воображал его. После этого мы с изумлением замечаем, что в этом деспотизме нет деспота. Особенно сбитым с толку оказывается марксист. Он пытается найти социальную базу для идеологической надстройки, тогда как власть уже давно трудится над превращением общества в придаток доктрины. Режим ведет себя как абсолютный идеалист: он подчиняет онтологическое начало — логическим построениям, бытие — доктрине. Однако, как Дон Кихот считает околдованным не собственный разум, а окружающие вещи, так и советский режим переносит свойства своей идеологии на реальные явления — и при этом считает себя абсолютно материалистическим.

Является ли тоталитаризм порождением революционной программы? Конечно, но наряду с программой присутствует еще и идеологическая реальность, громогласно

возвещающая, что она уже наступила. Преобразовывать действительность по образцу некоторой другой реальности, объявленной имманентной, но на самом деле фиктивной и иллюзорной, означает в результате приводить к окостенению первой, заставляя ее в то же время имитировать вторую. Однако, если на мельнице перестали молотить зерно, это еще не значит, что мельница превратилась в замок. Это просто остановившаяся мельница. Таким образом, режим является источником одновременно революции и консерватизма. Утопия, поскольку она считается осуществленной, засасывает реальность и выхолащивает воображение. Программа разрушения (которое Бакунин отождествлял с созиданием) вдохновляется отнюдь не прометеевским духом, а убогой фантазией мелкого чиновника. Чтобы излечить общество, страдающее «искривлением стопы», требуется хирургическое вмешательство. На помощь призываются все средства врачебного искусства. Появляется г-н Шарль Бовари²³ со своими режущими и колющими инструментами. В исходе операции сомневаться не приходится.

23 Шарль Бовари — персонаж романа Г. Флобера «Госпожа Бовари», провинциальный лекарь-недоучка. Подогреваемый тщеславием и уговорами «поборников прогресса», он решает применить на практике новый метод лечения искривления стопы, о котором он узнал из одной хвалебной статьи. Объектом операции был избран конюх Ипполит, отнюдь не страдавший от своего недостатка. «Создавалось впечатление, — пишет Флобер, — что больная нога у него даже сильнее здоровой». Несмотря на сопротивление конюха, операция, обещавшая быть чем-то «вроде легонького кровопускания», была проведена. Выступивший с идеей операции «поборник прогресса» писал в местной газете: «Наш маленький городок оказался ареной хирургического опыта, который является в то же время актом высшего человеколюбия. Слава неутомимым труженикам, которые не спят ночей для того, чтобы род человеческий стал прекраснее и здоровее! Слава!» Однако, вскоре у Ипполита началась гангрена и, «несмотря на все усилия медицины», ногу ему пришлось отнять. Впрочем, бедняга выжил. (Прим. перев.)

РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОВЕТСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО*

Поставим перед собой два вопроса: представляет ли собой прежняя Российская империя нечто особенное по сравнению с другими империями? Может ли советское владычество быть уподоблено империи?

Империи не похожи одна на другую, поскольку различными являются географические и исторические условия процесса покорения народов и территорий. Само понятие «Российская империя» следует применять с осторожностью, постоянно имея в виду, что она представляет собой сооружение, возводившееся в течение многих веков, где наслоились различные типы завоеванных территорий и различные методы завоевания. Она состоит из целого ряда сменявших друг друга империй.

Первая русская империя — это та, которая с XVI и до конца XVII века распространялась на северо-восток, присоединяя к себе расположенные там незанятые земли. В ней можно обнаружить определенное сходство с европейскими империями, присоединявшими к себе заморские территории. И здесь, и там покорение осуществляется небольшими вооруженными группами частных торговцев или отрядами нерегулярных войск; затем государство довольно быстро их настигает, берет на себя ответственность за их действия, покрывает новую территорию сетью командных постов и фортов и прикрепляет к ним поселенцев, облагает их налогами и окончательно включает в свою орбиту. Русские северо-восточные территории напоминают скорее не Испанскую Америку, а французские колонии в Северной Америке, Новую Францию: тот же пронизывающий холод, немногочисленность коренного населения — и тот же товар, становящийся источником наживы и заставляющий людей распространяться в его поисках по огромным территориям — меха. Французский траппер, затерянный

* Сообщение на коллоквиуме «Концепция империи» (Париж, 1977).

в верховьях Миссури, одичавший, по всей вероятности, не слишком отличается от своего сибирского собрата. К тому же характерное для Кольбера¹ стремление закрепить колонистов на определенных владениях и осуществлять возможно более пристальный контроль за коммерческой инициативой вполне может сравниться с русской централизацией.

Однако еще больше в эту эпоху русская империя походит на ту, преемницей которой она стала: на традиционную империю кочевников. Наряду с Оттоманской, Персидской и Китайской империями, Московское царство является элементом международной системы (в то время еще элементом абсолютно органическим). Великий князь Московский пришел на смену татарскому хану, Московская Русь сменила Золотую Орду, но стиль правления, государственные органы, военная техника и торговые пути остались прежними.

Было, однако, и одно отличие. Империя Батыя была классической империей, экспансия которой основывалась на завоеваниях, и хан пользовался властью, законность которой, согласно тогдашним представлениям, была связана с его положением завоевателя. Поэтому, между прочим, в русских церквях возносились молитвы за «царя ордынского» или «царя казанского». Таким образом, существовало два статуса для подданных империи: один — для завоевателей-татар, и другой — для покоренных русских. Московское княжество сложилось вокруг династии «наместников» хана, которые собирали для него подати и пользовались властью, исходившей, по сути дела, от хана. Когда великий князь Московский освободился от вассальной зависимости от Орды, он считал, что его подданные обладают не статусом татар

¹ Жан-Батист Кольбер (1619-1683) — французский государственный деятель. Он сыграл весьма значительную роль в создании новой промышленности, поощрял торговлю, преобразовал финансовую систему и флот. Кольбер добивался увеличения государственного дохода в первую очередь за счет активного торгового баланса и считал, что мощь государства лежит в накоплении драгоценного металла. Система его взглядов, получившая название «кольбертизма», является одной из разновидностей меркантилизма. (Прим. перев.)

под властью татарского князя, но статусом *русских* под властью татарского князя, титул которого он унаследовал. Он рассматривал сам себя как покорителя своих собственных подданных. Последние были, как замечает один западный путешественник того времени, «все рабы». Следовательно, русская империя, и в этом ее своеобразии, не состояла из слоя привилегированных, сосредоточенного вблизи вершины социальной пирамиды, и поработанных масс — вдали от нее. Порабощение начиналось сразу же, в непосредственной близости от царского престола. Именно поэтому крымских татар, вассальных подданных Оттоманской империи, приводило в такой ужас положение русских и полное отсутствие прав у тех, с кем они периодически вели войны.

Вторая русская империя — это та, которая сформировалась за счет присоединения территорий, ранее принадлежавших Швеции, Польше и Оттоманской империи, начиная с XVIII века и в результате революции петровских реформ. В данном случае это были территории, по большей части густо заселенные христианскими европейскими народами, уровень цивилизованности которых был не ниже, а зачастую и выше русского. Уже не было возможности ассимилировать их или охватить одной волной русской колонизации. Это были, в большинстве случаев, нации в процессе формирования. Сравнение с Америкой больше непригодно, но зато оказывается, что действия русских по сути своей не отличаются от деятельности, которую ведут в то же самое время прусская и австрийская монархии. Сходны и методы: вслед за вооруженным завоеванием достигается политическое соглашение с местными аристократами, гарантирующее их привилегии и дающее им возможность служить их новому суверену. Прибалтийские государства, христианские государства Кавказа, Польша дали царскому режиму множество отличающихся рвением и компетентностью слуг, в которых он так остро нуждался.

Случай с Польшей был более сложным и требовал применения особых методов. Я не считаю чем-то особен-

ным или оригинальным выдающуюся ловкость и умение России постепенно парализовать польское государство, оказываться замешанной в его внешних конфликтах и обращать себе на пользу внутренние распри, надевать личину защитницы свобод Польши, чтобы надежнее ее поработить, инспирировать исходящие от различных фракций и группировок в Польше призывы к интервенции. В XVIII веке Австрия и Пруссия действовали в соответствии с теми же макиавеллевскими принципами, хотя, быть может, не с той же железной последовательностью. Однако Россия играла еще на одной струне, которой не было в распоряжении у соперничающих с ней монархий.

«Законные права» царской власти имели двойное основание. Царь считал себя преемником как татарского хана, так и византийского императора. Россия была единственной православной державой, не подпавшей под турецкое владычество. Поэтому раздавались голоса, проповедующие идею «Третьего Рима» и «избранного народа»². Государство видело свою выгоду в том, чтобы углубить раскол между западным и восточным христианством и усилить враждебное отношение к католикам, поскольку при этом политическая лояльность подкреплялась верностью религии. Призыв к «истинной вере» облегчил отвоевание Украины у Польши, а впоследствии служил для того, чтобы в приграничных областях восстанавливать крестьян против их польских хозяев, добавляя к религиозной ненависти классовую. В XIX веке царское правительство не преминуло использовать классовую борьбу с тем, чтобы сохранить в подчинении польское и прибалтийское дворянство. После польского восстания 1863 года оно предоставило польским крестьянам более благоприятный статус, чем имели русские

² Речь идет о богословской концепции «остатка», «тех, кто спасется», «избранных». Если в ветхозаветной традиции это понятие еще иногда связывалось с реальными катаклизмами, то в дальнейшем оно приобрело чисто эсхатологическое звучание (см. *Матф.* 22. 14; *Рим.* 9.27, 11.5 и др.). Именно этот смысл «богоизбранности» и вкладывался в уподобление «Святой Руси» «остатку сынов Израилевых». (*Прим. перев.*)

крестьяне — все это с целью ослабить местную шляхту.

Можно ли говорить о третьей русской империи — империи XIX века? Она растет довольно медленно по сравнению с Британской или Французской империей. Она оккупирует Туркестан в обстоятельствах, довольно сходных с теми, с которыми столкнулась Франция в странах Магриба (северо-западной Африки). Она участвует — с переменным успехом — в расчленении Китайской империи. Однако повсюду в Европе ей приходится защищаться. Действительно, на присоединенных Россией землях с «инородческим» населением происходит процесс формирования наций, остановить который почти невозможно — если в распоряжении правительства нет иных средств, чем те, которые допускаются обычаями XIX века. В целом царский режим был нацелен на русификацию, что приводило к применению мер подавления и разжигало местные националистические настроения. Если рассмотреть ситуацию в Российской империи накануне первой мировой войны, то можно считать, что у царского режима были серьезные шансы справиться с социальными проблемами, с проблемой революционной интеллигенции, с проблемой экономического развития, но не было ни малейшего шанса решить национальный вопрос. Он перекрывает все пути эволюции режима, поскольку либеральная, демократическая, прогрессивная альтернатива, представляющая собой возможное решение прочих проблем, не дает решения национального вопроса и в результате приводит к распаду империи.

Именно этого и добивается революционная партия. Ленин безоговорочно поддерживает любое националистическое требование — точно так же, как он безусловно поддерживает любой крестьянский бунт или любую рабочую стачку. Это не означает, что он является сторонником национализма: он рассматривает его как удобный инструмент, и здесь его отношение ничем не отличается от отношения к крестьянскому или рабочему движению. Он не борется против «несправедливости», но

использует несправедливость в любом ее проявлении с целью подрыва и разрушения общества, которое он называет «капиталистическим», и установления «социализма».

И действительно, начиная с февраля 1917 года, Русская империя вступает в период распада, и новые нации отделяются от нее, принимая форму независимых государств. Тем не менее, вскоре после этого советское господство было восстановлено на Украине и в Закавказье, распространилось после 1939 года на прибалтийские республики, а сразу же после войны оказалось, что Советский Союз присвоил себе обширные участки территорий, ранее принадлежавших Финляндии, Польше, Германии, Чехословакии и Румынии. Наконец, фактическая власть советского режима перешла свои «юридические» границы и распространилась на ряд государств Восточной Европы.

Можно ли говорить о таком явлении, как «советская империя»?

На первый и поверхностный взгляд, советская власть переняла большинство имперских принципов и рецептов. В Средней Азии они заключались в стремлении раздробить, «балканизировать» формирующуюся тюркскую нацию, и закрепить племенные или диалектные различия, превратив их в «национальные». Этим нациям была предоставлена видимость автономии, в то время как подлинная власть принадлежала коммунистической партии, а внутри нее, во всех стратегических точках — русским. Такая структура власти затем была распространена на все союзные республики, населенные «нацменьшинствами». Для повторного покорения Украины, Грузии, Армении советская власть прибегла не к классовой борьбе (в данном конкретном случае она обернулась бы против нее), а к идее (или к лозунгу) классовой борьбы. Она провозглашала себя «пролетарской», призванной заменить существовавшие правительства, которые были «меньшевистскими» или «буржуазными».

После второй мировой войны для поддержки своих притязаний на господство над Болгарией, Польшей и Чехословакией советская власть выдвинула лозунг солидарности братских славянских народов, прямо восходящий к традиции панславизма.

Следует ли приписать советскому владычеству колониальный характер, признав его последней колониальной империей на земном шаре? Действительно, это наиболее распространенная точка зрения: она господствует на Западе, но также и среди покоренных народов. Фактически все без исключения «инородцы», включая украинцев, объединены в не различающей оттенков ненависти к русскому народу. В Польше почти единодушная враждебность по отношению к существующему режиму выливается в традиционные формы ненависти к историческому врагу, причем до такой степени, что антирусские настроения зачастую заслоняют и мешают разглядеть их подлинную подоплеку — антикоммунизм.

Чтобы эта точка зрения была верна, необходимо, по крайней мере, чтобы советская империя представляла собой, наподобие иных империй, метрополию, окруженную своими колониями. Это, однако, не так. Русские диссиденты, и прежде всего Солженицын, без труда доказывают, что русский народ не менее пострадал от советского режима, чем грузинский или армянский народы, и что его близость к центральной власти привела к тому, что он пострадал даже больше, чем другие. И если русский народ действительно господствует над другими народами, то лишь потому, что это выгодно советскому режиму. Последний, унаследовав колониальную форму и присущие ей рецепты осуществления власти, сохранил их и продолжает использовать — но не в качестве цели самой по себе, как в настоящей колониальной империи, а лишь как средство для поддержания местного владычества советского режима. Таким образом, как и в других областях, он не утруждает себя проявлениями воображения и изобретательности. Он

использует эти рецепты вполне готовыми к употреблению: русификация, насаждение розни и ненависти между различными этническими группами, предоставление ключевых позиций в подлинных органах власти (партия, КГБ) русским, но которые находятся там не в качестве русских, так как их лояльность направлена не на русскую нацию, как это было бы в случае настоящей колониальной империи, а на коммунистическую партию, международный коммунизм и, в конечном итоге, на идеологию.

В таком случае, быть может, следует вернуться к внутренней структуре первой русской империи, где, как мы уже говорили, рабская зависимость начиналась с самого приближенного к царю боярина, причем даже этот боярин не имел тех привилегий, которыми пользовался римский или британский гражданин? «Стоящий на коленях раб мечтает о всемирной империи» — писал маркиз де Кюстин. Дело в том, что советское владычество с его иступленной привязанностью к самой ничтожной пяди территории и есть мечта и оправдание для подавляющего большинства советских руководящих работников, которые по сути дела есть не что иное, как «рабы». Но они не являются даже рабами хозяина, который сам был бы свободен — хотя бы это был единственный свободный человек в Империи, как царь-самодержец. Они слуги нематериальной и безличной системы, без понимания природы которой невозможно проникнуть в истинную суть советского владычества. Для этого придется вернуться назад, к тому моменту, когда происходит оформление социалистической идеи и идеи национальной.

Социализм и национализм в России вышли (как неразлучные сыновья Зевса и Леды, близнецы Кастор и Полидевк) из одного яйца — понятия народа. Слово «народ» должно вызывать такие же ассоциации, как и немецкое слово «Volk», точным переводом которого оно является. «Народность» (Volkstum) является ключевым словом как для официальной националистической идео-

лоти царского режима («православие, самодержавие, народность»), так и для христианской утопии славянофилов, панславизма с его завоевательным духом и, наконец, для народничества. Иногда оно охватывало имперские границы, иногда лишь национальные, иногда принимало социальный оттенок («народ» в том качестве, в каком он противопоставляется государству, проникнутым западным духом классам, дворянству и буржуазии). Народ является источником и оправданием законности (или притязаний на законность) одновременно и для политической структуры царизма, и для бунта, который намеревается его сокрушить. Предполагается также, что он служит источником и/или рассматривается как конечная цель всякой культурной деятельности.

Большевизм унаследовал народнический дух. Но как примирить его с классовым подходом? Ленин и Сталин разрешают проблему без малейшего затруднения, прибегая к включению в доктрину обоих понятий. Национализм оказывается подчиненным классовой борьбе. Ленин пишет:

«Буржуазия угнетенных наций (...) будет звать пролетариат к безусловной поддержке ее стремлений. Всего практичнее сказать прямое «да», за отделение *такой-то* нации, а не за *право* отделения всех и всяких наций! Пролетариат (...), признавая равноправие и равное право на национальное государство, выше всего ценит и ставит союз пролетариев всех наций, оценивая *под углом* классовой борьбы рабочих всякое национальное требование, всякое национальное отделение»³.

Таким образом понятие «нации» включается в общую схему теории: она представляет собой социальное образование, которое несет классовое содержание. В условиях «восходящего капитализма» борьба за национальные требования, которая *кажется* борьбой обще-

³ В. И. Ленин, «О праве наций на самоопределение», Собр. соч., 4-е изд., т. 20, стр. 383.

народной, является в действительности борьбой буржуазных классов между собой (Сталин). Пролетариат должен «разоблачать» ложное единство подобных национальных движений. Он должен направить на достижение своих собственных целей ту энергию, которая проявляется в таких движениях. Следовательно, он будет поддерживать национально-освободительную борьбу в той мере, в какой он сможет ею воспользоваться. Пролетариат интернационален, поскольку рабочие лишены родины в результате буржуазной узурпации. В описанном выше процессе пролетарии вновь приобретают себе нацию, не теряя из виду своих наднациональных целей. После завершения революционной борьбы исчезает различие между двумя значениями слова «народ» — трудовая масса населения страны, угнетаемая эксплуататорскими классами» и просто «население данной страны», то есть нация. Они означают одно и то же.

Вождем и обладающим всей полнотой власти стратегом в этой борьбе является партия. Нация подчинена классу, который является ее представителем телеологически, то есть в плоскости конечных целей, и точно так же класс подчинен партии, которая представляет собой его суть и целенаправленную движущую силу (аристотелевскую энтелехию). Следовательно, на практике именно партия решает, в зависимости от направления своей общей политики, использовать ли для целей борьбы националистические побуждения, классовые или же сочетание их обоих.

Из этого следует, что как нация, так и класс вместе теряют свою автономию и свою реальность. Казалось бы, что они соответствуют реальным явлениям, представляют собой фундаментальные и очевидно необходимые понятия — но их содержание испаряется, как только они оказываются включенными в идеологическую систему, которая предназначает им роль абстрактных и ни с чем не связанных фрагментов. Согласно теории, им приурочено слиться в некой будущей эсхатологической реальности — и с этого момента они уже на-

всегда слиты и перемешаны друг с другом, но уже в самой ирреальности теории и, в результате, в реальной политике партии.

Именно это и наблюдается после захвата партией власти. Революция в России совершилась во имя угнетенных классов, а на окраинах Империи — во имя угнетенных народов. В 1917 году эти классы и народы снабдили партийный аппарат той энергией, которой ему нехватало для достижения своих целей. Но эти цели выходили за рамки как класса, так и нации. Партия рассматривала себя как представителя и класса, и нации, но не в силу какого-либо демократического акта наделения ее полномочиями, а в силу идеологии, на страже которой стояла она сама, идеологии, которая предоставляла ей законное право властвовать во имя класса и нации — таких, какими они были в представлении партии.

Партия была так глубоко убеждена в своей правоте, что когда класс и нация пытались отстаивать свои права на существование — устраивая забастовку или, соответственно, объявляя о своем отделении — партия без малейших колебаний подавляла их во имя выработанных ею самой понятий пролетариата и права наций на самоопределение. Участь наций в Советском Союзе весьма похожа на судьбу рабочего класса. Рабочие лишены собственной организации, но абстрактный «рабочий» превозносится на все лады вместе с его неизменными атрибутами (спецовка, кепка, мозолистые руки и т. д.). В то время как он был лишен автономии и, следовательно, возможности стихийно развиваться, рабочий класс застыл и окостенел в том состоянии, в котором застала его революция, завершившая его разгром при одновременном возведении в культ его классовой сущности. Если СССР является на сегодняшний день последним местом в мире, где еще можно найти пролетариат XIX века, описанный Золя и Горьким, то это не только из-за ничтожности советской зарплаты, но также благодаря каноническому образу *рабочего*, распространяемо-

му с помощью плакатов, кинофильмов, романов, с которым реальные рабочие волей-неволей вынуждены себя отождествлять.

Точно так же нации теоретически пользуются самыми неограниченными правами, вплоть до права на отделение — при условии не пытаться им воспользоваться. Националистические движения подавляются со всей беспощадностью. Национальная культура в ее высших формах постоянно притесняется. Зато ревностно сохраняется и до тошноты восхваляется фольклор — застывшая в омертвелых формах субкультура, аутентичность которой весьма сомнительна. И когда весь Советский Союз тонет в грязно-серой бесцветности одежды массового пошива и бетонных зданий, на сценах Эстонии или Украины пляшут под звуки балалаек, свирелей или гуслей штатные служители муз в красочно расшитых рубашках. На сцене — и только на сцене — осуществляется возжеленная мечта народников: слияние нации и класса в едином *народе*. Фольклорное наследие было собрано в прошлом столетии представителями националистически или социалистически настроенной интеллигенции, и довольно трудно определить, что в этом наследии принадлежит действительно народу, а что — их воображению. Сегодня у народа больше нет *народного творчества*, и на этот раз власть, ведущая свое происхождение от этой интеллигенции, демонстрирует самому народу образцы этого «творчества», пичкая его ими до одурения. В конечном итоге национальная и народная культура находит свое высшее и совершенное воплощение в ансамбле песни и пляски Советской Армии.

Так проясняются два аспекта сегодняшнего состояния национального вопроса в СССР. С одной стороны, вся страна кажется чем-то вроде грандиозного заповедника, где процветают самые разнузданные националистические тенденции, которые раздирали Европу в начале века. Они лишь с трудом доступны пониманию нашего поколения, на глазах которого в течение последних двух

десятилетий исчезли подобные болезненные предрас- судки и оголтелая ненависть. Но сколь бы архаическим ни казался нам этот национализм, и особенно велико- русский шовинизм, служащий почвой и оправданием для всех других, режим в своей основе не является более националистическим, чем он является пролетар- ским. Это режим идеологический.

Тем не менее, еще жива память о том периоде, когда казалось, что политика партии действительно заклю- чается в поддержке национальных и социальных требо- ваний. Именно поэтому национальное движение, уходящее корнями в массы, а не только в круги интеллекту- альной элиты, все еще иногда выражает ностальгию по первым годам революции. У Дзюбы, Осадчего и других участников борьбы за украинское национальное воз- рождение мы все еще встречаемся с ленинскими форму- лировками. Переход на следующий этап интеллекту- ального прозрения, состоящий в преодолении иллю- зорного различия между Лениным и его преемниками, происходит с бóльшим трудом там, где еще сохранилась память о большевизме, наивно воспринимавшемся в ка- честве освободителя народа — и освободителя народов.

Это приводит нас к третьему вопросу. Может ли со- ветское владычество превратиться в империю? Может ли Союз Советских Социалистических Республик пре- вратиться во Всероссийскую Военно-полицейскую Импе- рию? Именно здесь мы рискуем впасть в ошибку. По- скольку все выглядит так, как если бы СССР действи- тельно был подобной империей, многие наблюдатели готовы думать, что он является ею *на самом деле*. Но это не так, поскольку между одним и другим существует неощутимая, но и непреодолимая пропасть — идеология.

Советское государство (или партия, что одно и то же) использует два инструмента власти: принуждение и магию. С помощью физического принуждения (армия, полиция и т. д.) оно поддерживает и сохраняет свое территориальное господство и использует в этой области старые имперские рецепты. С помощью магии (природа

и суть которой лежит в сфере языка) оно навязывает людям фикцию, что социализм уже существует. В социальной области это соответствует фикции «пролетариата», в национальной — фикции «дружбы народов». Можно ли отказаться от магии, упразднить идеологическую монополию и ликвидировать фикцию, сохраняя при этом аппарат принуждения? Каким облегчением для всех, и правителей и управляемых, была бы возможность иметь, наконец, дело с реальностью, не прибегая к хитроумным уловкам лишённого смысла языка, без необходимости постоянно иметь в виду несуществующую цель — социализм!

Многим в СССР, в том числе в партийных кругах, представляется весьма заманчивой перспектива решить таким образом как безнадежные политические, экономические и социальные проблемы, так и национальный вопрос. Однако открыто признанный партией переход к имперской системе привел бы к разрушительным последствиям именно в этой последней области, и неудивительно, что теперешний режим колеблется вступить на этот путь.

Дело в том, что идеологическая магия до чрезвычайности облегчает применение средств принуждения. Гораздо проще отправить в лагерь грузина или украинца, если иметь возможность обвинить его в «буржуазном национализме», в посятательстве на «пролетарский интернационализм», «советский патриотизм» и «дружбу народов». Лишив себя идеологической опоры, власть окажется вынужденной открыто опереться на великорусский шовинизм, который в настоящий момент, вне всякого сомнения, является наиболее актуальным умонастроением и самой надежной ее поддержкой, при условии, что его удастся замаскировать или подчинить идеологии. Но тогда этот шовинизм немедленно превратится в фитиль у пороховой бочки местных националистических тенденций, которые существуют и сейчас, но лишены того, что в этом случае немедленно приобре-

тают — законного права на существование. Сто двадцать миллионов русских, которые должны держать в подчинении сто тридцать миллионов нерусских в пределах юридических границ и еще сто миллионов за их пределами — такая ситуация надолго бы не затянулась. В самом деле, у советской власти есть одно преимущество, ставящее ее в более выгодное положение по сравнению со всеми другими имперскими властями, существовавшими в истории: она избавлена от необходимости нести чрезвычайно тяжелое бремя *оккупации*. Фактически идеология приводит к своего рода *самооккупации*, осуществляемой самим местным населением. Если она исчезнет, то у русского народа нечем будет ее заменить.

Таким образом, советское владычество не является империей, но само по себе, как таковое, оно приводит к тем же последствиям. Как и в случае прежней Российской империи, оно служит помехой на пути возможной эволюции режима, вернее, добавляется к другим причинам, препятствующим подобной эволюции. Оно делает рискованной любые перемены, так как они привели бы к распаду всей политической структуры СССР — наследника Российской империи. Именно поэтому национальный вопрос, который содержит в зародыше самый верный залог будущего распада СССР, одновременно является самой действенной причиной его сохранения в неизменном виде.

КРАТКИЙ ТРАКТАТ ПО СОВЕТОЛОГИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЙ ДЛЯ ГРАЖДАНСКИХ, ВОЕННЫХ И ЦЕРКОВНЫХ ВЛАСТЕЙ*

Верить невероятному

Человек, посвятивший себя изучению СССР, должен непрестанно сопоставлять свои знания с действительностью. Не потому, что происходят коренные изменения режима. Наоборот, именно удивительная неподвижность его — одна из причин того, что мы с трудом можем понять его суть, ибо для нас представляется нормальным движение режимов и стран в историческом ритме, с большим или меньшим опозданием по отношению друг к другу. Для эксперта по советским делам, в отличие от специалистов по другим вопросам, главная забота не в пополнении своих знаний новейшими данными. Величайшая трудность для него — признавать истиной то, что кажется неправдоподобным большинству, верить в невероятное. Двадцать лет тому назад мало встречалось специалистов, готовых принять абсурдные статистические данные, вытекавшие из объективных фактов. Кто в здравом уме не усомнился бы в своих умственных способностях, говоря о 60 миллионах жертв режима, как, не вызывая никакого скандала, это делает ныне Солженицын? И какой знаток удивится сегодня, узнав о предложенных Сахаровым оценках средней и минимальной зарплаты на 1975 год в СССР — 275 и 150 франков в месяц (55 и 30 долларов). Величайшая трудность — оставаться внутри мира, координаты которого не имеют никакого соотношения с нашими. Это чувство перехода в зазеркалье малоприятно; психологически оно быстро становится нестерпимым. Тогда начинают стираться не отдельные детали, а общая картина. При усилии можно

* A. Besançon. Court traité de soviétologie à l'usage des autorités civiles, militaires et religieuses. Préface de Raymond Aron. Paris 1976, 120 p. (Анонимный «самиздатовский» перевод, впервые опубликованный в журнале *Вестник РХД*, № 118, 119 (1978) и заново отредактированный для настоящего издания).

достичь цельного, глобального понимания СССР и коммунизма. Стоит ослабеть усилию, и так же глобально исчезает понимание. Это и случилось, по-видимому, за прошедшие десять лет в странах, поставивших перед собой и одолевших задачу познания Советского Союза. Эксперты устали сосредотачивать внимание на столь необлагодарном и неподвижном объекте. Они обратились к более жизнерадостным, более разнообразным горизонтам. Лишившись противовеса, общественность потянулась за прессой, а государственные деятели дали увлечь себя течению. Так постепенно восторжествовала трусливая по своей сути *vulgata*, и не разразился еще такой кризис, который поставил бы ее под сомнение. Только неотложные ситуации и непосредственная опасность в состоянии приковать наше внимание к этим вопросам.

Беспокойство

Вот уже несколько лет подряд мы почиваем на пуховой перине «разрядки», и ничто пока не потревожило нас, заставив осознать положение. Мы не хотим, чтобы нас беспокоил голос — достаточно громкий — советских диссидентов. Их книги, даже написанные Солженицыным, даже завоевавшие успех у публики, не влияют, как кажется, на устойчивость общественного мнения и не нарушают безмятежности наших политиков. Мы удовлетворились самым приблизительным анализом и оправдываем это благоразумием перед лицом чересчур связывающего выбора, «реализмом» — согласно нашему же определению — перед лицом очевидных выгод торговли Востока с Западом.

Между тем, за последние месяцы — а по меньшей мере с начала 1975 года — начинает сдаваться, что наш покой будет не столь мирным, как мы надеялись. Не только диссиденты, но и китайское правительство давно уже предостерегает перед «иллюзией разрядки». Китайцы не упускают ни одного удобного случая, чтобы не за-

явить о военной опасности, которая — если им верить — несравненно большей тяжестью висит над Европой, чем над Китаем. Они торопят нас ускорить политическое и в первую голову военное объединение Европы. Они играют роль последних приверженцев Атлантического пакта, запоздалых учеников Джона Фостера Даллеса. Кроме того, и несмотря на усыпляющие заверения советского правительства, нельзя закрывать глаза на различные проявления подрывной и шпионской деятельности. Нельзя считать СССР полностью непричастным к катастрофам в Южном Вьетнаме, напряженности на Ближнем Востоке, в том числе войне 1973 года, или к попытке захвата власти в Португалии. Можно задать вопрос, не является ли «разрядка» просто-напросто лицемерием, дымной завесой лжи, скрывающей политику агрессии, в точности так, как это утверждают китайцы и советские диссиденты. Однако даже это не вполне ясно.

В самом деле, вместо того чтобы вести далее свою, на первый взгляд, такую выгодную двойную игру, советские руководители вполне открыто — начиная с минувшего лета — делают умело рассчитанные выпады, опускают дозированные строгие окрики, пропускают в «Правде» «обличительные», «идеологические», «революционные» статьи. Они уже не пожимают рук, не «шутят с фотографами», не улыбаются на экранах; они стали суровыми, холодными, брюзгливыми. А мы спрашиваем себя: хотят ли они еще разрядки? Не побеждают ли в Кремле «ястребы»? Неужели они стремятся снова развязать холодную войну? Можно ли зачислить Брежнева в «голуби»? Следует ли поддержать «либералов» против «твердолобых», прагматиков против догматиков? Не стоит ли заманить их экономическими выгодами, прочно связать с Западом, организовать массовые поставки хлеба и даже техники, если они ее требуют? И действительно, Советский Союз требует хлеба, техники и — чтобы все это купить — долгосрочных кредитов с низким процентом. А в то же время оттуда слышатся заявления о борьбе классов, о диктатуре пролетариата,

об идеологической бдительности. Что же происходит? Можно ли одновременно накапливать задолженность, превышающую для СЭВ 17 миллиардов долларов, и копать могилу монополистическому государственному капитализму? Если же советские руководители всерьез собираются коварно экспроприировать кредиторов, неужели они объявили бы о готовящейся экспроприации публично?

Общей картины советского коммунизма нельзя передать на нескольких страницах. Можно, однако, составить схему советской иностранной политики, схему, не противоречащую тому, что мы знаем о коммунизме. Я рассмотрю лишь один вопрос: как соотносятся между собой текущие нужды советской внутренней политики и политики внешней.

I.

Две модели

Существуют две и только две общие модели советской политики. Поскольку использовались они уже в самые юные годы советского режима, я назову их первоначальными терминами: *военным коммунизмом* и *нэпом*. Говоря *военный коммунизм*, я буду подразумевать усилия коммунистической партии заключить общество в рамки, predeterminedенные идеологией. В 1917 году компартия очень ясно представляла себе ту форму, которую должно было стихийно принять общество сразу же после ниспровержения «буржуазной» власти и установления власти «пролетарской», воплощенной в партии большевиков. На деле все произошло иначе. И социальные группы, и отдельные индивиды, и экономические явления пошли в направлении, противоположном предусмотренному теорией. Военный коммунизм явился, таким образом, отчаянным усилием ввести мир людей и

вещей в пределы сферы, теорию и практику которой определяла партия.

Говоря *нэн*, я имею в виду определенного рода отступление идеологической власти и некоторую свободу действий, оставленную обществу для устройства своих дел по своему желанию. *Нэн* рожден поражением военного коммунизма. Власть осознает, что, по мере распространения ее насильственного контроля над обществом, общество это умирает, а учреждения, подготовленные для него, остаются мертворожденными. Перед упорствующей в своей политике властью предстает угроза гибели: источники ее силы обречены иссякнуть в момент ее окончательной победы.

С этой точки зрения можно сравнить взаимоотношения власти и общества с отношениями между паразитом и организмом, за счет которого он живет. Если погибнет организм, паразит несколько позже разделит его участь. Бывают случаи довольно устойчивого симбиоза, когда паразит отказывается от полного захвата организма, а тот, в свою очередь, не в состоянии вылечиться полностью. За 60 лет, истекшие со времени Октябрьской революции, советский режим не сумел достичь такого равновесия; он подвержен колебаниям огромной амплитуды, и в конце каждого удара маятника либо общество стоит на грани разрушения, либо власть — на пороге ликвидации или растворения.

Я понимаю неудобства обозначения двух политических моделей или идеальных типов с помощью двух специфических и неповторимых исторических ситуаций; однако в советском словаре — а мне хотелось бы придерживаться его как можно точнее — названия этих двух ситуаций определяют также две политические линии, принятые в первые годы режима и декретированные позже, на мой взгляд, при других обстоятельствах. Модели эти не существуют в чистом виде. Они служат инструментом в истолковании конкретных ситуаций. В таком условном и абстрактном смысле я и

буду пользоваться терминами *Военный коммунизм* и *Нэн*, а далее — *Разрядка* и *Холодная война*.

Военный коммунизм I

Первый военный коммунизм длился с 1917 по 1921 год. Этот штурм всех общественных классов был настолько внезапным и мощным, настолько глобальным, что общество едва не развалилось от последствий шока, от голода и болезней.

Нэн I

В 1921 году, вопреки мнению Троцкого и «левых», склонных продолжать опыт, невзирая на смертельный риск для власти, партия большевиков решилась на тактическое отступление. К тому времени под ее контроль попали государство, города, рабочий класс, интеллигенция. Партия нашла нужным временно отказаться от контроля над крестьянством. Так крестьяне — большая часть населения — оказалась внутри некоей замкнутой резервации, но в ее границах они пользовались сравнительной автономией. Крестьянин мог обрабатывать землю, сеять, собирать и продавать урожай по своему усмотрению. Он получил возможность кормить страну, удерживать ее при жизни — и, следовательно, оберегать советскую власть, сделавшую шаг назад, но нисколько не забывшую своих утопических чаяний. Партия воспользовалась передышкой для сплочения своих рядов, для обучения кадров, идеологической тренировки, усиления партийной дисциплины и окончательного подчинения социальных групп, уже очутившихся в ее власти.

Между тем, существование автономной сферы было в перспективе опасным, противореча основным положениям доктрины и внося в идеологическую систему разрушительную непоследовательность. Оставаясь в области биологических сравнений, можно сказать так: идеологическая власть ни в чем не схожа с паразитом, пита-

ющимся окружающими его тканями, не перерождая их; такая власть — это пораженные раком клетки, передающие информацию клеткам нормальным своим собственным кодом; благодаря этому свойству, раковая болезнь стремится изменить весь организм по образцу первоначального рака. Если же это не удастся, рак регрессирует и может сойти на нет под натиском молодых клеток, не затронутых патологическим перерождением структуры.

Такое сравнение правомочно, поскольку идеология содержит в себе план полной перестройки мира, вытекающий из всепознающей науки, разгадавшей все основные законы вселенной и предвидящей всю ее дальнейшую эволюцию. Партия — союз людей особого склада: вооруженные идеологией, они причастны новой действительности, которую эта идеология обещает миру. Если в кругу власти слишком стойко удерживается старая реальность, то своим существованием она опровергает действительность идеологической ирреальности и в любой момент может ее уничтожить. Общественно-политическое восстановление общества, т. е. возникновение организованных групп там, где беспорядочно маячили распыленные социальные атомы, безоружные перед лицом единой партии, наносит сокрушительный удар партийному единству. Общественный плюрализм отражается в недрах самой партии, она вскоре раскалывается на разные фракции, более или менее внимательно прислушивающиеся к конкретным социальным интересам того или иного слоя населения.

Военный коммунизм II

Именно поэтому в конце 20-х гг. партия предпринимает очередную атаку на крестьянство с целью подчинить своему контролю все население. В политическом отношении партия оказалась в состоянии это сделать, и она выдержала страшный кризис коллективизации без особого политического ущерба. Мероприятие это по-

влекло за собой убийственный голод, полное разорение советского сельского хозяйства, установление прочного режима террора. Коллективизация была национальным бедствием, но отнюдь не бедствием политическим, а говоря иначе — катастрофой для реальности, но не для ирреальности.

Так начался второй военный коммунизм. Сталин вполне сознательно воскресил в нем методы первого. Но так же, как и первый раз, создать жизнеспособных общественных учреждений не удалось. Колхозов в их прямом смысле, т. е. коллективных хозяйств, не было, вместо них были плантации крепостного типа; плановая экономика существовала только в воображении западных экономистов, вместо нее была лишь военная экономика, способная увеличивать арсеналы, бросая на произвол судьбы все остальное; собственно экономики тоже не было, ибо система саморегуляции не смогла сформироваться и потому, что ввиду невозможности правильного статистического учета невозможным оставался экономический расчет.

К войне СССР приступил, будучи в очень опасном положении. Десятки миллионов либо погибли от голода во время коллективизации, либо исчезли в чистках, либо томились в концлагерях. От испытанных военных кадров ничего не осталось. Сама партия почти полностью обновилась. Сталин хотел иметь новую, созданную собственными руками партию и уничтожил старую, несмотря на ее почти единодушную поддержку.

В результате первых военных поражений безотлагательным стал поворот к новому нэпу.

Нэн II

По сравнению с первым, в нем легко обнаружить новые черты. Нельзя сказать, что материальный контроль над населением ослаб — наоборот; но вместе с тем имело место некоторое ослабление контроля духовного. Вернее, значительно сократилась сфера идеологического

влияния, оставив место для двух сил, в принципе чуждых идеологии, но давших возможность соглашения: национализма (прежде всего, великорусского) и религиозного чувства (прежде всего, православного). В военные тоды советское население вообразило — вскоре обнаружилось, что это иллюзия, — что началась жизнь в тирании классического типа, иными словами, при режиме несравненно более терпимом, чем власть безумной ирреальности 30-х гг. Население начало думать о Сталине, как о царе, царе исключительно жестоком, но необходимом для сохранения национальной целостности. Люди стали терпеть надзор партии и полиции при одном условии: не принимать чересчур всерьез идеологию, а жить человеческими и традиционными страстями патриотического и религиозного национализма или же удовольствиями военного времени — отвагой и грабежом. Западные государственные мужи — Черчилль, Рузвельт, де Голль — именно тогда познакомившись с СССР, разделяли эту точку зрения. Им казалось, что коммунизм превратился в поверхностное одеяние старой русской империи, возродившейся из пепла со всеми своими тираническими и экспансионистскими замашками.

Однако идеологический режим не может преобразиться в режим тиранический, не потеряв при этом своей сути, которая состоит в стремлении силой навязать людям ирреальность и получить всеобщее признание в верноподданных чувствах. Уточню: речь идет не о том, чтобы вырвать у населения согласие на построение «социализма» и одобрение осуществляемого социалистического идеала. Нужно совсем другое: население обязано признать социализм уже построенным, должно проявлять свой энтузиазм не в отношении проекта, а в отношении построенного здания, уже имеющих достижений. Ведь идеология выдает себя не только за идеал для воплощения, но и за окончательный закон эволюции. Истина идеологии не в ее этике, а в ее научности. Поэтому при проверке закона очень важно иметь требуемый и подтверждающий закон результат.

Возьмем в качестве примера колхозы. Для людей непредубежденных это, как сказано выше, своего рода крепостные плантации, управляемые внешней бюрократией, находящиеся под надзором аппарата принуждения. Крепостные получают пропитание из урожаев, участь которых решают не они; их труд подвластен директивам, и кто-то другой распоряжается, как сеять, где пахать, что собирать. История знает такие плантации: в Риме, в колониальной Бразилии, в рабовладельческой Виргинии. Они были в России с XVI века до 1861 года. Само собою разумеется, что идеологический режим, основанный к тому же на идеологии социализма в форме, развившейся в Западной Европе XIX века, — режим этот не может назвать колхозов их настоящим именем. Такое дикое противоречие мгновенно лишило бы законности все его притязания. Точно так же — недостаточно доброжелательной пассивности и даже доброй воли колхозников. Представим себе, что усердно работающие во время войны колхозники из патриотизма делают своим хозяевам следующее предложение: «Мы крепостные; но — патриоты. Сейчас мы хотим вам помочь и работаем в колхозе с жаром почти свободных людей. Мы согласны на тиранию и готовы назваться сторонниками социализма, ибо нас не может не привлекать постройка системы, лозунг которой — право объединения рабочих в кооперативы на основе свободного выбора».

Такое предложение, конечно, никогда не могло быть ни высказано, ни даже задумано. Но во всяком случае его не смог бы принять режим, объявляющий себя социалистическим не потенциально, а в свершениях. И от колхозников требовалось потому не согласие на их реальную долю крепостных, а активное осознание себя членами воображаемых коллективных хозяйств, не примирение с реальностью, а энтузиазм во имя ирреальности, не надежда на будущее, а праздничное обожание настоящего.

Военный коммунизм III

Поэтому сразу же после войны, при неослабевающем материальном давлении, возобновила свою экспансию идеологическая сфера. Снова подчинены ей все проявления духовной жизни. Если Ежов символизировал второй военный коммунизм, символом третьего стал Жданов.

Все те же особенности отличали третий военный коммунизм. Новые волны людей хлынули в лагеря. Развалилась экономика, точнее сказать — производство, ибо термин «экономика» вряд ли подходит для данного случая. Всеобщее отупление, рабская подчиненность мысли и науки не могли пройти без следа, их тяжелые последствия начали угрожать развитию военной промышленности, подрывать материальную базу могущества советского государства. Кроме всего прочего, в силу обстоятельств, связанных с чертами сталинского характера, третий военный коммунизм не сумел остановить соскальзывания в сторону режима классической тирании.

Аристотель называл тираническим такой режим, где властью пользуется личность в своих личных интересах, и олигархическим такой, где в своих интересах властвует элита. Если принять это определение, то советский режим не будет ни тиранией, ни олигархией. Он действует в интересах реальности, существование которой утверждается идеологией, причем интересы эти не обязательно должны совпадать с интересами партии или ее вождя. В 1937 году Сталин оказался в состоянии уничтожить партию, действуя не столько во имя собственных целей, сколько для блага идеологии, — по идеологической необходимости, — и поддержали Сталина своим согласием именно те, кому он готовил гибель. В последние годы жизни Сталин руководствовался своими капризами, не всегда согласуясь с последовательной идеологической линией. У него были свои фавориты, по его прихоти падали головы. Он начинал производить

впечатление великого преступника, а не идеолога, и на этот моральный прогресс, на это его движение к заурядной человечности народ смотрел с нежностью и любовью, — настолько лучше жить под властью преступника, чем под властью безумца. Но политическое поведение Сталина также становилось капризным и непредвиденным. Он вел советский режим к краю пропасти, и можно задать себе вопрос, не рухнул ли бы советский режим, проживи Сталин еще несколько лет.

Нэн III

Он умер в 1953 году, и почти немедленно партия декретировала третий нэн, на этот раз надолго: страна была в таком состоянии, что кратковременное изменение не могло помочь. Начиная с 1917 года, погибло 60 миллионов человек, если верить Солженицыну, а цифра эта, по мере поступления информации, становится все менее невероятной. Промышленный и сельскохозяйственный производственный аппарат был не в состоянии обеспечить трудящемуся «восстановление его рабочей силы», выражаясь марксистским языком. Не мог он дать твердую почву и великодержавным претензиям государства. Хрущев сократил население концлагерей, попытался реорганизовать промышленность и сельское хозяйство, позволил несколько пробудиться живой мысли. Перемена атмосферы была колоссальной. Никогда, пожалуй, за всю свою историю советский режим не казался иностранным и даже советским наблюдателям так близким к изменению. А ведь сейчас, с расстояния, эра Хрущева, вернее — ее начало, походит на простую передышку, паузу — не более того.

Солженицын называет хрущевский эпизод чудом. Каким образом система столь развращенная, партия столь сугубо преступная — продукт и автор Большого Террора — смогли вынести на верхушку власти такого человека; каким образом человек этот в грубости своей смог проявить гнев или радость — человеческие чувства! —

найти для их выражения собственный язык? Все это действительно похоже на чудо, столь же удивительное в своем роде, как и появление самого Солженицына.

Хрущев был большевиком, но большевиком «наивным». Он верил, что существует соответствие между некоторыми ценностями и понятиями, употребляемыми в теории марксизма-ленинизма, и известными под теми же именами ценностями и понятиями, принятыми в человеческом мире. Иными словами, он верил в универсальность ценностей, утверждаемых большевизмом, потому что он хуже, чем его коллеги, помещался в рамках жесткой дихотомии «капиталистической» реальности и идеологической ирреальности. Говоря о социализме «с маслом», Хрущев на самом деле подразумевал масло, которое намазывается на хлеб. Сталин же, сказав в 1935 году, что «жить стало лучше, жить стало веселее», имел в виду лишь устрашение ложью. Хрущев не намеревался изменять общество, но ему хотелось, чтобы социализм в действии немного больше соответствовал социализму в теории.

Неудивительно, что такая программа провалилась. Капиталовложения в сельское хозяйство могли вырвать крестьян из физиологической нищеты; но и менее несчастные крепостные оставались бы все же крепостными. Хрущев пытался придать советской индустрии характер промышленной экономики, предприятия должны были получить некоторую автономию, некоторую самостоятельность в вопросах купли, продажи, найма; в намерениях Хрущева было создание зачатков внутреннего рынка; он хотел усовершенствовать и придать гибкость учету и «планированию». Все эти реформы могли успешно осуществиться лишь при условии полной переделки иерархии власти. На советских предприятиях власть имеет характер не экономический, а политический. Повиновение и дисциплина зиждятся не на материальной заинтересованности, не на финансовой прибыли, их пружина — страх уголовной ответственности. Экономические решения рассматриваются теми же

инстанциями, которые выдают решения политические, — местными и центральными парторганизациями. Такая обстановка не допускает нейтралитета по отношению к экономическим данным. Бухгалтерия невозможна там, где результаты статистического исследования обязаны совпадать с заранее определенными цифрами всегда выполняемого плана. Так — снизу доверху — воздвигается фиктивная статистическая конструкция, в своем движении кверху копируя нисходящую лестницу планирования. Нет другой области, где идеологическая ирреальность обязана так тесно прилегать к конкретной действительности, не имея с ней ни малейшей точки соприкосновения. В таких условиях применение необходимых инструментов полного и действительного планирования, электронно-вычислительных машин, лишено всякого смысла, ибо питались бы они лишь ложными данными. Этим методом не устранить вечного балагана.

В культурной же сфере Хрущев быстро обнаружил, что новая терпимость отнюдь не вознаграждается массовым переходом талантливых писателей и художников на позиции ленинского «социализма» и «реализма». Для Хрущева это было искренним разочарованием. Его глубокую верность принципам большевизма лучше всего показывают возобновившиеся при нем гонения на православную церковь и другие верования, гонения, каких не видывали с 30-х гг. Возможно, что Хрущев пошел на них ради примирения с партией.

Для недовольства Хрущевым было у партии, среди всего прочего, два главных, хотя и противоречивых повода. Во-первых, большевик Хрущев развивал очень личный стиль руководства, который, оставаясь противоположностью сталинского, также увлекал советский режим в сторону классической тирании. Во-вторых, партия (несколько непоследовательно) опасалась и того, что Хрущев, вооруженный всеми средствами тирании, может накренить режим в сторону общества, *общественного блага*. В «Бодался теленок с дубом» Солженицын подозревает Хрущева в слабых и, по-видимому, полу-

сознательных поползновениях вызвать то, что на деле оказалось бы настоящей революцией. Партия ощущала как бы стеснение и смутную опасность. Хрущев был устранен.

Последние десять лет советского режима могут считаться одними из самых блестящих. Они дают хороший пример внешне преуспевающего нэпа, отличающегося одновременным усилением идеологической власти и общественной структуры. Рассмотрим же оба эти аспекта по очереди.

Брежневская власть

Взаимоотношения этих двух сфер просты: идеологическая власть прочно держит под своим контролем общество; по крайней мере номинально контроль остается абсолютным. Крестьянство и предприятия, как кажется, снова стали в общую шеренгу. Идеологический язык снова завоевал — или недалек от того — монопольное положение, принадлежавшее ему в годы последнего военного коммунизма. В режиме этом, где власть буквально «вертится на языке», степень распространения «суконного языка» — точнейший показатель распространения власти.

В эпоху Сталина и Хрущева партия большевиков испытала на себе тяжесть личной власти, сталкивавшей режим с его прямого пути куда-то вбок, где он переставал быть самим собой. С той поры партия придерживается принципа «коллегиальности», иными словами, политбюро и ЦК обеспечивают достаточный надзор за тем, чтобы направление политических действий генерального секретаря не слишком отклонялось от линии партийного большинства. На этом основании можно говорить о «состоянии законности», какого, быть может, еще не знала партия за всю свою долгую историю. Она сумела сохранить единство или его видимость, давно зная, что в нем — залог сохранения власти. За «состояние законности» приходится, однако, платить; цена эта — старение руководства. Большинство советских руко-

водителей принадлежит к поколению, которое выдвинулось в совершенно обновленной партии, отстроенной Сталиным на костях партии 20-х гг. Все сегодняшние ведущие деятели участвовали в тогдашних операциях, все проводили чистки. Их замена затруднена необходимостью удерживать равновесие, установленное в ту пору и все еще не нарушенное. Старение, однако, не обязательно должно быть помехой власти. В хорошо налаженном идеологическом режиме, как правило, господствует безличность. Все инструменты готовой системы — индивиды — взаимозаменяемы; таков, по меньшей мере, идеал. Много раз советский режим спотыкался на перерастании индивида в личность. Идеальный руководитель — это Ленин, совершивший чудо: он создал революционную формулу, оставаясь в то же время самым обыкновенным, самым неуловимым из индивидов. Такая безличность легче достигается в зрелом возрасте: требуется время, чтобы проявились все последствия практикуемого с молодых лет идеологического аскетизма.

Мы уже отмечали, что *наивность* состоит в придании универсальной ценности понятиям, подлинный смысл которых понимается лишь в кругу, очерченном идеологией. Наивный скажет, например, что демократия — это строй, в котором дела вершат все граждане, тогда как демократичен только такой режим, где власть принадлежит одной коммунистической партии; наивный может назвать социальной справедливостью равное разделение всех богатств между гражданами, тогда как истинная справедливость состоит в предоставлении всей собственности в распоряжение коммунистической партии; наивный может даже заявить, что свобода означает автономию граждан, а не — как следует сказать — самовластие коммунистической партии. Все это наивность. Но есть и симметричная форма уклона — *цинизм*. Циник, наоборот, придает идеологическим понятиям только частную ценность или же использует их в личных интересах, исключая самого себя из-под их действия. Знакомый с могуществом идеологического

языка, циник безошибочно им жонглирует, но скрыто ищет удовольствий, благоустроенности, богатства, комфорта, возвышения. Правильная линия — не наивность, не цинизм, а преданность идеологической абстракции. Так предан был Ленин, никогда ничего общего не имевший с не-большевиками, а между тем настолько бескорыстный, что для него просто не существовало личного интереса.

Следует сказать, что в огромном своем большинстве партия Ленина еще была пропитана наивностью. Нужно признать также, что Сталин и некоторые его подчиненные имели склонность к цинизму. Партия же Хрущева, прошедшая ленинско-сталинскую закалку, не узнавала самое себя в недолговечной наивности своего первого секретаря. Не исключено, что в своей нынешней форме партия выровняла перегибы и достигла определенной одновременности.

Костас Папаиоанну называл *холодной* идеологию замороженную, утратившую всякую способность возбуждать энтузиазм и даже простую веру. Он считал тогда (1963-1967), что холодная идеология — это идеология умирающая, конец идеологии. Развитие событий показало, что она не только удержалась в СССР, но и широко распространилась в Западной Европе и в обеих Америках. Возникает вопрос: а может быть, вершина могущества и эффективности идеологии наступает после отказа от чувств, от порывов — признаков наивности? Быть может, именно холодная идеология и есть конечная форма, «высшая стадия идеологии».

Если, однако, брежневскую партию никак нельзя упрекнуть в наивности, она несомненно уязвима для цинизма. Подчиненные органы, в которых на циничский уклон смотрели сквозь пальцы, ибо он приносил вполне ощутимую пользу и позволял формировать компетентную элиту, такие органы, как армия, дипломатия, полиция, разведка и т. д., на протяжении последних лет занимают все больше места в структуре режима. Органы эти сосредотачивают всю наступатель-

ную мощь большевизма, составляют его боевое острие. Но партия, смешивающая себя с КГБ, уже не совсем Партия. Перед ней стоит наиболее вероятная и наиболее опасная перспектива — торжество цинизма. Часто слышны необдуманные разговоры о «десталинизации». Говорить следовало бы о «деленинизации», ведь строй, против которого по замыслу направлено это выражение, никак не сталинский, а ленинский. Первой же и самой радикальной попыткой «деленинизации» был сталинизм, зашедший в этом деле так далеко, что по сей день трудно оценить всю меру извращения. В «Иване Грозном» Эйзенштейна, образе сталинизма, одобренном самим вождем, почти неразличимы следы режима, рожденного Октябрем. Брежневской системе угрожает такое же вырождение, но в прозаической форме и без претензий на величие и эпический размах. Отдадим же ей должное за искреннее возвращение к ленинской норме, возвращение наиболее методическое и внешне наиболее — в последние десятилетия — успешное.

Сила брежневского режима — в понимании того, что идеология может обойтись без веры. Все свидетели единодушно утверждают, что там никто «не верит». Несомненно. Но там говорят о вере. До прихода к власти партия большевиков скреплялась идеями. Соответственно, захватив власть, она установила господство *идеократии*. Но, по мере отхода «действительной» реальности от реальности выдуманной, идеи лишались своего содержания и от них оставалась лишь словесная оболочка. Эволюция режима шла к *логократии*.

Логократия обеспечивает еще более полную и незамутненную связность и последовательность системы, чем идеократия. Ей не нужна вера. Она составляет некое единство поступков, поведения, отношений. Поколебать ее не может ничто, — ни снаружи, ибо мешает полиция, — ни изнутри, ибо индивидуальный внутренний мир просто отключен от системы. Все по-своему уходят в себя, в свою личную жизнь, и только руководители

вынуждены говорить с семьей на языке партийных собраний.

Пустота, на которой стоит идеология, — залог спокойствия, это так; но она же и причина ненадежности всей структуры. Пока еще идеология сохраняет свою непрерывную и гладкую поверхность, но каждую прореху становится все труднее чинить. Уже нет возможности принудить к раскаянию литературу диссидентов, уже нельзя заставить писателя закрыть пробоину, оставленную его книгой. Ткань еще держится, за ней еще тщательно ухаживают, но она уже сильно потерлась, обтрепалась, истончилась.

Брежневское общество

Обратимся теперь ко второму члену двуединства, внутреннее равновесие которого определяет характер постсталинского *нэпа*. Обратимся к обществу.

Признаем, что значительные изменения, происшедшие в советском обществе с 1953 года, трудно объяснить лишь благотворным влиянием государства, что попытки реформ в сельском хозяйстве и промышленности вели к регулярным провалам и ничтожным результатам. Роль государства была чисто отрицательной: притормозились репрессии, уменьшился размах террора, численность тюремного и лагерного населения упала с десятка до полутора миллионов, появилась необходимость соблюдать подобие полуюридических форм в судопроизводстве. И все же этого оказалось достаточно для того, чтобы общество ожило — в чем и состояла цель *нэпа* — и начало организовываться, следуя каким-то своим спонтанным законам, — и тут *нэпу* предстояло мешать по мере возможностей.

Лишенный удовольствия полностью истребить общество, военный коммунизм направлял все свои силы на уничтожение его органичности. Разрушались все связи, все естественные узы солидарности, разбивались сложившиеся человеческие сообщества; человек представлял перед обликом государства одиноким атомом. К

1953 году разъединение общества можно было считать почти завершенным. Четверть века спустя картина выглядит несколько иначе. Каковы же те социальные силы, с которыми должна считаться партия сегодня?

Нации

В первую очередь — *нации*.

Сталинскому военному коммунизму не удалось раздавить нации в той степени, в какой это ему удалось с общественными классами. Идеология ленинизма, разрушительница отечеств, под давлением обстоятельств вынуждена заключить союз с другой, более двусмысленной идеологией. Идеология эта — *национализм*, орудие разрушения и — в то же самое время — сохранения отечеств.

Национализм разрушителен, ибо он изолирует, духовно обедняет и оглуляет подавшийся ему народ. Свободу он подменяет ее субститутами. Он расчленяет человечество на враждебные группы и тем самым способствует идеологическим операциям, действующим в том же направлении. Существует, однако, порог, за которым союз ведущей идеологии с подсобной идеологией национализма обречен на разрыв, ибо национализм поддерживает связность национальной группы, хотя бы в негативной форме всеобщей ненависти к другим национальностям. Национализм препятствует расколу национальных групп средствами, не содержащимися в нем самом.

При анализе национального вопроса в СССР первым делом нужно выделить русский народ с одной стороны и все остальные национальности — с другой.

Русскому народу выпало в удел величайшее удовлетворение быть имперским народом, и мы не знаем, не превосходит ли оно все удовольствия хорошего правления, благосостояния, демократической свободы. Однако если Россия была старшей дочерью ленинской идеологии, та оказалась для нее скверной матерью. Находясь в центре правительственной системы, будучи ее главным

инструментом, Россия первой же пострадала от ее смертоносных маневров. После революции удельный вес России в Европе постоянно уменьшается. Демографический дефицит (людские потери плюс недостаток рождений сравнительно с предвидениями демографов) перемахнул за сто миллионов человек. Накануне I мировой войны казалось, например, что русский народ по численности должен далеко опередить народы германские, но сегодня русских лишь немного больше, чем немцев, хотя ведь и тех не пощадила история. Русские в наши дни — усталый, стареющий, охваченный демографическим застоєм народ. И внутри Советского Союза уменьшается его относительный вес, несмотря на политику интенсивной русификации. Отсюда — определенное недовольство великорусского национализма, видящего угрозу потери своей имперской позиции. В принципе ему на руку любой строй, даже роковой для подлинно русских ценностей, лишь бы имелась гарантия спокойного господства над окружающими нациями. И не исключено, что великорусский шовинизм мог бы высказаться за смену режима, если бы новый обещал такие гарантии. Союз национализма и ленинизма, сыгравший ключевую роль в большевистском покорении планеты, в самой России (быть может), не так крепок, как бывало в прошлом.

Составляющие большинство советского населения, нерусские национальности единодушно разделяют непримиримую ненависть к русскому народу. Ненависть эта — самый активный, самый сознательный и наиболее агрессивный аспект их тайной антисоветской настроенности, глубоко укорененной, но еще не раскрывшейся вследствие равнодушия, утомления и привычки.

Что можно сказать о национальных движениях в наши дни? Оценка их на основе размаха воинствующего национализма может, по дальности перспективы, вести к заблуждениям. Так, на Украине, о которой мы немного осведомлены, постоянно возникают и распадаются маленькие националистические группировки. Советское

правительство, как видно, без особого труда выслеживает и отправляет в лагеря их деятелей. Движение периодически лишается своих лучших активистов. По слухам, так же дело обстоит в Прибалтике. У еврейского народа — преимущество внешней и эффективной базы, несомненно более солидарной в своих действиях, чем те, которыми располагают украинцы и армяне. Кроме того — и это главное — евреи не ставят себе национальных задач в пределах СССР и стремятся к эмиграции. Тем не менее, их успех — хотя и бесконечно скромный — резонансом усиливает все другие национальные требования и побуждает к активной деятельности новые и новые националистические группы.

Есть, однако, более показательный тест, чем масштабы активного движения: степень сопротивления русификации. Сопротивление это наиболее сильно в тюркских республиках, где особенно высоки культурные, этнические, религиозные барьеры. Тюркоязычные страны географически смежны, их быстро растущее население остается на одном месте, отталкивая, если верить слухам, чуждые элементы. На западе, например, на Украине, сопротивление чрезвычайно затруднено. Обучение русскому языку, а чаще того обучение на русском языке, не может не находить отклика в районах, где издавна существуют духовные и культурные связи с русским народом. Русские везде составляют компактные и, разумеется, привилегированные общины в среде других народностей. Нет сомнения, что в случае ослабления советской власти откол нерусских народов произойдет немедленным и самым решительным образом. Массовая высылка, возможность которой прекрасно доказало советское правительство, — наиболее вероятная участь русских колоний, рассеянных в иностранных республиках.

Из всех проблем, которые стоят перед советской властью, национальный вопрос — самый неразрешимый и единственный, представляющийся роковым, обрекающим в будущем на гибель если не коммунизм, то уж

наверное политическую целостность Советского Союза. В течение шестидесяти лет правительство ипользовало все средства для предотвращения опасности. Оно «балканизировало» тюркские народы. Оно учредило мнимый федерализм. Оно вело насильственную русификацию. Оно колонизировало. Оно устраивало депортации малочисленных народов. Сталин жалел, что украинцы своим числом способны поставить в тупик самую исправную и неутомимую лагерную администрацию. Перед самой своей смертью он успел еще построить в Сибири лагеря для евреев. Сталин направлял национальные чувства по каналам местного шовинизма и подложного фольклора и в то же время пытался сочетать их с возвышенным и совершенно призрачным «советским патриотизмом». Все напрасно. Нации продолжают существовать. Сейчас правительство держит про запас план перекройки внутренних границ: новые границы должны учитывать не национальные деления, а воображаемые «экономические районы», внутри которых каждый кусок Украины или Литвы присоединился бы к большой территории, заселенной русскими. Такой проект предполагает коренные изменения в советской конституции. Она всегда была фикцией, и вся затея кажется легко осуществимой. Но национальные чувства так сильны, что правительство не может решиться на риск, колеблется и все откладывает окончательное решение.

Религии

С национальным тесно связано возрождение религиозное. Для анализа национального вопроса мы предложили двустороннее деление; ему соответствует такое же разделение между православной церковью во главе с московским патриархом и всеми другими верованиями.

За исключением военного времени — эпохи духовного нэпа, когда режим нуждался в поддержке всех еще живых сил общества, — православная церковь подверглась самым длительным и жестоким преследованиям в истории христианства. Можно, правда, вспомнить

о гонениях на японскую церковь в XVII в., но в отличие от Японии христианство в России насчитывало тысячу лет. Православная церковь истреблялась физически: большинство епископов и священников, в сопровождении огромного числа своих последователей, отправились в лагеря. Церковь развратилась: многие священники сотрудничают или прямо работают в полиции. Несмотря на открыто выражаемое намерение государства уничтожить церковь, церковная верхушка выказывает по отношению к новой власти покорность, отличавшую ее и при старом режиме.

В подавлении церкви золотое правило говорит: нужно доводить преследование до того момента, когда начинается массовый уход верующих — в раскол, в секты, в набожное самоуглубление. Оговоримся: последнее не очень желательно, ибо позволяет выскользнуть из-под строгого надзора в рамках официальных приходов.

В настоящее время становится все труднее применять это правило. В пустоте, простирающейся под шатким идеологическим настилом, все больше заметно пробуждение религиозного духа, обрядов, даже религиозной культуры и философии. Верующих не удовлетворяет более литургия в исполнении подозрительных священников. Если вышеупомянутое правило еще применимо, то лишь при условии большей терпимости. К тому же ведет и взаимосвязь религиозной и национальной жизни. Возрождение одних ценностей воскрешает другие. Для интеллигенции свобода мыслить и чтить национальную традицию означает войти в круг христианской мысли.

Под официальной православной церковью расстилается в России туманный и плохо известный мир раскольников и сектантов. Несмотря на еще более жестокие репрессии, мир этот живет и растет за счет недовольных патриаршей церковью. То же относится и к движению баптистов.

В нерусских народах религиозный и национальный вопросы, по-видимому, почти неотличимы друг от друга: украинские униаты, прибалтийские католики и люте-

ране, армянские христиане-монофизиты, евреи, мусульмане страдают вдвойне — и как верующие, и как народы.

Классы

Национальные и религиозные проблемы всегда ставили идеологический режим в затруднительное положение. Эти неощутимые явления, само существование которых ускользает от понимания идеологов, не вмещаются в готовые схемы, не поддаются сведению к простейшим понятиям. С социальными классами у режима было гораздо меньше хлопот.

Рабочие

Распыление рабочего класса можно назвать операцией образцовой во всех отношениях. Именно тут мог дать наибольший эффект идеологический подлот, подстановка на место реальности — реальности воображаемой. На первых порах воспетый в песнопениях, рабочий класс вознесся на мессианские высоты. Но потом от его имени стала действовать, говорить и мыслить партия, мистически облеченная вечными полномочиями. Эсхатологическая сущность рабочего класса перестала быть принадлежностью социальной группы фабрично-заводских рабочих, вследствие чего они весьма быстро потеряли все права и превратились в прислужников «рабочего класса», душа которого, по принципу метемпсихоза, переселилась в тело партийного аппарата. Советы — своего рода стачечные комитеты, полубесформенные и стихийные творения — не были в состоянии заменить профсоюзные организации, саботированные большевиками. Большевизация советов произошла уже в июле 1918 года, и наименование профсоюзов присвоил себе филиал полиции, избравший своей специальностью надзор над рабочими. Сдельщина, трудовая книжка, несравненно более детальная, чем у французских рабочих времен Реставрации, штрафы и тюремное заключение

за малейшее нарушение дисциплины труда, катастрофическое падение заработков — вот некоторые специфические условия жизни советских рабочих при Сталине. К началу хрущевского нэпа их положение было хуже, чем когда-либо в истории и даже предыстории западного капитализма. Лишенный всякой организации, взаимопомощи, прав на забастовки, рабочий класс в СССР вряд ли существовал в том смысле, в каком понимала его социология XIX века; вместо него существовала просто профессиональная категория фабрично-заводских рабочих. Рабочий же класс остался жить лишь в ирреальности знамен, первомайских парадов и газетных заголовков.

Рабочий мир настолько утратил свою индивидуальность, что из всех слоев советского населения о нем мы знаем меньше всего. Нам известны подробности жизни в лагерях, но жизнь на заводах остается почти полной тайной.

Свидетельства, попавшие к нам за последние 20 лет, дают, однако, основание полагать, что рабочие изобрели кое-какие формы борьбы и организации. Были сообщения о забастовках. Подавленные пулеметным огнем, они все же заставили власти принять некоторые меры предосторожности. И сегодня рабочие, видимо, могут в определенной степени влиять на условия своей жизни и работы. Прогулами, итальянскими забастовками, мелким саботажем, кражами они добиваются повышения заработной платы, материальных и социальных льгот.

Крестьяне

Это касается и крестьян, заточенных на плантациях, отбывающих барщину по произволу начальства, вконец обнищавших. Численностью своей превращая всех крестьян Западной Европы и Северной Америки вместе взятых, обрабатывая самые обширные и плодородные земли в мире, советские крестьяне не в состоянии обеспечить стране необходимый минимум продовольственных продуктов. Первый военный коммунизм не сломал

крестьян: первый нэп дал им передохнуть и зализать раны. Второй военный коммунизм бросил их на колени, вогнал в орбиту влияния идеологической власти. Ценой был крах всего сельского хозяйства. Поистине чудесная непроизводительность русского крестьянина показывает и силу идеологического контроля, и его бессилие. Теоретически третий нэп не разжал тисков, наоборот, правительство намеревалось выйти из кризиса путем резкого усиления контроля над крестьянством. В проекте было уничтожение первичной ячейки крестьянского мира, последней материальной связи со старым режимом — деревни. Как можно судить, предусматривалась ликвидация деревни и избы, традиционных элементов организации сельской жизни, и поголовное переселение крестьян в крупные жилищные блоки. Там их труд протекал бы в совершенно новых и заранее запланированных условиях. План этот не заброшен, но и не выполняется. В этом отношении крестьянское общество доказало свою способность к сопротивлению.

Рынок

Силу жить и бороться придает крестьянам и рабочим существование рынка. Даже в периоды разгара военного коммунизма попытки ликвидации рынка оканчивались лишь частными успехами. Колхозный рынок, по сути дела, не что иное, как официальное признание свободного или черного рынка. Неверное же название «официального» или «государственного» рынка прикрывает произвольное и капризное распределение товаров и продуктов по произвольным ценам в обмен на произвольно установленную заработную плату. Необычайное развитие рынка за последние 25 лет дучше всего показывает, как укрепилось советское общество.

Рынок сельскохозяйственных продуктов: в тени колхозного рынка активно действует вездесущий, организованный крестьянами черный рынок. Есть основания думать, что многие колхозы, особенно в республиках, колхозами называются лишь на бумаге. Иными словами,

вместо крепостных плантаций, украшенных званием «коллективных хозяйств», живут и здравствуют подлинные коллективные хозяйства, своего рода крестьянские кооперативы, прячущиеся перед властями под личиной благонамеренных плантаций.

Рынок труда: влияние рабочих на заработки, найм и работа «налево», двойные и тройные зарплаты, использование государственного имущества в частных коммерческих целях.

Наконец, рынок предприятий: жизненно важное явление, ибо для выполнения плана даже в области бухгалтерии (с поддельным учетом) предприятия вынуждены закупать сырье, рабочую силу, запасные части все на том же вездесущем черном рынке. Вся сеть государственных магазинов готовых продуктов, полуфабрикатов, сырья включена в систему коммерческих операций по взаимному соглашению, измеряемых звонкой монетой, с установленными реальными ценами. Хождение и меняющийся курс имеет даже золото. Иначе говоря, бок о бок с советской «не-экономикой» функционирует настоящая экономика, полностью отвечающая своему определению, т. е. рациональное хозяйствование с учетом редкости товаров, выраженным на языке объективной бухгалтерии. Эта экономика не признана официально, она живет вне закона и не располагает общественными инструментами учета. Она подпольна, нелегальна, примитивна и напоминает то арабский базар времен Гарун-аль-Рашида, то промысел китайских компрадоров, то тайные делишки американской мафии Нью-Йорка и Чикаго. Какова бы она ни была, экономика эта производит, однако, значительную часть реального богатства страны и позволяет крутиться машине официального производства.

Интеллигенция

После беглого обзора власти и общества следует сказать несколько слов о промежуточной группе — интеллигенции.

С исторической точки зрения интеллигенция может считаться творением государства, нуждающегося в категории специально обученных работников, способных выполнять задачи общего характера, для которых требуется квалификация более высокая, чем у техников или мастеров. Но в то же время интеллигенцию можно считать и отражением общества, стремящегося утвердить свои права и свою независимость перед лицом государства.

Высший слой дореволюционной интеллигенции был немедленно уничтожен большевистской властью, в ряды которой, однако, густо просочилась и низшая интеллигенция. Надо сказать, что внутри партийной системы она быстро растеряла приметы интеллигенции, а пытаясь их отыскать, оказывалась в той двусмысленной позиции, о которой я говорил выше.

В конце сталинской эпохи интеллигенция занимала странное положение. За немногими исключениями весь цвет ее пропал в лагерях. Остальные были настолько скомпрометированы, что государство могло их постоянно запугивать угрозой народной расправы. Но если интеллигенция должна бояться «народа» в той же мере, что и государство, если она прячется под крыло государства, то в то же самое время она находит в «народе» — в обществе — поддержку и защиту против государства. Борясь за свою автономию в период нэпа, интеллигенция расширяет радиус своих действий. Официальную функцию «инженера человеческих душ» она дополняет традиционными целями выражения человеческого сознания. Она встает на защиту тех душ, формирование которых ей поручила власть.

Возрождение русской интеллигенции в послесталинские годы красноречиво свидетельствует о степени износа идеологической постройки. Самая страшная опасность, угрожающая власти со стороны интеллигенции — это прорыв сквозь завесу суконного языка звуков языка человеческого, просто человеческого, без всяких других прилагательных. Стоит напомнить, что начало комму-

нистическому режиму положил не захват в общественную (государственную) пользу средств производства, а — захват средств массовой информации. Задолго до национализации заводов и земель захвачены были газеты, типографии, mass media: начиная с 8-го ноября 1917 года, т. е. тогда, когда власть нового режима не выходила за пределы Петрограда, да и то не всего. Нелегко задержать восстановление стихийного рынка, но бесконечно легче и быстрее убить в зародыше попытки обрести заново человеческую речь, право личного пользования голосовым аппаратом, индивидуальное владение гортанью. Не зная еще, о чем говорит писатель, цензура улавливает его манеру говорить, его тон. И первая из тринадцати цензур, через которые, по словам Эткинда, должен пройти любой текст, — цензура стиля. Редактор переписывает текст, подлаживая его под требования риторики суконого языка. Цензура весьма глубоко проникла в сокровенный смысл изречения Бюффона: стиль — это человек.

Стоит перейти порог стиля — и лавина катится сама собой. Писатель нарушает пакт лжи, на котором только и держится равновесие идеологической власти. Писатель возвращает словам их первоначальный смысл. Он выпрямляет идеологическое искривление языка. Он восстанавливает реальность как единственную истинную реальность и развеивает по ветру ирреальность. Затем — но это уже почти и второстепенно — он раскрывает факты, глубоко запрятанные цензурой. И наконец, он заявляет о человеческих правах, домогается их и разоблачает несправедливость.

Все это русская интеллигенция за истекшие 25 лет выполнила с блеском: достаточно назвать имена Пастернака, Ахматовой, Надежды Мандельштам, Солженицына, Амальрика, Сахарова. Но роль поборника справедливости не может целиком удовлетворить интеллигенцию. Для того, чтобы творить, она должна возродить культуру, связать воедино давно оборванные нити культурной преемственности. При этом, однако, перед ней откры-

ваются разные пути, и единство ее разрушается. Как известно, современная карта интеллигенции в точности воспроизводит всю гамму тенденций, существовавших при старом режиме. Одни обращаются к «официальному национализму» имперской великорусской традиции; другие — к религии и через нее к славянофильству. Есть и западники, мечтающие о демократии и политической свободе. Большое число интеллигентов не заходит так далеко. Ученые, инженерно-технические работники, менеджеры хотят не более, как найти применение своей компетентности и эффективно работать, освободившись от обязанности платить дань идеологии. Они думают, что идеология — бессмысленный пережиток прошлого, не понимая, что она составляет одно целое с режимом или, вернее, составляет режим как таковой. Именно этот слой интеллигенции ближе всего соприкасается с обществом, для которого естественна «аполитичность» и которое стремится лишь к собственному развитию.

Для логократического режима существование интеллигенции, носительницы освобожденного Слова, нетерпимо в высшей степени. Пока еще государству удастся, однако, связать интеллигенцию, лишить ее простора движений. Распространение запрещенных произведений очень ограничено и, по словам Сахарова, является непосредственной причиной большинства приговоров по собственно политическим делам. За исключением двух столиц и некоторых республиканских городов, везде царит беспросветное советское невежество. Кроме того, нет еще связи между диссидентской интеллигенцией и смутным народным недовольством. Недовольство это выражается в алкоголизме, антисемитизме, шовинизме, преступности, оно еще не нашло для себя политических форм. Сахаров насчитывает только пятьдесят тысяч собственно политических заключенных из полутораmillionного тюремного населения (в 1913 году составлявшего около 50 тысяч). Остальные, т. е. почти все: националисты, верующие, уголовники, спе-

кулянты и т. д. — продукт преобразующегося общества; их вина в том, что они преступили границы, дозволенные нэпом.

Нэп и военный коммунизм существуют по отношению к обществу. С точки зрения культуры, нэпа не было с 1922 года, с момента введения того, что я назвал нэпом. В политическом смысле нэпа не было с начала коллективизации.

Политический выбор

Итак, мы схематично изобразили Советский Союз сегодня, показав соотношение сил, установившееся за 25 лет между коммунистической властью и советским обществом. Теперь нужно поставить вопрос: какие политические возможности стоят ныне перед коммунистической партией?

Неизменность режима

Заметим, что двуединство режима и общества все время остается невредимым. Большевистская власть, связанная с иной реальностью, чем ее подданные, и только к ней повернутая, по природе своей не может происходить из общества. Она пришла из другого места и обитает в совсем другом мире. Только революция, уничтожив ирреальность, могла бы ниспровергнуть власть в мир обыкновенной действительности. Тогда ее характер, даже оставаясь тираническим, изменился бы. Совершенно очевидно, что со смерти Сталина — время долгое для любой исторической эпохи — природа советского режима никак не изменилась. Фактически она не изменилась с 7 ноября 1917 года — достижение, какого не знает ни один другой современный строй. Изменилось другое — сам Советский Союз, страна реальная и значит подверженная истории, на себе ощущающая ее поступь. Но режим, упрочившись в ирреальности, тем самым ускользает от истории. Он не может распасться, ибо распад и тниение принадлежит подлунному миру, а

режим обитает в сфере постоянных форм. Он может либо исчезнуть, либо продолжаться вечно.

Ленинские модели

Желание существовать вечно заставляет режим переходить от одной политической линии к другой, от военного коммунизма к нэпу. Легко показать, что модели эти задолго до прихода к власти изобрел Ленин в качестве стратегии и тактики по отношению к возможным врагам и союзникам. Отсюда пошли формальные матрицы, в которые влилось содержание позднейших военных коммунизмов и нэпов. Ленин установил и крайние пределы, перейдя которые партия скатывалась либо в левизну, сектанство, авантюризм, либо в правизну, оппортунизм, ликвидаторство. Что же означает правильная тактика, единственно *верная* линия? При любом из двух тактических направлений она заключается в одном и том же: партия должна оставить за собой возможность и свободу по данному сигналу немедленно повернуть вспять. Таким образом, военный коммунизм и нэп имеют ценность лишь постольку, поскольку они *обратимы*. Если по несчастному стечению обстоятельств партия даст увлечь себя слишком далеко, выпустит из рук управление процессом, лишится возможности скомандовать поворот — подчиняясь высшему критерию сохранения власти, — тогда ей недолго ждать падения или гибели.

Итак, перед советским правительством стоит дилемма: продолжать ли нэп или переходить к военному коммунизму? Вопрос не новый; он стоял, несомненно, уже в 1964 году, при свержении Хрущева, когда обуздывался нэп, угрожавший уйти из-под контроля. С тех пор правительство движется наощупь, сохраняя шаткое равновесие, а между тем нэп продолжается, так как силы принуждения ослабли и общество спонтанно организуется и крепнет. Упустив инициативу, правительство должно всеми силами беречь целостность партийного аппарата и сдерживать стихийную инициативу общества

Тем самым оно делает ставку на замораживание существующего положения вещей. Поэтому советские и иностранные наблюдатели называют группу у власти «реакционной» или «консервативной». Но «консерватизм» ей нужен для того, чтобы, окопавшись на оборонительных позициях, сберечь всю пробивную силу своей «революционной» идеологии, воспользоваться которой она рассчитывает при других обстоятельствах.

Конец нэпа?

Возникает вопрос: может ли правительство положить на самотек и дать развиваться фактическому нэпу? Тут нужно оставить теоретические рассуждения и окунуться в эмпирику. За последний год все более явно ведется подготовка к какому-то важному политическому повороту. Причину его понять нетрудно. Если не будет вмешательства, общество может достичь такой степени сознательности, что станет намного сильнее партии. Такая перемена проявилась бы в первую очередь внутри самой партии. Она не сможет удержаться в своей идеологической ирреальности, через ее неуязвимый панцирь проникнут токи и силовые поля реального мира. И тогда партия будет разъедена изнутри или поглощена действительностью. В ней отразятся национальные распри, возникнут кланы: русский, украинский, кавказский; социальные напряжения — разные фракции станут прислушиваться к требованиям города или деревни, директоров предприятий или инженеров, и так далее, и так далее. Партия может также включиться в экономику рынка — и развратиться. В этом случае не следует понимать «развращение» в отрицательном смысле: ибо если нет ничего хуже, чем развращение добра, то развращение зла — лучшее из того, что может случиться.

За годы власти партия успела значительно расширить свои материальные привилегии, но до сих пор она старалась усердно блюсти обособленность от параллельного

рынка системы распределения товаров и вознаграждений для внутривластьного пользования. С этой целью была создана цепь особых магазинов, доступных только для аппаратчиков, и бухгалтерия «конвертов», ограждающая от искушений. Но искушениям несть числа, и своекорыстие безгранично. Сахаров рассказывает, что правосудие становится податливым на взятки. Повсюду чувствуется давление рынка. Естественное, но отнюдь не коммунистическое желание выделиться в привилегированную наследственную касту должно реализоваться через куплю-продажу чинов и должностей. Многочисленные свидетели сообщают о возрастающей продажности системы образования, особенно при раздаче дипломов. Если положения отпрыска семьи партийцев не достаточно для поступления в университет или привилегированные институты — рождается соблазн черного рынка дипломов и кандидатских степеней. Но склонность к цинизму, так распространенная в сегодняшней партии, не мешает прорываться иногда самой настоящей наивности. Особенно у детей руководителей, пользующихся льготами, о которых в обществе слагаются легенды, все чаще заметны зарождающиеся духа противоречия и признаки классического бунта привилегированных. Среди них диссиденты находят пополнение, общников и защитников.

Вернемся к сути дела: возможно ли возвращение к военному коммунизму? В коммунистической системе трудно вести тонкую политику, более естественно бросаться в крайности. В прошлом все повороты в сторону военного коммунизма вели к таким крайностям — все, кроме одного, начавшегося в 1964 году и оставшегося недоделанным, в нюансах и полутонах, то ли по желанию правителей, то ли, скорее, от их бессилия. Но в этом главное: *располагает ли правительство политическими средствами для открытого возврата к военному коммунизму?*

Ибо что, собственно, означает такой возврат? Ответим одним словом: *репрессии*. Для того, чтобы сломить

общество, с корнем вырвать послесталинские зеленые ростки, нужно провести чистку невиданного масштаба.

Моральных препятствий, конечно, нет. В СССР народ по опыту знает, что государству все позволено. Государство — ответчик лишь перед идеологией, а выполнение идеологического долга движется путями, оставляющими общество далеко в стороне. Классическая тирания отличается от идеологического режима тем, между прочим, что тиран, действуя во имя самого себя, связан, однако, и с общими интересами: он разорится, если разорены будут его подданные. Самый *циничный* тиран обитает в одной реальности со своими подданными, он может затребовать объективную информацию и принять трезвое решение. Так, монгольские ханы со всей ясностью ума судили о том, превращать ли такую-то область Европы в пастбища или же выгоднее взимать дань с ее населения. И напротив, распад действительной реальности до самой последней минуты — до момента финального краха — никак не затрагивает идеологическую ирреальность, ибо партия убеждена, что она просто переводит материальные и духовные ценности из первой реальности во вторую. Нечто подобное описано в научно-фантастических романах, где предметы и люди исчезают в нашем мире и в то же мгновение благополучно попадают в мир «четвертого измерения». Нужно время для осознания, что четвертого измерения не существует, а предметы и люди уходят в небытие.

Политические препятствия

Повороту к военному коммунизму мешают соображения политического свойства. В принципе, чистка должна происходить в два приема. Сначала чистить нужно самое партию. В режиме, где политическая жизнь — монополия одной партии, всякая перемена проявляется сначала внутри этой партии. В режиме, где политическая ошибка равнозначна моральной вине и онтологической порочности, изменения внутри партии означают

политическую смерть какой-нибудь фракции, причем фракция эта может охватить чуть ли не всю партию. Поскольку же политическая смерть и погружение в онтологическое небытие — одно и то же, почти естественно, что физическая гибель должна сопровождать политическую. У смерти к тому же есть одно несомненное достоинство — это самое радикальное средство сплочения партии в единый монолит, что, как давно известно, дает единственную гарантию ее жизнеспособности. Кроме того, этим простым методом открывается доступ к карьерам и постам для легиона низших партийных чинов, затертых нынешними начальниками. Советская партия рискует завязнуть в болоте геронтократии и косности. Как в сталинское время, новая чистка была бы прекрасным средством омоложения и удобным случаем для обеспечения традиционным путем смены поколений. Несмотря на все это, чистка — опасное предприятие. Держать ее под контролем нелегко — об этом знает поколение у власти. Оно еще не заручилось надежными наследниками. В 1936 году цинизм сочетался с наивностью, комбинация, которой нет в наши дни, когда наивность стала дефицитным товаром. Кроме того, в 1936 году общество уже прекратило сопротивление и операцию можно было вести в полном спокойствии. Можно думать, что сегодня ситуация несколько изменилась. Не придется ли партии вести кампанию на двух фронтах, против самой себя и против общества, в одно и то же время? С каким риском связано такое наступление?

Ибо главный этап чистки — это, разумеется, чистка общества. Но как это сделать? Еще раз сокрушить крестьянство, осуществить последнюю депортацию, уже не только «кулаков», а всей деревни? Результатом был бы голод, не меньший, чем в 1921 или 1932 году. Может быть, уничтожить рабочий класс? Но что будет тогда с производством? Ликвидировать рынок? Но советская экономика может не справиться с поставками орудий господства для государства. И как решить националь-

ный вопрос, не прибегая к средствам, перед которыми колебался сам Сталин, все-таки не отдавший приказа о переселении евреев и украинцев?

Можно, впрочем, усомниться, повинна ли в сталинских методах одна лишь специфика личности вождя. В значительной мере они зависят от характера операции, проводимой в рамках существующей политической системы. Система осталась той же, операция предвидится того же типа, только размах ее не будет иметь себе равных — потому и человеческие затраты нужно предусматривать в соответствующих масштабах. Если второй военный коммунизм стоил не меньше 30 миллионов жертв, во сколько обойдется четвертый? Солженицын вполне резонно замечает, что он означал бы конец исторического существования русского народа.

В этом месте поджидают нас проблемы внешней политики, тут возникают вопросы: есть ли во внешней политике схемы, отвечающие моделям, обнаруженным нами в политике внутренней? С какой политической линией связана международная обстановка, благоприятная для виражей внутренней политики?

II.

Внешняя политика

Говоря о «внешней политике», я подразумеваю действия советской коммунистической партии вне границ СССР. Специфика этой политики — две *системы действий*, которые я назову для упрощения системой А и системой Б.

Система А

Две системы соответствуют двум определенным выше сферам: идеологической ирреальности и всеобщей действительности. Система А связана с идеологической сферой, в которой государства не считаются постоянными и неустраиваемыми элементами «внешней» поли-

тики. Можно даже сказать, что внутри этой сферы понятие внешней политики теряет свое содержание, поскольку идеологическая линия раздела проходит не между разными государствами, а между мировым капитализмом, с одной стороны, и международным коммунистическим движением, с другой. С этой точки зрения внешняя политика необходима лишь в силу исторических и преходящих обстоятельств. Инструментальные понятия системы А берутся из господствующей доктрины: империализм, борьба классов в международном масштабе, пролетарский интернационализм и пр. Средствами же системы А, средствами, принадлежащими ей формально, являются специализированные органы: Коминтерн, Коминформ, ВФП* и т. д. С ними сопряжены действия менее явные, дублирующие деятельность «братских» компартий изнутри, такие как разведка, пропаганда, подрывная работа и другие, исполнение которых обычно возлагается на КГБ и сходные органы.

Система Б

Система Б развивается в непосредственном соприкосновении с реальной действительностью или, вернее, на передовой линии фронта, на той подвижной границе, которая отделяет идеологическую и живую реальность. Речь идет о внешней политике в обычном смысле этого слова — о межгосударственной политике. В ней инструментальные понятия взяты из словаря классической дипломатии, и хождение имеют такие слова, как мирное сосуществование, национальная независимость, невмешательство во внутренние дела, влияние, преимущественные интересы. Как во всех других странах, среди орудий системы Б можно назвать дипломатию, экономический обмен и все другие средства, с помощью которых одно государство может воздействовать на другое.

Система Б подстроена к системе А в той степени, в какой идеология, находясь у власти, держит в руках

* Всемирная Федерация Профсоюзов (*Прим. перев.*).

частицу реальности, известную под видом «государства». В практике обе системы применяются одновременно: между политикой КПСС и политикой СССР нет разрыва, а есть взаимодополнение и взаимодействие.

Их взаимодействие

Довольно распространенная ошибка — думать, что система А преобладает в наступательные периоды внешней политики СССР, а система Б — в периоды оборонительные. Такая концепция предполагает постепенное изменение внешней политики компартии, политики революционной, в пользу классической государственной политики, которая может быть экспансионистской, но имеет естественную тенденцию к поискам соглашений и уравниванию сил.

В действительности внешняя политика во время наступления пользуется всей государственной мощью системы Б, а при обороне — всеми тайными и явными средствами системы А. Высшее искусство советской внешней политики по идее должно сочетать обе системы действий так, чтобы они не мешали друг другу и достигали максимальной эффективности каждая в своей области. Ленин сразу же понял, что одна система не может существовать без другой. И если во внутренней политике высшим законом является сохранение власти, то в политике внешней жизненно важная задача состоит в сохранении статуса и средств государства. Самым крайним и самым красноречивым примером применения этого правила было принятие — вопреки мнению Троцкого и большинства Политбюро — условий Брестского мира. Ленин поправил то, что в словаре системы Б называется национальными интересами, и уступил немцам половину России с целью удержать под своим контролем территорию, наделенную государственным статусом. Государство представляется некой оборонительной позицией, где окапывается международное коммунистическое движение, чтобы переждать трудный момент. Меж-

дународное коммунистическое движение немедленно мобилизуется на защиту государства. Тогда вместо своего обычного языка — империализм, борьба классов, пролетарский интернационализм, — оно пускает в ход язык системы Б. Бывают периоды, когда употребляются оба языка — об этом свидетельствует название журнала Коминформа в 50-е годы, когда внешняя политика СССР могла считаться наступательной в Восточной и оборонительной в Западной Европе. Журнал назывался «*За прочный мир (система Б), за народную демократию (система А)*». То было время Стокгольмского воззвания (система А по средствам, система Б по словарю), войны в Корее и блокады Берлина (система Б), время, когда международное коммунистическое движение вело тактическую оборону, а наступательная стратегия осуществлялась советским государством с его военной мощью. Но и это упрощение: в любое время и вне связи с выбором стиля политики обе системы действуют вместе, в зависимости от места и обстоятельств используя все средства нападения и защиты: как на войне, защита бывает самой сильной атакой, а нападение — самой надежной защитой.

До тех пор, пока не наступит открытый отказ от идеологии, советская внешняя политика в своей общей направленности останется агрессивной. Поэтому я не верю ни в действенность понятий *наступления* и *обороны*, ни в их достаточность для периодизации советской внешней политики. Они могут пригодиться лишь в тактическом и местном значении, стратегия же наступательна по своей природе. Идеологическая ирреальность интенсивна — она не успокоится, не поглотив без остатка действительность, оказавшуюся под ее контролем; но она же и экстенсивна: удовлетворить ее и дать ей ощущение безопасности может лишь совпадение ее границ с границами Вселенной. Любой результат, полученный в системе Б и утвержденный ее методами, пересматривается и переводится в категории системы А, а затем объявляется временным и лишается постоянной

санкции. «То, что наше — наше, а о вашем мы еще поторгнемся». То, что наше, принадлежит нам по праву идеологии, а то, что ваше, вам не принадлежит — по тому же праву, — и должно законным путем перейти в наши руки.

Соглашения

К чему же, в таком случае, соглашения?

Уже в первые месяцы нового режима правительство заметило выгоды, которые можно извлечь из фундаментальной асимметрии между внешней политикой своей и своих партнеров. Последние действуют и думают лишь по системе Б, и, следовательно, их легко обезоружить с помощью дипломатии, которая тем свободнее пользуется системой Б, чем меньше веса придает ее онтологическому смыслу. Договор никогда не бывает разделом, претендующим на справедливость и взаимное удовлетворение; договор — это констатация соотношения сил в конфликте, который в принципе отвергает компромисс и стремится к поражению одной из сторон.

Все дело в том, что эта констатация *формулируется*. Иначе говоря, она заставляет противника (партнеров тут не существует) дать формулу открытого признания ситуации и реальности. Но признание это немедленно истолковывается в пользу ирреальности, которая тем самым получает изрядную дозу конкретизации не только от подчиненной ей реальности, но и от реальности, ей неподвластной. Ирреальность получает санкцию и, вместе с тем, видимость бытия от своего самого непримиримого врага, а тот в момент заключения договора снова занимает отведенную для него полочку в идеологической схеме. Так всякое соглашение между США и СССР превращается в соглашение — в глазах советских политиков — это простое отражение временной ситуации — между капитализмом и социализмом. Переходное понятие «мирного сосуществования» помо-

гает США согласиться на это превращение; США формально соглашаются представлять капитализм и признают за Советским Союзом право выступать от имени социализма. Дихотомия «социализм/капитализм», не имеющая смысла нигде, кроме идеологии, за последние годы постепенно пустила корни и в европейском общественном мнении, и в западной печати.

Страны, вступающие в переговоры с СССР и мыслящие в пределах системы Б, считают единственной реальностью материальные соглашения о границах, товарообмене, вооружениях. Им кажется, что односторонние уступки в области системы А их не касаются. Такие уступки, на их взгляд, всего лишь словесные реверансы, помогающие добиться внимания советского правительства, но лишенные всякого реального содержания. Это жесточайшая ошибка. Идеология — структура словесная, основанная на словах и словами питающаяся. Отдавать ей слова, идти на уступки в словах — значит сообщать ей единственную реальность, на какую она способна. Во внутренней политике партия не довольствуется простым послушанием, ей нужны согласие, признание, громко выраженное одобрение. Эквивалентом признания на процессе или единодушного голосования на выборах во внешней политике становится договор, учреждающий не столько разделение мира, сколько законность воображаемого и принятие несуществующего. Словесная уступка оборачивается отрицанием законности позиции того, кто эту уступку сделал, и немедленно направляется против него же. Положив венок у мавзолея Ленина, Жискара д'Эстен сделал отнюдь не маловажный жест. Он объяснил свой поступок желанием почтить память основателя советского государства, то есть в намерениях оставался внутри системы Б. Но посредством мгновенного переноса из одной рубрики в другую, венок оказался у ног основателя международного коммунистического движения.

Нэп и внешняя активность

Такое же заблуждение состоит в предложении, что фазы военного коммунизма совпадают с «наступлением», а фразы нэпа — с «отступлением» на международном фронте. Самый поверхностный экскурс в прошлое убеждает в обратном: взаимосвязи в фазах внутренней и внешней политики нет. Польская кампания Тухачевского велась в разгар военного коммунизма, но к периодам военного коммунизма относятся и осторожные маневры Сталина с Гитлером и Трумэнном. И наоборот, попытки переворотов в Германии (1923) и в Китае относятся к нэпу.

Наибольших успехов во внешней политике Советский Союз добился за годы, истекшие после смерти Сталина, и в особенности после падения Хрущева. Банальной стала фраза, что Запад выиграл холодную войну, но проиграл «разрядку». Но можно задать себе вопрос: не создает ли нэп по сравнению с военным коммунизмом гораздо более благоприятные внутренние условия для проведения активной внешней политики? Кажется, что в общем так оно и есть.

Объяснить это нетрудно. Согласно нашему определению, военный коммунизм мобилизует все силы компартии против общества, т. е. сосредотачивается на внутренних задачах. В такое время партии нужна международная атмосфера спокойствия, в которой она могла бы без помех осуществлять свои цели. Ее внешняя политика, несмотря на многие агрессивные и «революционные» черты, будет настраиваться прежде всего на сохранение статус-кво. Мы еще вернемся к этой проблеме. С другой стороны, частичное разрушение общества лишает партию средств для по-настоящему активной внешней политики. Армия в такие периоды опирается на истощенную экономику, на рутинную технику. И, наконец, размах репрессий не может не пробить занавеса тайны и не вызвать некоторого испуга у между-

народной общественности. Поэтому международное коммунистическое движение не всегда занимает в этот момент наилучшие позиции для наступления.

Нэп, напротив, дает партии возможность частично и временно отвлечься от внутренних сражений и развязывает ей руки для внешних операций. На ее лице появляется тогда полулиберальная гримаса. Западное общественное мнение, привыкшее довольствоваться малым, дарит ей всю свою симпатию, а оставшееся по ту сторону тайны начинает приобретать некую пикантность, допускающую все надежды. Западным же компартиям тораздо легче дается *единство*, если их не смущают скандалы наподобие процессов 1936 года или разрыва с Тито.

И, наконец, самое главное: партия подкрепляется силой укрепленного общества. Рассмотрим это на примере армии.

Армия

«Война — это политика другими средствами», любил говорить Ленин, выворачивая наизнанку изречение Клаузевица. Фраза эта в устах Ленина интересна смыслом, вложенным не в слово «война», а в слово «политика». В ленинском манихейском восприятии мира политика не ведет к более или менее справедливому разделению мира и его богатств между социальными классами или разными странами. Политика — это глобальное, драматическое столкновение, в котором одна сторона должна победить, а вторая — исчезнуть. Политика предназначена создавать крайние ситуации и выходить из них крайним путем, иными словами, фактически ничем не отличается от войны. Разница между ними чисто техническая — лишь в той мере, в какой война пользуется другими материальными средствами и обычно стоит дороже, чем политика. Во всяком случае, без предчувствия грядущей войны, без поисков средств для нее не могло бы быть и политики. И следовательно,

в коммунистическом режиме, где политика целиком и полностью, как в локальном, так и в мировом масштабе, определяется как захват и сохранение власти, перво-степенная задача правительства состоит в создании армии, способной гарантировать вторую и подготовить осуществление первой задачи.

Армия есть истинная цель советской системы производства. Для правительства — и для единственной вышестоящей инстанции, для идеологии — состояние общества, его бедность или сравнительное благополучие, не имеет никакого значения. Общество как таковое не участвует в управлении страной, и правительству нечего бояться свержения в результате недовольства народных представителей. С другой стороны, общество расположено где-то вне идеологической сферы и тем самым не имеет законного самостоятельного существования. Уровень жизни повышается не для живого крестьянина и даже не для «плантации», награжденной званием колхоза, а для колхоза, существующего в воображении, в утопии, т. е. нигде. Поскольку капиталовложения и научно-технические разработки осуществляются по приказу политических инстанций, неудивительно, что их целью отнюдь не ставится благосостояние общества. Как известно, ни одно лекарство, ни один предмет полезного потребления не был изобретен в СССР за 60 лет новой власти. Уровень медицины, фармацевтики необычайно примитивен, и мало есть стран, где санитарное оборудование так «недоразвито». В советской производственной системе просто нет побудительных причин для изобретения электробритвы или стиральной машины и постоянного их усовершенствования. Армия, наоборот, приковывает к себе все силы и все внимание. По сути дела, можно сказать, что единственная обязанность правительства относительно производства материальных благ для общества — обеспечить ему условия жизни, позволяющие принимать участие в усилиях военного производства. В СССР все-таки есть электробритвы и стиральные машины, скопированные с иностранных

образцов, — так освобождается рабочая сила для истинно продуктивных, т. е. военных целей.

Концентрация производственной энергии в разных областях советской военной индустрии выше, чем в какой-либо другой стране мира. Официальные цифры мало показательны. Некоторые западные специалисты оценивают военные расходы СССР вдвое выше, чем в США, — от десяти до двадцати процентов национального дохода. Сахаров дает цифру сорок процентов, что превышает военные расходы Израиля, находящегося в состоянии постоянной войны. Зная, насколько приблизительно все попытки статистических подсчетов советской жизни, следует относиться к этим цифрам с осторожностью. Мы, однако, определенно знаем, что субсидии, таланты, научные средства постоянно и массово направляются в сектор военного производства.

Нельзя отрицать, что советское государство добилося полного успеха в создании конкурентоспособной армии. Проблема достижения современного уровня вооруженных сил на базе примитивной экономики была разрешена с помощью концентрации средств, с помощью принуждения и понижения или сильного замедления роста жизненного уровня. Рецепт, испытанный со времен Петра Великого. Но есть еще одно исключительное обстоятельство, позволившее достичь в этой области мирового стандарта: военный сектор — единственный, где главенствует критерий рациональности, управляющий в некоммунистических странах всей производственной системой. Неважно, что изделия «гражданской» промышленности хуже заграничных — жаловаться, что советские граждане одеваются в безвкусовые тряпки и питаются приютскими кашами, — некому. Но низкого качества самолетов, танков и пушек режим не может себе позволить. Настоящего рынка, с учетом себестоимости, — невозможного в этом секторе так же, как и во всех других, — такого рынка нет; существует, однако, своего рода соперничество или конкуренция, толкающая к повышению качества продукции и ее совершенство-

ванию. Таким образом, в военном секторе, в отличие от всех других, действует стимулирующее влияние рынка.

Это обстоятельство стоит принимать во внимание, размышляя о причинах гипертрофии советских вооруженных сил. Трудно решить, вызвана ли она сознательной политикой, нацеленной на военные действия в будущем и подчиненной приказам главного командования, или же здесь сказывается врожденный порок, как бы заложенный в самой структуре советской системы производства, которая по своей природе ориентирована на военные цели и только в их достижении проявляет эффективность. В этом случае танков и пушек столько не потому, что так хочет правительство, сколько из-за полной неспособности рационально производить что-либо другое.

Две общие модели политики определяют и участь советской армии. Военный коммунизм позволяет довести до высшей степени концентрацию и специализацию системы производства. Производство, предназначенное для общества, сводится до минимума. Весь производственный аппарат стремится стать гигантским арсеналом. Военный коммунизм дает возможность осуществить самые ближайшие задачи, это неоспоримо; но в то же время он порождает трудности для реализации долгосрочных целей. Производственная база сокращается. Принуждение, противопоказанное всякому творчеству, мешает новаторству, абсолютно необходимому в военной промышленности. Известно, что некоторые наиболее удачные модели самолетов второй мировой войны созданы были в шарашках. Система, возлагающая научно-технические задачи на пенитенциарную администрацию, не может считаться ни здоровой, ни устойчивой. С другой стороны, рабочие, поставленные в положение рабов, способны выдавать лишь весьма грубую продукцию. Одним словом, армия попадает в западню фундаментального противоречия военного коммунизма: триумф системы означает ее поражение.

И напротив, нэп, на первых порах тормозящий развитие военной машины, в несколько более отдаленной

перспективе начинает ему благоприятствовать. В конечном счете армия черпает свою силу из общества. Даже если пропорционально меньшая часть производственного аппарата загружена военными задачами, национальный доход при нэпе увеличивается настолько, что растут и безотносительные показатели военных расходов. Повышение жизненного уровня населения тотчас же отзывается многократным улучшением качества работы, усиленным новаторством, большим числом изобретений. Всё это заметно в послевоенном СССР. Умирая, Сталин оставил в наследство армию, закоснелую в технике и стратегических теориях, обеспечивших ей победу десятью годами раньше. Только ценой усиленного пополнения шарашек, использования труда заключенных и с помощью шпионажа удалось сконструировать несколько атомных бомб. Но с 1953 года советские вооруженные силы развиваются в невиданном темпе. Созданы новые системы оружия — не менее, а иногда и более эффективные, чем в Америке. Начав почти с нуля, советский флот вырос так, что некоторые эксперты говорят о его превосходстве над американским. Наконец, советская армия сумела извлечь многие выгоды из политики, называемой *разрядкой*. Что же собой представляет эта разрядка?

Разрядка

Разрядкой я называю внешнюю политику КПСС, имеющую в виду приложение к *международному обществу* правил, закрепляющих характерные для нэпа отношения между властью и *советским обществом*.

Как уже говорилось, в период нэпа партия отнюдь не забывает о своих наступательных целях, о надежде распространить свою власть и на советское общество, и на общество международное. Поэтому, пользуясь благоприятными условиями, созданными нэпом, она должна укрепиться, еще теснее сплотиться, усилить свою дисциплину и контроль над занятыми территориями и при

всем этом оставить себе возможность поворота, т. е. нового завоевательного наступления.

Я говорил о новых средствах, предоставленных внутренним нэпом для ведения такой политики. Однако «внешний нэп» также обеспечивает многочисленные выгоды.

Прежде всего, в рамках системы А партии гораздо легче воспользоваться идеологическим давлением, стихийно возникающим в некоммунистических странах. Международное коммунистическое движение, со своей стороны, может извлечь пользу из двух новых условий советской жизни. Во-первых, приостановка репрессий дает «прогрессивному» общественному мнению надежду на то, что «социализм» может иметь, более того, уже приобретает «человеческое лицо». Полтора миллиона заключенных вместо двенадцати — вот доказательство «совместимости социализма и свободы». Во-вторых, неоспоримый рост благосостояния общества, вызванный отступлением власти, приписывается благотворным действиям этой же власти. Таким образом, коммунистическое движение, выросшее в глазах общественного мнения, может требовать от «буржуазного» государства дополнительных прав и преимуществ и в то же время навязывать социал-демократам и либеральным христианским движениям сотрудничество, соглашение и даже — если на то есть условия — слияние.

Выгоды в рамках системы Б не менее очевидны.

Разрядка дает случай подписать множество договоров, иначе говоря, накопить про запас то, в чем больше всего нуждается идеологический режим, — формальное его признание. Маркс писал: «Россия — единственный в истории пример огромной империи, которая, несмотря на достижения в мировом масштабе, продолжает считаться скорее объектом веры, чем реальным фактом». Задним числом эта формула стала гораздо более глубокой, чем в эпоху Маркса. И в самом деле, если идеологический режим имеет только лишь лингвистическое существование, каждое подтверждение веры обращается

признанием «факта». Международное общество, признавая «советский факт», придает ему реальность большую, чем все самые единодушные выборы, самые многочисленные демонстрации, самая горячая поддержка советского общества. Как Одиссей в царстве мертвых кормил тень матери кровью живых, на миг вызывая ее к подобию жизни, так советское и международное общества вызывают дух идеологической ирреальности и удерживают его на земле. Ибо «социализму» необходимы оба эти заклинателя. Опираясь на согласие советского общества, он требует признания от общества международного, и заручившись им, обращается к обществу советскому за еще большей поддержкой.

У разрядки есть и все другие преимущества нэпа: благодаря ей общество, а в данном случае — международное общество, предоставляет средства для *содержания* идеологической власти.

Правду говоря, международное общество уже несколько раз помагало советскому режиму избежать гибели. Достаточно вспомнить миссию Гувера, спасшую пять или шесть миллионов крестьян от голодной смерти в 1921 году, либо американскую помощь во время второй мировой войны. Даже в период самого отчаянного военного коммунизма первых пятилеток Запад направлял в СССР значительные капиталы, технику, инженеров, работников в окружении заключенных. Запад никогда не высказал ни слова протеста против той примитивной *трехсторонней торговли*, так похожей на работоторговлю XVIII века, которой занимается советское правительство: крестьяне высылаются в Западную Сибирь, там они, уже в качестве ссыльных, добывают золото, которое продается на международном рынке, оплачивая импорт хлеба и других товаров, дефицитных главным образом из-за высылки крестьян.

Разрядка позволяет развернуть это дело в мировом масштабе. Трехсторонняя торговля совершенствуется, когда советское правительство бросает на рынок конкурентоспособный товар, изобилие которого объясняется

указанными выше причинами. Товар этот — оружие. Оно продается слаборазвитым странам за полновесную валюту и сырье, которое перепродается индустриальным странам в обмен на технику и технологию.

И, прежде всего, разрядка дает возможность пустить в ход систему, которую я назову расширенной системой Витте.

Система Витте

Великий министр финансов Александра III изобрел систему, по которой Россия должна была получать у союзников средства для развития своей экономической и военной мощи. Союзные страны давали займы значительные суммы, животворной струей вливавшиеся в русскую экономику. Действительность этих займов обеспечивалась новыми займами. Россия получала кредиты, потому что союзники дорожили союзом с нею; кредиторы же были заинтересованы в поддержке кредитоспособности русской экономики. Двигателем этого всасывающего насоса русского займа была постоянная имманентная *обратимость* системы Витте: в ней скрывалась угроза шантажа. Русское правительство могло в любой момент обратиться к союзу с Германией, или же внезапно объявить о своем банкротстве. Западные заимодавцы надеялись, однако, что опасность развеется, как только Россия прочно встет в мировую экономико-политическую систему.

Новая система Витте отличается некоторыми особыми свойствами. Сегодня Запад покупает не активную военную силу СССР, а видимость его хорошего поведения, причем только в рамках системы Б. В еще большей степени, чем в старой системе Витте, инициатива сделок принадлежит государствам, а не частным лицам. Последние всячески добиваются гарантий от своих же правительств, так что фактическими гарантами операций становятся не русские, а западные налогоплательщики. Место же партнеров СССР занимают не союзники, как

было в эпоху Витте, а наоборот, его потенциальные противники, которым нехватает политических средств для эффективного соперничества и которые предпочитают купить себе спокойствие ценой торгового соглашения. Именно эта подмена союзников неприятелями знаменует собой расширенный характер новой системы Витте.

Лондонский «Экономист» от 8 ноября 1975 года приписывает Г. Киссинджеру следующее рассуждение: «Желательно подписывать с русскими как можно больше договоров, даже если в данный момент они выгоднее русским, чем американцам. Дело в том, что для будущих советских правительств это представляет своего рода «капиталовложение» в хорошие отношения с Америкой, и они не захотят рисковать потерей уже достигнутых выгод». Иначе говоря, из рассуждения Киссинджера видно, что ему известен ключ системы: угроза обратимости политики. Как давние кредиторы России, он надеется, что «долгосрочные инвестиции» предотвратят опасность, поскольку СССР включится в мировой политический и экономический круговорот.

Вывод Киссинджера мог бы иметь ценность по отношению к старому русскому режиму, который качественно не отличался от западных режимов и заслуживал, в худшем случае, названия классической тирании. Полная беспомощность рассуждения по отношению к коммунистическому режиму очевидна.

Главное правило идеологической власти во время нэпа состоит, как мы знаем, в сохранении способности к резкому повороту политики. Партия большевиков со дня своего рождения прекрасно сознает, что существование ее зависит от ряда профилактических мер по отношению к обществу (в данном случае, к обществу международному). Опыта же профилактики партии не занимать. Тот, кто воображает, что торговля Запад-Восток «либерализирует» Советский Союз автоматическим влиянием «невидимой руки»* объективных экономических законов, не понимает сущности коммуни-

* Термин А. Смита; см. прим. на стр. 299. (Прим. перев.).

стической партии и не знает истории. Внешний нэп всегда сопровождается усилением преследований внутри страны.

В СССР единственное экономическое лицо — государство. В связи с этим нет никаких шансов на то, что веяния с Запада помогут родиться экономическому, а тем более политическому плюрализму. Западные дельцы и банкиры циркулируют, как простые туристы, в герметически замкнутых каналах «Интуриста». Государственная монополия спроса встречается с некоординированным и распыленным предложением, что дает советскому правительству все преимущества при торговом обмене. Не знаю, имеют ли право экономисты говорить о рынке в условиях абсолютной односторонней монополии, но говорить о «советском рынке» можно лишь в том смысле, что существует внутренняя конкуренция среди партнеров Советского Союза на Западе.

Старая система Витте вела к быстрому развитию общества, поступление капиталов благоприятствовало рыночной экономике. Новая система, наоборот, ведет к усилению советского государства в ущерб обществу. Импортные товары либо непосредственно питают военный аппарат, либо, поддерживая жизненный уровень общества, освобождают новые ресурсы, которые используются в том же военном аппарате. В обоих случаях главная прибыль от сделки идет на военные цели. Так в результате внешнего нэпа растет способность к обратимости политики, от которой зависит динамика системы. Запад думает, что, помогая своими капиталами увеличивать потенциальную мощь советской армии, он покупает ее бездеятельность. Но, делая «долгосрочное капиталовложение», таким путем именно Запад будет бояться потерять выгоды от разрядки. Если западные страны станут, с точки зрения советского правительства, «плохо себя вести», они потеряют все свои капиталы. Это было бы не так уж страшно. Но они окажутся в той самой ситуации, которой пытались избежать с помощью разрядки. За новую отсрочку им придется пла-

тить расширением системы Витте на новых условиях, продиктованных советским партнером. И тогда-то сам Запад захочет подписывать «как можно больше договоров».

Государство — не такое, как все

Советское правительство не чувствует себя связанным никакими правовыми обязательствами по отношению к международному обществу. Поставив себя в положение советского общества, международное общество потеряло в глазах советского правительства все права и приобрело все обязанности. В один прекрасный день, когда наступит политически удобный момент, оно должно будет войти в сферу идеологической власти, стать коммунистическим. К этому ему уже надлежит готовиться. Ни Ленин, определяя, ни Хрущев, ни Брежнев с его нэпом никогда не думали и не говорили ничего другого. В этом смысле советская внешняя политика начисто отвергает саму идею мирового порядка или содружества наций. Власть всегда предупреждает общество, что нэп не более, чем отсрочка, и что время коммунизации вернется, едва только партия восстановит свои силы. И точно так же, с полной откровенностью, Советский Союз обещает международному обществу всего лишь передышку, после которой через определенное время последует неизбежная капитуляция Запада. КПСС вполне искренне убеждает капиталистический мир вить веревку, на которой, как говаривал Ленин, капитализм и будет повешен. Партия призывает капиталистические страны укреплять СССР и воздерживаться от критики «социализма», ибо критика советского государства наносит удар советскому режиму. Считается, что, согласившись на разрядку, Запад — а не Советский Союз — подписывает контракт, и Запад обязан выполнять его условия. В этом отношении к Западу возрождается, *mutatis mutandis**, система монгольских ханов,

* *Mutatis mutandis* (лат.) — с учетом соответствующих различий (Прим. перев.).

искренне считавших, что однажды получив дань от подчинившегося народа, они имеют право требовать ее бесконечно. Если смотреть на советскую внешнюю политику под углом ее конечных целей, неизбежно заключение: ведет ее государство, не такое, как все другие.

Государство такое же, как все

Но, с другой стороны, советское государство — такое же, как все другие. Оно даже особенно скрупулезно и уважительно относится к международным соглашениям. Дело в том, что решившись оставить международному обществу — как и советскому обществу — самостоятельность в определенных границах, советское правительство само решает соблюдать эти границы до тех пор, пока не нарушаются его насущные интересы. Это вопрос политической последовательности. Приняв решение ввести нэп, более выгодный для партии, чем военный коммунизм, партия будет как можно лучше применять нэп на практике, ничуть не печалась об интересах партнера, который просто не существует с онтологической точки зрения. Лишь отсюда становится понятным, почему в установленных им самим рамках советское правительство щепетильно относится к контрактам, платит в срок, держит данное слово. Но когда международное общество будет уверено, что СССР уже вошел органической составной частью в общий порядок, вдруг кончится передышка, настанет время платить по счету, и перед Западом вновь откроются конечные цели идеологического режима. Цели, которые никогда не скрывались, о которых Запад успеет забыть, но которые станут осуществимыми главным образом благодаря его помощи.

Цели разрядки

Каковы цели советской внешней политики? Как я уже сказал, по природе своей они ограничены лишь пределами Вселенной. Тем не менее, заглядывая так далеко

вперед, КПСС не упускает из виду более злободневные задачи, меняющиеся в зависимости от модели осуществляемой политики.

В период нэпа (или разрядки) цели эти *не ограничены в своих масштабах, но ограничены в интенсивности.*

Цели *не ограничены в масштабах*, ибо советское правительство питает живейший интерес ко всему без исключения международному обществу, которое заняло место в нэповской модели взаимоотношений. В дипломатию откомандировываются все таланты и средства. Политическая активность не может полностью проявиться внутри страны: там достаточно управлять уже завоеванным, и внутренняя политика в периоды нэпа мало интересна. Зато сколько захватывающих и хитроумных партий можно сыграть в политике внешней! Ко всему миру можно применить и трехстороннюю торговлю, и новую систему Витте. Вся вселенная должна способствовать процветанию советского государства и международного коммунистического движения. И система А, и система Б работают на всех парах, сливаясь в политику, охватывающую в своем безудержном движении все, не оставляя без внимания ни одного уголка земного шара. Усилить советское государство, подготовить условия для рывка вперед мирового коммунизма — вот две постоянных задачи, и они не знают географических границ.

Они знают, однако, *границы интенсивности* — границы самого нэпа. Его правило во внутренней политике — не резать курицу, несущую золотые яйца; и то же относится ко внешней политике. Вопрос, означает ли разрядка, что СССР отказывается «экспортировать революцию», — ложный вопрос. СССР «отказывается» экспортировать революцию временно — чтобы тем лучше подготовить ее победу, а для подготовки нужны сроки. К чему сокращать отсрочку, если она благотворна для могущества советского государства и международного коммунистического движения? Пользуясь языком традиционной дипломатии, можно сказать, что нэп,

как правило, — местные обстоятельства могут вести к исключениям — стремится скорее к *влиянию*, чем к непосредственному *господству*. Политика нэпа толкает международное — и советское — общество в загон, где оно останется под присмотром, пока партия не соберется с силами и не подчинит его своей прямой власти.

Так в общих чертах можно описать разрядку, которую мы наблюдаем с 1954 года, со времени первых зарубежных поездок Маленкова и Булганина, объявивших о ней Западу.

Теперь стоит поразмыслить о причинах, которые могут вызвать отказ от такой выгодной политики, и о том, какой была бы внешняя политика СССР, отвечающая внутреннему его повороту к военному коммунизму.

Конец разрядки?

Причин отказа от нэпа напрасно искать в международной обстановке. СССР заплатил смехотворно низкую цену за помощь от своих врагов — не переставая открыто угрожать им смертью. Достаточно было попросить, да что там — достаточно было кивнуть в ответ на услужливые предложения. Если бы это зависело от некоторых западных деятелей, разрядка могла бы расширяться, перейти в сотрудничество, наконец, в коллаборационизм в том самом смысле, который придал этому слову Пьер Лаваль в 1942 году. О банкире Дамбрезе, на смерть перепуганном революцией 1848 года, Флобер писал: «Он заплатил бы, чтобы продаться». Как часто капитализму не хватает простого мужества!

Искать причины надо внутри страны. Разрядка усугубляет внутренние последствия нэпа. Ее косвенное влияние в конце концов начинает ощущаться. Разрядка, позволяя некоммунистическим обществам жить по их усмотрению, формально объявляя мирное сосуществование, питает надежды советского общества. Оно не получает торжественных обещаний, не знает настоящей автономии, отношение к нему в лучшем случае может

быть терпимым. Угнетающие его репрессивные законы никак не отменяются, их действие всего лишь приостанавливается или немного смягчается. Крестьяне, рабочие, интеллигенты, национальные меньшинства, верующие — все с надеждой заглядывают по ту сторону границ коммунистического владычества. Они инстинктивно солидаризируются с закордонным миром, представляя его более совершенным, чем он есть в действительности, приукрашивая его своими мечтами и желаниями. Для них заграница — нечто вроде реализованной утопии. И тут кроется опасность для режима. Советские народы, наученные опытом, не рассчитывают на активную помощь Запада. Но он существует — и этого достаточно. Беззащитные под обстрелом пропаганды, заставляющей их верить в конкретность идеологической ирреальности, советские народы противопоставляют навязанной утопии коммунизма осуществленную утопию внешнего мира, воплощающую конечный этап их естественного развития. Заграница, так же, как человеческий, индивидуальный язык, своим существованием разбивает в прах идеологическую фальшивку. Именно поэтому, несмотря на все разрядки, запрещены поездки за границу.

Кроме того, разрядка может быть помехой для возвращения к военному коммунизму. Это, несомненно, гораздо более верно для окраин империи, чем для ее центра. На европейском бруствере Советского Союза расположены по меньшей мере два государства — Венгрия и Польша, — где нэп принял крайние формы, о каких никогда не мечтала ни одна советская республика. В Польше общество разрослось до таких размеров, что коммунистический аппарат иногда просто перестает замечаться. Режим проявляется только во всеобщей бедности, в навязанном отсутствии эффективности, в цензуре и полиции. Этого далеко не достаточно. Никто не знает, не перешел ли нэп тот последний порог, за которым польский коммунизм — уже сейчас существующий лишь благодаря советской оккупации — должен будет призвать «братскую помощь» и «пролетарский

интернационализм» для того, чтобы снова завоевать страну. Польша живет в страхе такой помощи. В Чехословакии пришлось ведь прибегнуть к сильнодействующим средствам и срочным порядком восстановить военный коммунизм. Несмотря на всю добрую волю Запада, это было, как говорили наши газеты и государственные мужи, «ударом для разрядки». Можно ли тем же путем подчинить Польшу и Венгрию, не положив временного конца разрядке?

Холодная война

Сломить общество, достичь абсолютной над ним власти, силой загнать его в утопию — все это требует от партии мобилизации всех наличных сил для внутренних дел. Прежде, чем предпринять такую рискованную политическую операцию, партия неизбежно ищет гарантий на международной арене. У нее есть недавний опыт такой ситуации: период так называемой *холодной войны*, совпавший с послевоенным, третьим военным коммунизмом.

С расстояния минувших лет кажется, что холодная война велась советской стороной очень экономно. Советская армия завоевала несколько европейских стран, и система А тотчас же насадила там коммунистические структуры. Наименьшей возможной ценой и с наименьшим риском советская дипломатия гарантировала спокойствие, необходимое для беспрепятственной советизации завоеванной зоны. Вне ее пределов внешняя политика оставалась достаточно пассивной: ей не хватало реальных средств. Обеспечив безопасность своих инвестиций в Европе — компартий Франции, Италии и т. д., — СССР отказался от активного влияния в районах, ему не подчиненных. В то время, однако, Запад, с некоторым ужасом следивший за советизацией Восточной Европы, видевший непомерное разбухание армии, пожирившей — как это обычно случается при военном коммунизме — большую часть ресурсов государства, поверил в непосредственную близость советской угрозы.

И Запад нашел в себе силы принять контрмеры. Немногие зарубежные авантюры СССР — блокада Берлина, война в Корее — были, как кажется, результатом тиранического и безответственного каприза самого Сталина, а не решением партии, которая, впрочем, впоследствии от них отмежевалась.

Цели холодной войны

Если, в противопоставление идеальному типу разрядки, постараться определить идеал холодной войны, можно сказать, что в принципе его цели *бесконечны в интенсивности, но ограничены в масштабах*. Интенсивность не ограничена, поскольку внешние районы, попавшие под власть компартии, третируются точно так же, как советское общество: они обязаны улесться в формы, предусмотренные идеологией. Это и стало уделом «стран народной демократии». Общества подгоняются под единую модель в сопровождении заверений, что иных моделей в мире не существует. Политика холодной войны делает нажим на унификацию, характерную для логократического режима. От Вьетнама до Веймара, от Гаваны до Йемена царствовать должен один шаблон, один язык, одинаковые газеты, те же общественные формы. Миметизм распространяется и на международное коммунистическое движение. Во время холодной войны французская компартия с гордостью подражала великой большевистской партии во всех мельчайших подробностях: от повадок и стиля руководителей до процессов, в точности похожих на процессы Райка и Сланского, с той лишь разницей, что вместо ухода в мрак физической смерти, французских коммунистов ждал уход в мрак внепартийного существования. Главной заботой партии в то время была прежде всего ее же чистота, цельность, точность и однозначность ее очертаний.

Масштабы этой политики, наоборот, ограничены в географическом пространстве. Она сознательно избегает

перехода границ непосредственно контролируемой зоны. Партия отнюдь не помышляет об отказе от мирового господства, но в данной обстановке ее воззрение на мир из центробежного становится центростремительным. Манихейство меняет форму. В период разрядки социализм и капитализм сражаются врукопашную, смешиваясь в космической битве. Холодная война выкапывает между ними непроходимые рвы, ставит железные занавесы. Они и Мы строжайше разделены, неподконтрольные области оставляются неприятелю, и лучше всего, пожалуй, когда он принимает самые отвратительные и легко разоблачаемые формы — «фашизма» или «империализма». Холодная война навязывает международному обществу правила игры, созданные партией для советского общества. Перед международным обществом ставится дилемма: или неукротимая враждебность, или подчинение. Разрядка, как и нэп, нацелена на *эксплуатацию*, тогда как холодная война — и военный коммунизм — на насильственную *трансформацию* везде, где она возможна. На традиционном дипломатическом языке можно сказать, что холодная война стремится скорее к местному прямому *господству*, чем к мировому *влиянию* (хотя и тут обстоятельства могут распорядиться иначе). Для внешней политики холодной войны, остающейся к услугам направленной вовнутрь политики военного коммунизма, главное — достижение стабильности.

Разрядка — дипломатия движения. Холодная война — дипломатия неподвижности. Ее довольно хорошо характеризует персонаж господина «Нет» золотых дней ООН. Но она способна принять облик гораздо более впечатляющий и угрожающий, чем разрядка. В колеблющихся районах политика холодной войны направлена на захват власти самыми жестокими большевистскими методами без оглядки на общественное мнение. Пусть пражский переворот ведет к поражению министров-коммунистов в Париже и Риме — это неважно. Важно произвести учет барышей и убытков, точно обозначить линию раздела, достичь стабильности, которая поможет

освободиться для хлопотливой задачи «построения социализма».

III.

Исторические факты — как и все другие — можно понять и оценить лишь сквозь призму некоей теоретической конструкции целого. Пользуясь парными сопоставлениями военный коммунизм — нэп, холодная война — разрядка, мы начертили схему, в пределах которой осмысливается наибольшее количество политических явлений. Для подтверждения или опровержения нашей теории мы обратились к историческому прошлому, отвлекаясь от подробностей, тонкостей и частных случаев. Нэп и военный коммунизм, разрядка и холодная война — политические модели, где одна служит прообразом другой, модели, восходящие к политике большевистской партии до 1917 года, подчинившей свои тактические объединения и расколы тому же высшему критерию обратимости.

Между нэпом и разрядкой, между военным коммунизмом и холодной войной существует очевидное средство; но как политический образ действий они могут быть разделены и применимы отдельно в виде местного исключения из генеральной линии. Так, выгодная ситуация дала толчок к советизации Кубы, прозвучавшей резким диссонансом в симфонии разрядки. Между тем, вокруг и вне кубинского эпизода разрядка продолжалась, и остров был оставлен под коммунистической властью.

Обратный пример: сразу же после войны и, как можно думать, по прихоти Сталина, разрядка в очень чистой и стабильной форме применялась по отношению к Финляндии.

Наша схема, основанная на фактах прошлого, бесспорна, однако, помочь нам в предвидении будущего. Она не позволяет даже сказать с уверенностью, держит ли советское правительство курс на новую политику,

или же оно и впредь будет лавировать между двумя моделями, не определяя точной линии, а может быть, не имея возможности ее определить. Действенность наших моделей от этого не пострадает, даже если на практике исчезнет проявлявшаяся ранее чистота шаблонов. Только оглянувшись назад из будущего можно будет судить, старалось ли советское правительство после 1964 года направлять развитие нэпа толчками, похожими на неудачные попытки перехода к военному коммунизму, или же все это время военный коммунизм был его постоянной целью.

Мы не знаем, что будет дальше. История вечно готовит нам сюрпризы. Идеология рисует историю безличной и прозрачной, тогда как она индивидуальна и таинственна. Никакая теория не даст нам власти над нашей судьбой. Хорошо уже, если она поможет нам разобраться в настоящем. Бесконечно сложная игра международной политики, где ни один из игроков не может похвастаться всеобъемлющим охватом событий, — и автор этих строк меньше чем кто-либо, — игра эта порождает вопросы, слишком хорошо известные чиновникам министерских канцелярий и журналистам. Сама постановка этих вопросов может быть неверной, но не пристало уклоняться от ответа на них, прячась за ширму «науки». Попробуем же с полным отсутствием уверенности ответить на некоторые из этих простодушных вопросов.

Брежнев и разрядка

Искренне ли желание разрядки у Брежнева? Мне думается, что ответ прост: конечно, да. Разрядка — это не уступка, это сознательная политика, которую КПСС пытается навязать своим противникам. Добавим, что даже когда она с той же решимостью переходит ко второй модели внешней политики, ни от разрядки, ни от выгод разрядки она не отрекается. Если нельзя воспользоваться благодеяниями разрядки по всей планете, то

пусть от нее будет хотя бы немного пользы в местном масштабе. В 30-е годы, в зените военного коммунизма, Сталин умело вел политику разрядки с западными демократиями, в то же время прилагая все силы к советизации испанской республики. Его политика разрядки по отношению к Гитлеру после германско-советского пакта поражает своей безупречностью. Это был, пожалуй, единственный случай двусторонней разрядки, когда каждый из партнеров эксплуатировал другого с открытым намерением уничтожить его несколько позже. Разрядка, как и нэп, асимметрична. Взаимная разрядка возможна лишь между двумя идеологическими государствами. Эти шаблоны — разрядка и холодная война — могли бы управлять взаимоотношениями коммунистических стран.

Следует ожидать, что даже после явных признаков перехода к более, как говорится, «жесткой» политике, Брежнев будет с увеличенным рвением обвинять Запад в нарушении принципов разрядки. И он будет прав, если международное общество перестанет вести себя, как подобает в период разрядки, и воспротивится «неумолимым законам истории».

Китай

Западные эксперты (Гаррисон Солсбери) часто предсказывали близость советско-китайской войны. В своем письме вождям Советского Союза Солженицын считает ее крайне вероятной, почти неизбежной. Народные демократии возлагают на нее все свои надежды. Мне неизвестны планы советской армии, и все же у меня есть на этот счет серьезные сомнения.

Я не верю, что Китай — динамичная держава, как думает опасавшийся ее Солженицын. Не исключено, что коммунистическая революция подорвала силы этой замечательной нации, так же как подорвала раньше силы очень динамичной Российской империи. Наблюдая послевоенные достижения Японии или расцвет Тайваня,

Гонконга, Сингапура, можно поразмышлять о том, чем мог стать Китай, не будь революции, каким могло быть его влияние на юге пустынной Сибири и колонизованного Туркестана. Сегодня граница пролегает между двумя концентрационными системами. Магадан и Колыма мало прельщают обитателей «Школ 7-го мая», «Северных коммун» и других китайских концлагерей с такими же жизнерадостными названиями, — можно полагать, что обратное так же верно. Китайское население, пишет Солженицын, «еще не успело с 1949 года утратить своего исконного высочайшего трудолюбия — выше нашего сегодняшнего». Кто знает? Нельзя безнаказанно мобилизовать трудолюбивый народ для бессмысленных целей. Нельзя безнаказанно заставлять вежливых, скептических и тонких людей распевать хором мысли председателя Мао. Похоже, что вот уже 25 лет, как Китай застрял в неудавшемся военном коммунизме, пустившем слабые корни и не успевающим дать все свои плоды. Мне трудно представить, чтобы эта страна могла лелеять планы вооруженного захвата своего великого соседа.

А Советский Союз? Развяжет ли он войну для того, чтобы доказать, как говорит Солженицын, что «именно на 533 странице ленинского тома написана заветная истина, а не на 335-й»?

Для всех идеологических режимов возрождение плюрализма и свободы слова в любой из точек их мирового царства представляет серьезную опасность. В отличие от всех революций прошлого, за коммунистическими революциями до сих пор не последовала *реставрация* (под реставрацией я подразумеваю отказ от утопических целей и конец разлада между всеобщей реальностью и реальностью идеологической). Английская и французская революции закончились реставрацией. Революции нацистской реставрация была навязана извне. Но в Венгрии и Чехословакии ее раздавили в самом зачатке. Народы, живущие при «социализме», получили великий урок: история никогда не возвращается назад, а будущее

навечно посвящено невозможному воплощению утопии. Режим требует вечного повиновения самодержавной власти мертвого языка. Неважно, записано ли мертвое слово на 533-й или на 335-й странице, неважно, ибо назначение его — не пробуждать веру, а уничтожать живое слово. Режим был стократ прав, свернув шею плюралистическому разложению компартий Венгрии и Чехословакии, вернув к идеологической норме язык, на котором говорит общество. Риск заразы слишком велик.

В Китае, однако, монополия никем не ставится под сомнение. Напротив, разрушение языка, культуры, морали зашло там, как кажется, дальше, чем в СССР. Китай (вместе с Румынией) понижает, разумеется, международные акции советского режима, но смертельной опасности он не представляет. В этом смысле китайская проблема — внутренняя проблема международного коммунистического движения. С решением ее можно подождать.

Независимость Китая опирается на прочнейший фундамент из неделимого сплава ленинской идеологии и национализма. Поэтому задача состоит во включении его в схему внешней политики, определенной системами А и Б. Известно, что советская партия ищет поддержку и союзников внутри китайской партии. Известно также, что значительная часть советской армии дислоцирована на китайской границе. Вне сомнения, СССР сделает все от него зависящее для ослабления КНР. Можно даже приписать СССР стремление задушить в зародыше китайскую ядерную силу. В действительности он этого не делает. Из всех причин советской осторожности — или бездеятельности — хочется подчеркнуть следующую: политика по отношению к Китаю не может развиваться ни по правилам холодной войны, ни по правилам разрядки. Разрядка выгодна, если партнер производит богатства, которые можно обратить в пользу для советского государства. Самое замечательное достижение китайского режима в лучшие годы состояло в наполнении рисом чашек своих подданных и содержании грозной

армии. Ни излишками хлеба, ни золотым запасом и валютой Китай не располагает. С другой стороны, каким путем советская коммунистическая партия могла бы заставить китайское общество принять военный коммунизм? Китай — не ГДР, ни по своему прошлому, ни по удельному весу. Для такого дела не хватит китайской партии.

Одним словом, в свете двух возможных моделей политики Китай не поддается ни *эксплуатации*, ни *трансформации*. В такой ситуации сама собой напрашивается политика выжидания.

Призрак китайской опасности, разумеется, так же полезен для советской внутренней политики, как призрак советской опасности — для внутренней политики Китая. Не исключено, что война разгорится из-за причин, рациональности которых я не в силах уловить. Я не вижу в такой войне стратегического смысла. Победа той или другой стороны не решила бы проблемы великой конфронтации между коммунизмом и «капитализмом». Война была бы опасной, изнурительной, она велась бы бедными государствами, и победа в ней навряд ли вообще возможна. Нельзя выбрать хуже поля для великого сражения.

Европа

Те же причины, которые отводят острие советской внешней политики от Китая, направляют его в сторону Европы, стратегического района решающего значения. Изолированную от США, Европу можно завоевать почти без боя. Иногда выдвигают аргумент, что у СССР достаточно хлопот с управлением одной половиной Европы. С тем же успехом можно утверждать обратное: плацдарм легче держать в руках, когда он уже не плацдарм, а часть занятой территории. Австро-Венгерская монархия надеялась некогда разрешить славянский вопрос, разрушив сербский бастион; точно так же облегчилась бы задача Советского Союза, если к Восточной Европе он присоединил бы Западную.

Европа — лучшее место для осуществления последовательной разрядки: она богата и разобщена. Наибольшего успеха в рамках системы А международное коммунистическое движение добилось, помогая углублять это разобщение, настолько уже укоренившееся, что для его поддержания достаточно простых средств системы Б. Разве не раздавались во Франции полуофициальные заявления, что европейское объединение невозможно, что создание интегральной европейской системы обороны нежелательно, ибо «этого не хочет советское правительство»? Оборонная структура, не очень слабая, но и не настолько сильная, чтобы противиться повороту политики государства, — вот всё, что позволено советскому обществу в период нэпа, международному обществу в период разрядки. Наши министры доказали, что правила игры им известны. Коммунистом быть не обязательно, но нельзя быть антикоммунистом; можно оставаться «капиталистом», но нельзя проявлять антисоветские настроения. У Франции есть только друзья, и у французской армии нет четко обозначенного противника.

При всем том неплохие результаты в Европе может принести и холодная война. Как я говорил, холодная война стремится к разделу, к местным трансформациям, к точному подсчету прибылей и убытков. Обстановка может сложиться так, что ничто не помешает новому разделу, вследствие которого в сферу активной коммунизации попадут области, оставленные Советским Союзом после 1945 года. В конце концов, в самом крохотном кантоне Западной Европы больше коммунистов, чем во всей Восточной Европе, хотя большинство из западных коммунистов можно бы упрекнуть в излишней «наивности». Конфисковать типографии, радио, телевидение, ликвидировать свободный рынок, расколоть социальные классы, уничтожить взаимосвязь между людьми, наглухо запереть все границы, чтобы каждый народ сидел в своем закутке, не видя соседей, — сделать все это, и порядок обеспечен на долгие годы. Совети-

зация Восточной Европы занимала коммунистическое движение десять лет. Сколько же новых возможностей даст завоевание Западной Европы! Вот где коммунизм найдет второе дыхание!

Самых проницательных наблюдателей удивила легкость, с какой СССР собрал в Хельсинки европейские государства, когда столько труда ему стоит создать в одно место компартии тех же стран. Как получилось, что система Б — межгосударственная, а значит настроенная на конфликты — срабатывает быстрее и эластичнее, чем система А, действующая через каналы международного коммунистического движения? По всей видимости, программа, принятая ныне европейскими компартиями, весьма скромна, а стиль ее больше подходит переговорам между государствами, чем диалогу между коммунистическими партиями.

В Хельсинки от западных государств требовалось лишний раз, но с особой торжественностью, выразить согласие на разрядку. Что они и сделали, не забыв, однако, принять некоторые меры для сохранения туманности термина, чтобы неизвестно было, как его понимать: то ли в общепринятом смысле, то ли в смысле, какой придает ему СССР. Результатом была полная двусмысленность: СССР громко и ясно возвестил миру свое толкование, а Запад остался при своем — более или менее расплывчатом. Но встреча в Хельсинки содержала еще один аспект: она провела четкую и непреодолимую черту вокруг советской зоны в Европе. Это энергичное напоминание о пределах, которых не смеет нарушить международное общество в условиях разрядки, было, возможно, своеобразным указанием на то, что разрядка приближается к концу и близок очередной поворот. Формула «то, что наше — наше, а о вашем мы еще поторгуемся» может годиться и для разрядки, и для холодной войны — в зависимости от того, где ставится ударение: на слове «наше», или на слове «поторгуемся»; в зависимости от участи, уготованной «нашему», и от близости срока переговоров.

Намек был слишком тонким для западных государств. Куда шел Запад? Знал ли он истинный смысл разрядки? Если знал, то не лучше ли было подписать еще один договор — чтобы продлить ее? Чтобы завтра было таким же, как и вчера...

Нужно отдать должное европейским коммунистическим партиям: они прекрасно поняли намек. Не исключено, что им известно о намеченном КПСС повороте политики, о готовящемся возврате к военному коммунизму, о связанной с ним новой холодной войне. Если все это так, не удивительно, что между ними существуют различия во мнениях, продиктованные разными насущными интересами.

Цель европейских компартий — захват власти. Цель КПСС — сохранение власти. Разница огромна. Лишь после прихода к власти открываются возможности политического выбора между военным коммунизмом и нэпом. Такой выбор чужд западным компартиям. Их проблематика — аналогичная по структуре — принадлежит к более старому слою ленинизма, где в совершенно новом контексте сталкиваются сектантство и оппортунизм, левизна и ликвидаторство.

Заведовать утопией — одно дело, готовить ее пришествие — совсем другое. Внутренний ритм каждой западной компартии смещен по сравнению с ритмом КПСС. Разумеется, западные партии ощущают свою принадлежность к международному коммунистическому движению. Они знают, насколько ценно для них существование советского государства, насколько необходимо единство. Они подчиняются «пролетарскому интернационализму» из здравого рассудка и из политической последовательности. Анни Кригель очень точно заметила, что западные коммунисты следуют за Москвой потому, что они большевики, а не потому, что Москва их принуждает к этому с помощью какой-то системы дистанционного управления. Западные коммунисты вполне независимо выбирают свою зависимость. И тем не менее, разноритмность вызывает напряжение. Для его преодо-

ления советская компартия содержит внутри западных компартий полуподпольный аппарат, а те смотрят на него сквозь пальцы.

Как правило, напряжение обостряется, когда поворот в Москве заставляет братскую партию отказаться от политики завоевания власти в момент появления первых ощутимых результатов.

Если новая холодная война принесет новый раздел Европы, если подвластная большевикам зона расширится, а «свободная» — если можно так выразиться — зона сократится, будет вполне естественно, что западные коммунистические партии не захотят оставаться на пожертвованной территории. Как трудно им будет лишиться надежды на власть, бороться с изоляцией, вопреки всему защищать Советский Союз — как нужно было защищать после германо-советского пакта, после блокады Берлина, — как трудно будет испытывать власть общества, самим оказавшись в положении, отведенном обществу при нэпе!

Между тем, политическая линия в паре с обстоятельствами поставила коммунистические партии во Франции и Италии на расстояние вытянутой руки от власти. Как заметил Раймон Арон, они впервые могут надеяться завоевать государство через общество, а не как было до сих пор, общество через государство. Разногласия между французской и итальянской партиями касательно новой линии объяснимы, быть может, в свете разницы в их анализе возможностей прихода к власти — в атмосфере разрядки или же холодной войны. Над итальянской партией тяготеет другое подозрение: она будто бы слишком далеко зашла в политике примирения, теряя свою способность дать задний ход и тем самым соскальзывая в *оппортунизм*. Раньше или позже это должно повести к изменению характера самой партии, к социал-демократизации. Не будем об этом судить. Учитывая, что контроль идеологии в области культуры и средств коммуникации в Италии еще сильнее, чем во Франции, можно усомниться в обоснованности подозрения. Разрядка

укрепляет общество вне и вокруг коммунистической партии Советского Союза — то же происходит в Европе. Французская компартия очень хорошо сопротивляется эрозии. Может быть, это меньше удалось тесно связанной с обществом итальянской партии. В такой ситуации возвращение к холодной войне было бы хорошим способом помочь международному коммунистическому движению остаться самим собой.

В перспективе грядущего раздела объясняется и разница в политике португальской и испанской компартий. Партия г-на Куньяла бросилась на штурм власти в строжайшем порядке, как на маневрах, следуя заветному большевистскому *Kriegspiel*. Такого точного подражания революционному сценарию не было со времен Октября. Иначе дело обстоит в Испании. Г-ну Карильо досталось более опасное наследство. На его партии тоже проступает клеймо оппортунизма.

Хотелось бы продолжить анализ, но избежим риска потерять контакт с реальностью. Поживем — увидим.

Ближний Восток

Война 1973 года — хороший пример того, что СССР, продолжая разрядку, никогда не упускает случай поживиться, где только можно. Искушение было большое: обеспечить себе дружбу арабских стран, унижить Израиль, ослабить южный фланг Европы, воспользоваться нефтью как средством шантажа. Крах сионизма обескуражил бы советских евреев, а вслед за ними и другие национальности, ищущие освобождения. Таким образом стоило труда вооружать и обучать арабов, пойти на конфликт. Победа арабов не была необходимой. Для советских планов важно было, чтобы Израиль не одержал сокрушительной победы. Дело в том, что присутствие Израиля гарантирует верность и подчиненность арабских стран Советскому Союзу. Не добившись решающей победы, Израиль вел бы переговоры с уязвимых позиций; тогда СССР мог бы играть роль посредни-

ка, выставляя напоказ свою умеренность. Политические барьеры от операции потекли бы в советский карман. Кроме того, дав согласие на дальнейшее существование лишённой части территории Израиля, СССР не поставил бы разрядку под угрозу, наоборот, он смог бы с тем большей силой навязать ее Западу. Война 1973 года не дала, однако, желанных результатов — благодаря успешным действиям израильской армии и резкой реакции США. За два истекшие с тех пор года обстановка изменилась. Гипотеза установки политического курса на раздел подтверждается как на Ближнем Востоке, так и в Европе. На Ближнем Востоке тоже есть территория неустановившегося равновесия: Ливан. Формальное признание Израиля Советским Союзом — выгодное, пока к Ближнему Востоку прилагалась общая схема разрядки — теряет смысл в контексте холодной войны, оно может помешать четкому разграничению друзей и врагов, подчиненных и неподвластных зон.

В связи с этим мне кажется, что недавняя резолюция ООН инспирирована Советским Союзом. Термин «расизм» в принципе чужд словарю арабского мира. Он взят из словаря нацизма и антинацизма. До сих пор смысл его был сравнительно точен: он относился к расам, существующим в действительности, хотя совсем иначе, чем в псевдобиологии расизма. Сионизм же построен на понятии народа и абсолютно игнорирует понятие расы. Применение к нему термина «расизм» полностью фальсифицирует сам термин. Отныне «расизм», вместе с «империализмом» и «фашизмом», вошел в состав тех неопределенных понятий, которыми по желанию идеологической власти в любой момент можно клеймить любого противника (в этом состоит одно из преимуществ большевизма перед нацистской идеологией). В оставшееся еще время, посвященное разрядке, международное общество будет прилежно заучивать новую лексику. В самом же Советском Союзе легко будет устранять еврейских кандидатов на эмиграцию в Израиль, применяя к ним суровые наказания, преду-

смотренные советским кодексом за проявления расизма или антисемитизма.

Война и мир

Всё сходится на том, что гипертрофия советских вооруженных сил создает угрозу новой мировой войны. В 1939 году Германия начинала войну в состоянии слабой подготовки, в рискованной стратегической ситуации, не предполагая будущего размаха военных действий. Во всех этих отношениях советская армия занимает сегодня гораздо более удобное положение. До недавнего времени Советскому Союзу лишь с трудом удавалось удерживать шаткое равновесие сил со своим главным противником; но если он придет к убеждению — верному или ложному, — что отныне «ту же политику» он способен вести военными средствами без риска взаимного уничтожения, то искушение может оказаться слишком большим. —

Все может случиться. Подчеркнем, однако, что в идеологической сфере война считается самым крайним средством. Понятие разрядки издавна существует в советском словаре, где она звучит более полно: *ослабление напряженности*. Но в этом словаре отсутствует понятие холодной войны.

Я все время принимал точку зрения Коммунистической партии Советского Союза и заимствовал термины из ее обихода. Выражением «холодная война» — родом с Запада — я воспользовался в виде исключения как удобным обозначением одной из моделей советской внешней политики. В советских же текстах эпохи холодной войны (1945-1953) ей дано совсем другое название: *защита мира*. Вся история советской внешней политики — это колебание маятника между *защитой мира* и *ослаблением напряженности*.

Внутри идеологической сферы эти названия полностью оправданы. Истинной свободы нет в таких странах, как Франция, потому что коммунистам в них не предоставлена полнота власти. Точно так же не может

быть прочного мира, пока коммунизм вынужден мириться с разделом земного шара, а на подвластной ему территории должен, сохраняя власть, без усталости бороться с неуловимым, проецированным вовне врагом, имя которому «империализм». *Защита мира* неотделима от построения социализма. Советские войска, стоявшие на границах Восточной Европы, где полным ходом шла советизация, стояли на страже мира. Защита мира носит активный и временами наступательный характер. Занимая Чехословакию, войска Варшавского пакта одновременно совершали акт пролетарского интернационализма и защищали мир, о чем публично засвидетельствовал г-н Гусак. Во время разрядки построение социализма откладывается, или, по меньшей мере, несколько замедляется. Становится возможным ослабление напряжения. Но как только возобновляется строительство социализма, как только наступает поворот к более жесткой или, как пишут журналисты, твердой политике, на первый план снова выходит защита мира.

Тот же урок можно усвоить и вне идеологической сферы. Раймон Арон любит подчеркивать, что по Клаузевицу войну развязывает не агрессор, вторгшийся во главе своих армий на территорию соседа; если сосед смирится перед лицом насилия, насилие не переродится в войну. Воистину начинает войну тот, кто с оружием в руках выступает против захватчиков. СССР не вел войну в Чехословакии, потому что Чехословакия не начала войны против СССР.

Итак, Западная Европа может без труда разобраться, в чем состоит ее истинное благо. Советская армия пользуется не принуждением, а убеждением, ее роль — воспитательная. В ней воплощены исторические законы, в ней — *ultima ratio** идеологии. Решение о войне принадлежит не советскому правительству, которое всегда будет считать себя связанным своей постоянной политической мира. Решение это принадлежит нам. Вступление в

* *Ultima ratio* (лат.) — последний довод, последнее средство (*Прим. перев.*).

Европу частей советской армии, если такое случится, никогда не будет рассматриваться советским правительством как акт войны; оно, несомненно, постарается, чтобы и мы приняли это событие не как агрессию, а как защиту и освобождение, и встретили бы советских солдат цветами.

IV.

Что делать? К чему обратиться? Открыть еще один раздел, говорить о США и их союзниках, о том, что носит весьма неточное название Запада? Тема эта совсем другого порядка, для нее нет места в нашем кратком трактате. Тема эта более трудная, ибо Запад не поддается анализу с помощью схем настолько упрощенных, как те, которые управляют советской политикой. Наш мир конкретен, круто замешан, сложен, разнообразен, как сама природа. Не созданный по теории, он служит плохим объектом для теоретизирования. Советский мир в силу его отвлеченности трудно понять, но благодаря ей же структура его проста.

Загадка

Упростим проблему. Сузим рамки вопроса. Оставим в стороне внутреннюю политику Запада. Воздержимся от рассуждений о «кризисе Запада». Из обширной области внешней политики остановимся лишь на сношениях западных стран с советским государством. Поставим только один вопрос: в чем состоит интеллектуальная трудность понимания внешней политики советского правительства? В конце концов, это никак не тайная деятельность, открывающаяся лишь посвященным в сокровенный ритуал. Все, что я говорил здесь, целиком и полностью содержится в сочинениях Ленина, распространяемых на всех языках и по доступной цене тем самым правительством, о намерениях которого весь мир вот уже 60 лет теряется в догадках. Чего же, в конечном

итоге, хочет СССР? Но ведь он открыто говорит об этом. Почему самые изоциренные наши эксперты никак не могут разобраться, что происходит в голове дипломатов, внешний вид которых отнюдь не позволяет предположить венецианское лукавство и флорентийскую утонченность? В г-не Громыко, четверть века распределяющем попеременно то холодную войну, то разрядку, нет ничего от Талейрана. Почему же эти грубые маски, эти непозволительно откровенные методы вселяют в наших дипломатов неясное ощущение, что их обвели вокруг пальца?

Совпадение целей

Одно наблюдение позволяет нам приблизиться к разгадке. Со времени немецкой капитуляции западная политика ставит перед собой цели, чудесным образом совпадающие с целями советской политики.

В холодную войну одно слово определяло политику Джона Фостера Даллеса: containment, сдерживание. Само собой разумеется, что военный коммунизм стремится к разделу не по своей воле, а под давлением обстоятельств. Если бы за Эльбой открывалось пустое пространство, советизация на ней не остановилась бы: ее задержало присутствие американцев, и СССР предпочел завоевание вглубь завоеванию вширь. В этой обстановке трудно представить себе политику, более подходящую для Советского Союза, чем создание оборонительного коридора вокруг «стража мира». Граница между занятой и оставленной зонами стала прочнее — эту-то цель и преследовала, между прочим, советская политика.

Еще более симметричной была реакция Запада на разрядку. *Политика сдерживания* могла считаться лишь приблизительным эквивалентом *защиты мира*, но *ослабление напряженности* вдруг оказалось совместной задачей. То же слово, то же выражение стало общим лозунгом держав-противников, не перестававших стремительно вооружаться. Запад как бы намеренно брал на себя

написанную для него советским партнером роль, не требуя ничего в обмен ни за свою пассивность перед лицом защиты мира, ни за свое деятельное участие в разрядке. Все произошло, как будто у Запада были те же цели и ни о чем другом он не собирался и думать. Политика отпора никогда серьезно не принималась во внимание, но и неприятие разрядки, возможность заключить Советский Союз в тетто в тот самый момент, когда он собирался из него выйти, — тоже никогда не стояли на повестке дня.

На мой взгляд, есть только одна постоянная и общая для западных стран причина такой политики: они хотят ввести СССР в мировое сообщество держав. Они относятся к Советскому Союзу, как к государству такому же, как все другие, и надеются, что в конце концов он будет вести себя согласно их желаниям. Одним словом, они стараются воспитать Советский Союз. В период *защиты мира* они защищают мир, ясно очеркивая границы, которых нельзя переступить под страхом войны. В период *разрядки* они следуют кодексу хорошего тона в отношениях между государствами, решившими сосуществовать, и хотят, чтобы их партнер постепенно усвоил тот же кодекс. Так пишутся правила общей грамматики, в которой слова «война» и «мир» означают одно и то же для разных систем.

Экспорт революции

У западных государств отработан безотказный тест, испытывающий намерения советской внешней политики: отказ «экспортировать революцию». В тот день, когда система А будет навсегда разоружена, когда советская политика станет пользоваться лишь средствами системы Б, СССР завоеует респектабельность в глазах западного мира.

До сих пор тест этот давал только отрицательные результаты. Едва был распущен Коминтерн, как эстафетную палочку перенял Коминформ. В свою очередь

распущенный, он передал свои функции комиссии ЦК по связям с братскими партиями. В то самое время, когда французское правительство строжайше придерживалось принципа национальной независимости и тешилось полным на этот счет пониманием со стороны советского правительства, оно смотрело сквозь пальцы на тот факт, что первый секретарь самой большой партии во Франции избирался по соглашению со специальной комиссией того же советского правительства, перед которой этот первый секретарь совершенно открыто отчитывался по нескольку раз в год.

Советское правительство не может отказаться экспортировать революцию, даже если бы оно этого хотело. Такой отказ был бы равносителен отказу от идеологии и, следовательно, от власти. Пусть идеология топорна, как это, по большей части, еще имеет место в западном коммунистическом движении, пусть от идеологии осталась лишь словесная шелуха, как в советской империи, — форма ее та же, содержание то же, и все то же устремление к универсальности. Чаяния, которые собрали вокруг Ленина первых коммунистов, не были скромными: они мечтали переделать общественный строй и природу, старый мир заставить разрешиться новым, обещанным доктриной, сотворить новое небо и новую землю. Их видение мира не ограничивалось никакими заранее заданными пределами. Оно ставило в центре абсолютное знание, постепенно группирующее вокруг себя все бытие, все знания, даже генетику Лысенко, даже лингвистику Марра. Великие устремления, божественное видение. Именно в нем и только в нем вся законность коммунистической власти. Отказавшись владеть вселенной, она потеряла бы право владеть самым крохотным районом. Она заточена в дилемме «все или ничего» и обречена быть ничем, если не может быть всем. Внутренняя последовательность принуждает братские компартии к солидарности с Советским Союзом. Обратное не менее верно.

Разрыв

Но и это еще не ключ к разгадке. Парадокс, сбивающая с толку антиномия кроется в другом. Ее источник — простой факт; утопия может прийти к власти, но власти недостаточно для ее осуществления. Шестьдесят лет непрерывных усилий не устранили разрыва между тем, чем должна быть Советская страна, и тем, что она есть в действительности. Будь утопия моральной, разрыв между желанным и свершенным считался бы в порядке вещей: коммунизм представлял бы собой «идеал», к которому, не претендуя его достичь, можно постоянно стремиться. «Будьте святыми, как я», говорит Вечный своему народу, — и народ прилагает к тому все силы, зная о неосуществимости своего порыва. Но утопия научна. Высшая природа должна была естественным путем развиться из природы, высшая реальность, т. е. ирреальность — из реальности. Так не случилось. Не было даже признаков родовых схваток. Умирная русская империя тысячекратно растиралась, перемещивалась, вливалась в форму идеологии, но тесто по-прежнему упрямо приставало к ее стенкам. Между Советским Союзом подлинных свидетельств и Советским Союзом газет, официальных журналов, подцензурных показаний туристов открывается зияющая пропасть, такая же, как в первый день, пропасть абсолютная, неустранимая. Идеология остается привидением, блуждающим в поисках плоти — воплощения не произошло. *Социализм* не смог выйти из состояния потенции, из ожидания благодати. Построение социализма свелось к построению фикции.

Увы, у России для этой роли традиционные дарования: «Россия обманывает и лжет, — писал Мишле в своих «Демократических легендах Севера». — Это фантазматория, мираж, это царство иллюзии... крещендо лжи, видимости и иллюзий».

Почти столетием позже, в 1938 году, Борис Суварин, обогащенный тяжестью опыта, писал: «СССР — страна

лжи, лжи абсолютной. Сталин и его подданные лгут всегда, каждую минуту, при любых обстоятельствах, они так лгут, что уже сами не знают, что лгут. И когда все лгут, никто не лжет, говоря ложь. Там, где лжет всё, не лжет ничто. СССР — это ложь от фундамента до шпиля на башне, ложь и ничего более. В четырех словах, скрытых под его инициалами, не менее четырех обманов. На каждую статью Конституции приходится по несколько неправд. Ложь — это естественная среда псевдосоветского общества. Сталин, согласно самому основному закону, не существует: ложь. Политбюро, согласно официальным документам, никогда не существовало: ложь. Партия — лучшие представители народа: ложь. Права народа, демократия, свобода: ложь. Пятилетние планы, статистика, результаты, достижения: ложь (. . .) собрания, съезды: театральная комедия. Диктатура пролетариата: гигантский обман. Спонтанность масс: тщательная режиссура. Правые, левые: ложь и ложь. Стаханов: обманщик. Стахановское движение: обман. Радостная жизнь: мрачный фарс. Новый человек: бывший громила. Культура: бескультурье. Гениальный вождь: тупой тиран. Социализм: бесстыдная ложь . . .» Я готов подписаться под этим суждением с одной оговоркой: эта ложь не настоящая. Немного дальше я объясню мою мысль.

Со времени свидетельства Суварина прошло сорок лет. Миллионы русских родились, состарились, умерли. Много раз зеленели и отцветали поля. Огромные города, колоссальные заводы строились и проходили в упадок. Все рождалось, росло, увядало. Только одно избежало вечного круговорота жизни: социализм. Он существовал в виде теории в ленинском мозгу. 7 ноября 1917 года Ленин пришел к власти, но социализм остался теорией. Власть покоилась в тех же руках, действительность менялась, но социализм сохранил чистоту и нетленность небывшего. Что же было делать коммунистической власти, целиком основанной на истинности, на научной безошибочности теории?

Во-первых, нужно было *притворяться*. По мере того, как действительность все дальше и дальше уходит от «социализма», официальный язык описывает ее как «строящийся социализм». Между реальностью и ирреальностью появляется трещина. Искусство владеть речью заключается в том, чтобы придать словесной реальности как можно большее внешнее сходство с действительной реальностью. Но чудо *adaequatio rei et intellectus**, вернее, адекватности предмета и слова никогда не приходит. Разлад этот необходимо, однако, отрицать самым принципиальным образом. Поэтому нужно, чтобы люди опровергли реальность и голосованием, аплодисментами, широкими улыбками утвердили ирреальность. Для этого же необходим террор. Суварин пишет: «Единственная реальность: террор, разлагающий умы и отравляющий сердца. Ложь — первое и неизбежное следствие террора». По-моему, нужно изменить порядок фразы: единственная реальность: фальсифицированное слово, разлагающее умы и отравляющее сердца. Террор — первое и неизбежное следствие лжи. Солженицын в первую очередь разоблачает не террор. Он разоблачает ложь.

Во-вторых, власть обречена снова и снова пытаться совершить невозможное воплощение утопии. В этом смысл описанных здесь двух моделей политики: военного коммунизма, нацеленного на трансформацию или уничтожение всего, что сопротивляется партии, и нэпа, предназначенного усилить партию, т. е. улучшить и укрепить форму, в которую еще раз будет влита реальность.

Оба эти маневра могут требовать от партии ловкости, тактической сноровки, политического чутья, — но принцип их очень несложен. Это, по сути дела, предварительные, вступительные действия, они остаются вступи-

* Здесь: адекватность предмета и представления [о нем] (*лат.*) — в более широком смысле: классическая формула, восходящая к Аристотелю и Плотину, устанавливающая соответствие между объектом и субъектом (или бытием и чистым разумом): в уме [принимаемом как высшее начало сознания и самосознания в космосе и человеке] мысль и объект мысли совпадают. (*Прим. перев.*)

тельными и посейчас, несмотря на шестьдесят лет напряженных усилий. Прделан кровавый и тяжкий труд, но в фундаменте социализма по-прежнему не хватает первого камня. Потому-то грубая схема военного коммунизма и нэпа позволяет упорядочить и осмыслить столько событий, столько фактов: работу то и дело нужно начинать сызнова, обращая то к одной, то к другой политической линии, и ту и другую поочередно ждет провал, но выбора нет, и схема неумолимо повторяется.

Удалось ли мне приблизиться к ответу? Почему же, еще раз, почему не всем это ясно, почему разъяснения в учебниках советских авторов не принимаются всерьез? Неужели для того, чтобы понять такую простую, такую самоочевидную систему, необходимо иметь глубокий физический опыт советской действительности — жить в стране, быть какое-то время коммунистом — или же иметь метафизический опыт небытия? Может быть и необходимо. Но есть и более обыденные причины. Вернемся к международному обществу, к его политике по отношению к СССР. Рассмотрим вкратце две сильнодействующие и распространенные причины непонимания.

Незнание и страх

Незнание. СССР окутывается тайной; пользуясь разрядкой, он эффективно контролирует источники информации, иностранных корреспондентов, редакции европейских столичных газет, радио и телевидение. Во имя разрядки — общей цели Востока и Запада — нетрудно добиться известной сдержанности средств информации. Кроме того — признаться ли? — существует страх, существует трусость. Они извинительны. Бог знает, что может случиться. Но наряду с этим широко распространено заблуждение, которому подвержены люди, искренно пытающиеся что-то узнать и понять, и вот это заблуждение наиболее любопытно с чисто познавательной точки зрения.

О нем, впрочем, смутно догадываются. «Европа была неоднократно захвачена врасплох сокрушительной силой влияния России, внушившей страх западным

странам. Ему покорялись, как чему-то роковому; ему оказывали сопротивление лишь разобщенными, единичными и случайными усилиями. Но это магическое действие, производимое Россией, сопровождается постоянно возобновляющимся скептицизмом; этот скептицизм следует за ней, как тень, растет вместе с ней, примешивая острые нотки иронии к стонам агонизирующих народов и высмеивая ее действительное могущество, как зловещий фарс, разыгранный с целью ошеломления и надувательства. Другие империи вызывали в самом начале их возникновения подобные же сомнения; лишь одна Россия стала колоссом, не переставшим вызывать удивление». Эти слова Карла Маркса более подходят к советской России, чем к России Николая I.

Ложная симметрия

Я предлагаю следующую гипотезу: наши затруднения понять советскую систему по большей части происходят от естественной и сознательной нашей тенденции ставить между ней и нами знак симметрии. Человеческий разум создан для жизни в однородном мире. Общение с другими редполагает разделение с ними той же реальности. Руководствуясь своим желанием ввести СССР в содружество наций, международное общество вынуждено делать то же, что делает коммунистическое движение, — *притворяться*. В переговорах с советским государством, отрицающим раздвоение реальности, при каждом соглашении, при каждой декларации международное общество должно волей-неволей делать то же самое. Привычный оборот мысли даже и экспертов заставляет прилагать к этой совершенно новой исторической формации категории, представляющиеся универсальными, но в действительности неприменимыми именно в данном случае.

Я говорил о двусмысленности понятия «экономика» в контексте советской системы производства. Но и само понятие советского общества спорно, если считать таковыми организованные отношения и взаимные услуги, закрепленные в правовых и социальных институтах.

Институты в советской действительности фиктивны или декоративны, и никакой взаимности не может быть между обществом и партией-Государством, живущим в мире идеологии и неспособным воспринимать реальное общество. Можно ли вообще говорить о советском режиме, если помнить, что он не вмещается ни в определение Аристотеля, ни в определение Монтескье, не соответствует никаким известным формам хорошего правления (хотя и претендует синтезировать их все вместе), ни известным формам плохого правления. Собственно говоря, это не тирания — я писал об этом — и не деспотизм. Но если первичные, фундаментальные понятия, соприкасаясь с советским миром, становятся неадекватными и требуют пересмотра, то что же происходит с зыбкими постройками, возведенными на базе этих понятий? Увлеченные параллелизмом мечтатели говорят о «конвергенции» между Востоком и Западом, пространно рассуждают даже о советском «военно-промышленном комплексе». Страсть к симметрии породила пустопорожнюю идею «двух империй», советской и американской. Согласно ей объединяются — на этот раз в порицании — репрессии в Чили и репрессии в СССР, такой-то средиземноморский диктатор и диктатор кремлевский. Но в Кремле нет диктатора. Западная дипломатия разрядки ссылается на необходимость сосуществования разных экономик, обществ, режимов и тем самым дарит советскому правительству официальное признание того, что оно тщетно пытается реализовать: признание экономики, общества, режима. Самая могущественная власть на Земле силой навязывает это признание своим подданным, но получает его от международного общества даром — благодаря простому механизму дипломатических переговоров.

Для партнеров СССР отсюда вытекают очень серьезные последствия. Логика симметрии побуждает их концентрировать внимание на системе межгосударственных действий (системе Б) советской внешней политики, упуская из виду ее взаимосвязь с системой А, системой

идеологического действия. Последняя кажется им пережитком прошлого, поверхностной условностью, — их политическое зрение затемняется. Другое последствие перехода на уровень ирреальности: реальность оставляется на произвол судьбы. Русский, украинский, грузинский, армянский и другие народы переносили все свои беды, не слыша ни слова поддержки, ни слова жалости, которое при других обстоятельствах помогало держаться Ирландии, Греции, Польше. Эти народы не забудут предательства. Мир религии заплатит за него дорогую цену. Кровь мучеников, не признанных ни одним календарем, взывает к небу. По лености ума церковники Запада сравнивают коммунистический мир с миром варваров и воображают, что им удастся обратиться к нему в веру, как некогда Кловиса и Владимира. Но у варваров было могучее оружие, кони в роскошной сбруе, гордая осанка: они существовали. А «социализм», где же он? Можно ли придать душу тому, у чего нет тела? Говоря теологическим языком, церковники представляют себе коммунистический мир в состоянии естества — причем направленного в сторону добродетели, — которому недостает лишь благодати. Увы, отсутствует не благодать, а само естество.

Условное признание ирреальности международным обществом — признание, которое придает ей вещественность — мне хочется назвать «духовной» системой Витте; как ее экономический аналог, она засасывает и спутывает обязательствами все международное общество.

Запад признает социализм существующим, а значит, более совершенным строем. Где же международное общество найдет силы духовного сопротивления социализму? Как оно сможет предпочесть социализму то, что оно мало-помалу *вынуждено* называть капитализмом?

Как вести переговоры?

И тем не менее, переговоры нужны. Как их вести, вот главный вопрос.

Еще раз процитируем Мишле: «По природе своей, по своей жизни, Россия — ложь, и следовательно, ее внешняя политика, ее оружие против Европы не могут не быть ложью».

Вот тут-то и следует остерегаться слишком очевидных сопоставлений. Мишле, Маркс, даже де Кюстин тем более вводят в заблуждение, чем яснее кажется их правота. Они говорят не о советской России. Советская ложь несравненно более обманчива, чем традиционная русская ложь, ибо ее нельзя назвать ложью. Это видимость лжи, ложная ложь, псевдо-ложь.

Истинная ложная ложь

Ложь — это намеренное искажение истины с целью обмана. В искусстве этом непревзойденным мастером считалась империя царей. Когда Екатерина II заявляла, что русский крестьянин, по существу, свободнее, чем крестьяне немецкие и французские, она утверждала ложь. Но она прекрасно знала истину. Русские правительства старого режима пользовались для достижения своих целей — может быть, более успешно, чем другие — классической макиавеллевской ложью, искажением реальности. Но царские министры не видели реальность иначе, чем их партнеры. Они держали про запас два словесных наименования для той же, общей для всех реальности. Их партнеры тоже не давали обета правдивости, но они всегда знали, о чем идет речь. Когда под предлогом защиты Святых Мест русская армия продвигалась к Константинополю, все знали, что истинной целью и был Константинополь, и, пользуясь подобным же предлогом, Англия постаралась преградить русским путь. Два слова, одна реальность.

Когда же Брежнев, повторяя Ленина, утверждает, что советский гражданин — самый свободный в мире, он не лжет. Он обращается к ирреальности, где слова получают новый и вполне определенный смысл. В этой идеологической ирреальной реальности гражданин Швейцарии лишен свободы.

Противоположность лжи — правда. У лжи и правды названия разные. Во всеобщей действительности противоположностью свободы является рабство. Если, однако, собеседники договариваются о словах, но не о реальности, к которой они относятся, тогда одно слово будет обозначать две противоположные вещи. Так, противоположностью свободы в советском понимании будет то, что мы называем свободой. Противоположностью разрядки будет разрядка, противоположностью защиты мира — защита мира. Вопреки очень распространенному шаблону, советское правительство характеризуется не двойным языком, а наоборот, единым языком для обозначения раздвоенной реальности. Одно слово, две реальности.

Идеальный коммунист, по примеру Ленина, говорит только на одном языке и живет целиком в мире ирреальности. Если он лжет — что, впрочем, является долгом по отношению к классовому врагу, — он плохой коммунист. Если он думает, что его язык приложим к «реальной» действительности, он наивен. Если наедине с собой или в кругу друзей он пользуется другим языком, — он циничен. Хорошего коммуниста отличает абсолютная искренность.

Как правило, переговоры между странами ведутся в двух плоскостях: материальной и принципиальной. По очевидным причинам совершенно необходимо без устали договариваться с советским правительством по материальным вопросам. Нужно терпеливо стремиться к соглашениям — временным, как всегда между могучими государствами, — соглашениям о границах, о торговле, о вооружениях, о научном и культурном обмене. В таких переговорах партнеры обсуждают одно и то же, располагая для своих целей всем арсеналом лжи, хитростей и коварства. И пусть так будет.

Дурной оборот могут принять переговоры о принципах. Дискуссия о принципах начинается, едва только встречаются трудности в области материальной. Когда трудно прийти к совместному решению о количестве

боеголовок, можно без труда объявить о искреннем и глубоком миролюбии обеих договаривающихся сторон. Когда невозможно соглашение по поводу Вьетнама, Анголы, Португалии, почему бы не возвестить миру о полном взаимопонимании и обоюдном соблюдении высокого принципа невмешательства и права народов на самоопределение? Такие декларации отравляют, однако, дух переговоров и заставляют западных партнеров противоречить самим себе. Ибо американцы всегда будут вооружаться своими ракетами и осуществлять интервенцию во Вьетнаме, тогда как СССР всегда будет стоять на страже мира и бороться против империализма. Таким способом ирреальность врывается в реальную действительность и дезориентирует ее.

Правило, которым, как мне кажется, должно руководствоваться при переговорах, таково: договариваться с реальностью и не договариваться с ирреальностью. Это жесткое правило. Насколько легче вести «диалог», т. е. выспрашивать о намерениях советских партнеров (они хотят мира, справедливости, свободы), чем добиваться шаткого, зыбкого, сомнительного раздела сфер влияний, раздела, который не принесет ни славы, ни морального удовлетворения.

Дискутировать с советским правительством, когда оно лжет, но отказываться от дискуссий, когда оно искренне, — такая позиция будет требовать от нас постоянной самоотверженности и непрерывных усилий. Но перед лицом странного манихейства, возбуждаемого иной реальностью, нет иного пути, как крепко держаться *единой и единственной* реальности. Перед лицом галлюцинации, миража, фантазмагии нет другого выхода, как напирать зрение в поисках вещественного, осязаемого бытия. Вот верховный принцип. Вот главная добродетель. Оставим властям определение способа их применения.

ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КОРРУПЦИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ*

Среди произведений советской «диссидентской» литературы (число которых, и без того немалое, возрастает с каждым днем) предлагаемая вашему вниманию книга занимает особое место, принадлежит к редкому типу и представляет исключительный интерес.

«Поверят ли мне, — пишет Земцов¹, — если я расскажу, что там происходит?» Действительно, каждый автор, приступающий к описанию советской действительности, задает себе этот вопрос. Коммунистический мир с первых дней своего существования окружил себя защитной завесой неправдоподобия. Западный человек отказывается верить свидетельствам очевидцев, потому что они кажутся ему непоследовательными. «Если то, что вы говорите, правда, — сказал бы он очевидцу, — то советская система не могла бы существовать, так как если бы это происходило у нас, то наше общество немедленно бы развалилось. Однако, мы знаем, что она существует, что она могущественна и что Советский Союз, например, запускает ракеты на Луну». Жителю Запада требуется много знаний, терпения и усердия, чтобы понять, что в коммунистической системе то же самое, к примеру, производство ракет возможно только благодаря таким мерам и такому положению вещей, которые у нас были бы абсолютно несовместимы с производством ракет. Внутренняя логика советской системы иная, чем у нас; более того, по всей видимости, обе

*) Предисловие к книге И. Земцова «Коррупция в Советском Союзе» (на франц. яз.), изд-во «Nachette», 1976 [См. также: И. Земцов, «Партия или мафия?», изд-во «Les Editeurs Réunis», 1976]

1) Социолог И. Земцов, бывший профессор марксистско-ленинской философии в одном из бакинских институтов и заведующий отделом информации ЦК КП Азербайджана, эмигрировал в Израиль в конце 1973 года. (Прим. к франц. изданию)

системы с трудом можно рассматривать одновременно и под одним углом зрения. Дело доходит до того, что и советским эмигрантам, и западным специалистам, как только они теряют из виду свой предмет исследований, оказывается чрезвычайно нелегко припомнить, как функционирует весь этот механизм: в памяти всплывают лишь сбивчивые и туманные образы, подобные обрывкам воспоминаний о ночных сновидениях. «От вас потребуется усилие, — пишет далее автор. — В своем воображении вы поворачиваетесь к советской реальности, которая, рассматриваемая с Запада, кажется фантастическим порождением лжи, бессмысленных ценностей, двуличия и фальшивых кумиров».

Гитлер прибегал к бессовестной лжи, так как не без основания полагал, что чем более чудовищна ложь, тем больше шансов, что в нее поверят. Глашатаи советской системы (не надо понимать это слово буквально: они не выступают от имени правителей — они и есть правители) добиваются большего и идут гораздо дальше. Помимо лжи, они часто говорят правду, и вполне открыто, на языке, который кажется тем же, что и наш. Однако они-то знают, что этот язык подчиняется иной системе значений, не имеющей с нашей ничего общего — настолько, что, узнавая в их речи знакомые слова, мы наделяем их общепринятым смыслом, тогда как на самом деле они несут в себе совсем иной смысл, в который мы не даем себе труда проникнуть.

Обвинять советских руководителей во лжи — это значит признать, что они пользуются общей с нами системой значений и ограничиваются тем, что ее искажают (посредством лжи), между тем как разрыв между нашим и их языком заключается именно в отказе использовать общую систему значений. Другими словами, речь идет не о противостоянии истины и лжи, которые вполне могут сосуществовать друг с другом, как это было с самого начала человеческой истории — перед нами две истины, столкнувшиеся в смертельной схватке, несовместимые друг с другом настолько, что существование

одной из них обескровливает другую и развеивает ее как дым. Именно в этом и заключается смысл знаменитой заповеди Солженицына: жить не по лжи. Речь идет не просто о моральном осуждении и отрицании лжи, но о позитивном онтологическом утверждении: придерживаться подлинной истины, нести свидетельство реальности — это значит разрушать мнимую истину и рассеивать призрачную реальность. Это утверждение восстанавливает единый, общий для всех мир, в котором вновь становится возможным существование не только истины, но и ее противоположности — лжи. Оно кладет конец космическому единоборству двух реальностей, каждая из которых стремится главенствовать — попросту рассеивая одну из них, превращая ее в ничто. В этом состоит революционная роль Солженицына: он показал, что политическая борьба может разворачиваться не только вокруг понятия *блага* (борьба против несправедливости, тирании и т. п.), но и переходить в плоскость *бытия* (или, что то же самое, подлинного и реального). Солженицын открыл политическое приложение метафизического принципа Парменида: «*Бытие есть, небытия — нет*», который еще более удачно был сформулирован св. Бонавентурой: «*Бытие обращает небытие в бегство*».

Следует сразу же оговориться, что к случаю Земцова все эти возвышенные рассуждения имеют касательство самое что ни на есть отдаленное. Далек от них и сам автор. Чтобы дать читателю возможность ощутить советскую действительность и проникнуть за занавес неправдоподобия, нужно обладать качествами, на которые Земцов и не претендует. Он — не героическая личность. Кроме того, как это быстро обнаруживается, он и не писатель. Он довольно неуклюже перемешивает хроникерские заметки с риторическими тирадами, сырые факты — с нравоучительными сентенциями. К тому же он не был и свидетелем исключительных событий. Наконец, его политическое мышление страдает близорукостью, а его анализам недостает точности и глубины

(быть может, в меньшей степени из-за слабости интеллекта, чем из-за двусмысленности его собственной роли, для которой лучше постараться найти какое-то оправдание и уж по крайней мере не влезать в подробности). Я воздержусь от того, чтобы его судить, ибо чужая душа — потемки, и никто не знает всех обстоятельств, особенно таких. Я не собираюсь, да и не испытываю нужды, их выяснять. То, что мы узнаём от Земцова, достаточно очевидно, чтобы можно было обойтись без морального поручительства. Он — не Солженицын, не Надежда Мандельштам, не Амальрик, которые силой своего суждения, отваги, литературного таланта разрывают ширму иллюзии, так что нам передается их целостное видение незнакомого нам мира. У Земцова если такое видение и есть, то оно вполне банально. Так в чем же тогда его заслуга, которую я назвал исключительной? В том, что он предоставляет в наше распоряжение новые, до настоящего времени отсутствовавшие элементы, абсолютно необходимые для серьезного анализа современного политического положения в Советском Союзе.

«Светила» диссидентства приобщают нас к советской метафизике или метаполитике, но не к конкретной политике, делающейся «здесь и сейчас». Даже тогда, когда они рискуют высказать суждение, относящееся к теперешнему моменту, оно является слишком общим, поскольку они не дают строгой формулировки проблемы в конкретных терминах из лексикона власти. Они формулируют ее в глобальных терминах (общенациональных, социальных, моральных), но им не хватает данных, чтобы составить ясное суждение о проблемах внутренней политики, в том виде, как они стоят перед Брежневым и его единомышленниками в условиях теперешней конъюнктуры. Земцов же дает необходимые элементы для такого суждения, так как он описывает достаточное количество различных сторон кризисной ситуации (такой, как она воспринимается советскими руководителями), а также тех мер, которые ими предпринимаются

или проводятся в порядке эксперимента, чтобы из этой ситуации выйти. Из всех диссидентских авторов он единственный, кто действительно был сотрудником, пусть второстепенным, партийного аппарата. Он видел, как этот аппарат функционирует на среднем уровне — ни слишком близко к центру, где партия приобретает абстрактный, таинственный, почти метафизический характер, ни в самом низу, где партия становится чисто административным механизмом и ее специфические черты перестают быть заметны. Один молодой польский философ задал мне вопрос: «Кому принадлежит власть в условиях коммунистического режима?» Это вопрос трудный, поскольку, задумываясь поглубже, мы не можем попросту ответить, что она принадлежит Брежневу или же тому или иному из его приспешников. Вопрос этот философский, но так как он является итоговым и возникает в самом конце длительного анализа, нет необходимости ни сразу же его ставить, ни пытаться здесь на него отвечать. На наблюдавшемся автором уровне власти (и на принятом им уровне глубины анализа) можно с уверенностью считать, что власть принадлежит тому-то или тому-то секретарю Центрального комитета данной республики или обкома и в силу этого рассматриваемая должность является предметом самой жестокой конкуренции. Именно в ведении этих людей лежит принятие решений и именно они оказываются лицом к лицу с кризисной ситуацией.

В понимании природы этого кризиса легко ошибиться: действительно, его суть — не в экономической, социальной или моральной ситуации советского общества, сколь бы мрачной она ни была, а во взаимоотношении между этим обществом и партией. Другими словами, это кризис *политический*, кризис власти.

Интересно, что его проявления могут наблюдаться «на местах». Земцов описывает конкретный географический регион, который он хорошо знает. Это значит, что он знает «кто есть кто» и знаком с теми, кто обладает реальным влиянием. Этот регион — Азербайджанская

ССР, одна из трех (вместе с Арменией и Грузией) советских республик Закавказья. Это окраинная республика, со старыми промышленными традициями (Баку является центром нефтедобывающей промышленности с конца XIX века), со смешанным населением, большинство которого составляют азербайджанцы (говорящие на языке, чрезвычайно близком к турецкому и исповедующие мусульманскую религию), но куда входят также значительные армянское и русское меньшинства, евреи, греки и представители множества иных кавказских народностей. В окраинных республиках советская власть сталкивается с особыми трудностями. В самой России коммунизм вступил в альянс (по крайней мере, по видимости) с великорусским национализмом. Основная выгода (если это можно считать выгодой), которую извлек русский народ из нового режима, состояла в том, что советская власть сохранила формальную структуру прежней Российской империи — детища русских царей. Наоборот, в республиках с нерусским населением национализм с самого начала стал главным противником коммунизма — именно потому, что тот поддерживал уже упомянутую имперскую структуру. Однако не следует заранее рассматривать отношения между Россией и «братскими республиками» как просто замаскированную форму прежнего колониализма. Была сохранена лишь форма империи. В условиях коммунизма имперский национализм не является целью режима, а всего лишь одним из используемых им средств. Он приносит пользу коммунизму, а отнюдь не нации. Солженицын, истинный русский патриот, без труда доказывает, что русский народ пострадал от коммунизма не меньше, чем любой другой. Точно так же «колониальная» форма, которую принял коммунизм в национальных республиках, не означает, что последние эксплуатируются русским народом: он не извлекает из этого никакой выгоды. Это означает, что режим, унаследовавший колониальную форму и присущие ей методы осуществления власти, сохранил их не в качестве цели, как в настоящей коло-

ниальной империи, но в качестве средства установления и поддержания местного господства коммунистического режима. Именно поэтому он использует уже «готовые к употреблению» рецепты власти: русификация, насаждение национальной розни и ненависти между различными этническими группами, населяющими Азербайджан. Он использует конституционные уловки, дающие видимость власти (в рамках Советов) азербайджанцам и предоставляющие подлинную власть, в рамках партии (а в самой партии — в аппарате КГБ), неазербайджанцам. Однако последних нельзя также считать русскими, хотя они зачастую и являются таковыми, потому что их лояльность направлена не на русскую нацию (как это было бы в колониальной империи), а на коммунистическую партию, международный коммунизм и, в конечном итоге, на идеологию. При всем этом, враждебность со стороны местного национализма представляет собой для советской власти серьезный источник трудностей и вынуждает ее предпринимать дорого обходящиеся меры предосторожности. Действительно, национализм в «братских республиках» играет роль связующего вещества, приводящего к естественному сплочению общества, и становится камнем преткновения для разобщающего воздействия коммунизма. Противопоставление «их» (партии) и «нас» (всех остальных), имеющее принципиальное значение как в Советском Союзе, так и во всей коммунистической империи, принимает здесь более отчетливые и острые черты, поскольку сам факт национальной принадлежности придает понятию «мы» наглядный характер, пробуждающий чувство естественной солидарности.

Набросанная Земцовым картина повседневной жизни в Азербайджане такова, что французский читатель наверняка сочтет, что автор чудовищно сгустил краски (особенно черную). Принятые в наших школах учебники географии уже с давних пор рисуют картину огромных успехов, достигнутых в СССР после революции. Высокоученые экономисты рассчитывают для нас кривую роста

его валового национального продукта, которая из года в год неудержимо ползет вверх. И вот мы оказываемся перенесенными в районы городской нищеты, по сравнению с которыми печально знаменитые бразильские трущобы начинают казаться более похожими на пригороды Цюриха, чем на окраины Баку. Мы недостаточно осознали тот факт, что советские статистические данные получаются не на основе должным образом проделанного подсчета всех благ, произведенных в данном году, а гораздо проще — на основе прошлогодних статистических данных, которые достаточно лишь умножить на «плановый» коэффициент роста или, еще лучше, на коэффициент роста, предусмотренный «запланированным перевыполнением плана». Так конструируется экономика-фикция, и только она и преподносится иностранцам. Разумеется, наши экономисты стараются сгладить эти статистические данные, принимая в расчет пропаганду и преувеличение. Однако мы имеем дело вовсе не с преувеличением, потому что эту статистику нельзя упрекнуть в том, что она искажает реальность — на самом деле она с самого начала не имела никакого отношения к реальности. Опять Парменид: нет промежуточного термина между бытием и небытием.

Я — не экономист, и потому не чувствую себя вправе вступать в ученый диспут по этому вопросу. Однако я жил в этой стране и в течение ряда лет собрал массу данных и свидетельств очевидцев, что дает мне право полагать, что уровень бедности в Советском Союзе, если судить не с количественной, а с качественной точки зрения, является одним из самых ужасных в мире. Если принимать в расчет только денежные доходы населения (согласно Сахарову, среднемесячная цифра составляет 270 франков), то и тогда не найдется ни одной страны в Европе, где заработная плата была бы столь низка. Но в первую очередь следует иметь в виду условия доступа к тем товарам и благам, которые можно приобрести на эти доходы. Они характеризуются хронической нехваткой, абсолютной нерегулярностью в работе системы

снабжения, и прежде всего очередями — всегдашними, бесконечными, изнурительными очередями. Именно в этом отношении самые обездоленные страны Азии и Латинской Америки могут успешно соперничать с советской империей, поскольку в этих странах по крайней мере существуют удобно и недалеко расположенные, общедоступные, иногда веселые и оживленные, всегда располагающие нормальным ассортиментом товаров сельскохозяйственный рынок и лавочка — несравненная лавочка, экономический шедевр человечества.

Азербайджан, как в этом убедится читатель, отнюдь не является процветающим краем. Но поскольку это страна восточная, и издревле существовавшие формы власти, какими бы они ни были, были сохранены или возрождены, чтобы служить вспомогательным средством для нового режима, в воздухе Азербайджана эпохи Брежнева мы ощущаем явственный аромат Турции времен Абдул-Хамида². Чиновники в своих громоздких черных лимузинах, как всегда, суровы с нижестоящими, питают слабость к письменным прошениям и всяческим проявлениям угодливости, ненасытны в своей жажде грубых утех плоти, роскоши и драгоценностей, в душе трепещут перед наместниками султана — словом, ведут себя наподобие классического паши, что неотразимо напоминает картину нравов Востока, нарисованную Гобино³, если бы эти новоявленные паши не были неотесаны и лишены стиля.

Однако, сам тот факт, что страна погрязла в нищете, бедные унижены и раздавлены, а слабые ободраны как липка, отнюдь не заставляет власти беспокоиться и не воспринимается ими как кризис. Режим никогда не ставил себе целью увеличить благосостояние и привести к процветанию граждан. Его цель более абстрактна: построить «социализм» или «коммунизм», из которого, как

2) Абдул-Хамид II (1842-1918) — турецкий султан (1876-1909), последний правитель Османской (Оттоманской) империи. (Прим. перев.)

3) Ж. А. Гобино (1816-1882) — французский социолог, писатель и дипломат, автор книг «Три года в Азии», «История Персии...», «Азиатские новеллы» и проч. (Прим. пер.)

предполагается, богатство и процветание вытекают просто по определению. Если бы непосредственной целью было богатство и процветание, то правительство действовало бы по-иному. Более того, ему было бы достаточно вовсе никак не действовать, чтобы искомая цель была достигнута сама собой, благодаря труду людей и общественному обмену его продуктов. Однако природа режима такова, что благосостояние должно быть вторичным по отношению к социализму. Если бы оно было первичным, то немедленно превратилось бы в непримиримого противника социализма, построение которого является оправданием и смыслом существования режима. В периоды смягчения власти, первым примером которого был нэп, создаваемое и накапливаемое обществом богатство становится первым признаком укрепления этого общества в рамках структур, в корне несовместимых с «социализмом», так что строительство последнего может начаться вновь лишь с разрушения созданного таким образом благосостояния. Именно это и произошло в первый раз в период коллективизации.

Иногда можно услышать, как французские чиновники, воспитанные в соответствии со строгими канонами Национальной административной школы⁴ и Министерства финансов, выражают сомнения в *эффективности* советского режима. Ставя перед собой целью ежегодное увеличение на несколько процентов валового национального продукта и не будучи в состоянии вообразить, что советское правительство может ставить перед собой иные цели (что оно и делает), они обвиняют его в неэффективности. Это несправедливо. Советский режим в течение шестидесяти лет демонстрирует свою эффективность — не в строительстве «социализма», который, как и в первый день, остается чисто умственным (или, вернее, безумным) построением — но в сохранении власти, которая является основополагающим условием

4) Ecole nationale d'administration (E.N.A.) — привилегированное высшее учебное заведение, «кузница кадров» политического класса во Франции. (Прим. перев.)

этого потенциального строительства. Он знает из опыта, что бедность, в конечном счете и в определенных пределах, представляет меньшую опасность для власти, чем богатство. СССР (и, в частности, Азербайджан) за шестьдесят лет так и не вышел из состояния нищеты, но неэффективность системы правления здесь абсолютно ни при чем.

Настоящей проблемой для режима является коррупция. Не приходится сомневаться ни в масштабах, ни в серьезности этой проблемы: по правде говоря, коррупция достигла такого размаха, который никогда не стали бы терпеть, даже в худшие периоды, ни оттоманская, ни царская империи. Где и когда можно было стать членом Академии Наук, преподнося влиятельному выборщику золотое блюдо, инкрустированное драгоценными камнями, на котором значится имя вышеупомянутого выборщика, сопровождаемое титулом «Герой социалистического труда»? Можно еще вообразить, что нечто подобное происходило бы при дворе Иди Амина, но это было бы невозможно в кабинетах сановников Николая I, которых покорила бы и сама грубость метода, и смехотворная уродливость «подарка». Но, чтобы верно оценить проблему коррупции, следует воздержаться от того пути, по которому нам предлагает пойти Земцов.

Земцов раздражается красноречивыми тирадами, направленными против коррупции. В его обвинительной речи против режима она стоит рядом с материальной нуждой. Действительно, это выглядит логично, если учесть, что социализм по определению есть такой строй, при котором исчезает бедность и царит добродетель. Констатировать наличие бедности и коррупции — это значит отказать режиму в праве называться социалистическим, что оправдывает враждебное к нему отношение автора. Но это означает также принятие «социалистической» точки зрения, которая в принципе признает за режимом законность, что, в свою очередь, мешает автору перейти к более глубокому и интересному

политическому анализу. В самом деле, если отвлечься от принципа законности социалистического режима и рассмотреть проблему исключительно с точки зрения власти, то мы немедленно обнаружим, что политически коррупция чревата определенной опасностью для режима, которой бедность как таковая в себе не несет.

В какой мере коррупция служит советскому режиму и в какой мере она ему угрожает?

Прежде всего следует иметь в виду, что коррупция позволяет режиму функционировать и, в конечном итоге, выживать. Если бы каким-то чудом она внезапно полностью исчезла, ни один завод или фабрика не могли бы обеспечить себя сырьем и запасными частями, прекратилось бы снабжение городов, остановилось производство, начался голод, и во всей стране не осталось бы ничего, кроме «социализма» — то есть попросту ничего. Коррупция ставит на службу власти могущественные средства управления, которыми она располагает — стоворчивость и чувство безнаказанности, обеспечиваемое подкупом нужного человека и круговой порукой сообщников. Помимо этого, она развращает все подвластное режиму население и парализует процесс формирования потенциальной оппозиции. Борясь с коррупцией, правительство старается завоевать определенную популярность и приобрести репутацию «людей с чистыми руками». Однако коррупция является повсеместной (во всем СССР она распространена не менее широко, чем в Азербайджане), и поэтому подавляющее большинство граждан начинает испытывать чувство виновности: именно они чаще всего и проявляют наибольшую покорность по отношению к власти. Автор бичует исчезновение у руководителей чувства долга; непонятно, однако, как можно принимать всерьез это понятие, хотя оно и занимает столь важное место в коммунистическом лексиконе. Что-то неизвестно, чтобы обязательства, вытекающие из практических соображений, были признаны идеологией. Долг не является чем-то внешним по отношению к доктрине; он есть не что иное, как опре-

деленное следствие идеологии, и обязывает лишь постольку, поскольку сохраняется вера в идеологию. Долг исчезает, когда исчезает вера в идеологию. «Наша мораль, — писал Ленин, — полностью подчинена интересам классовой борьбы пролетариата. Морально то, что способствует разрушению старого эксплуататорского общества». Если коммунистический чиновник не верит больше в этот язык, если система представлений, основанная на понятиях классовой борьбы и пролетариата, утрачивает свой смысл, то что же подскажет ему, в чем состоит его долг? Он будет исходить исключительно из собственных интересов и удовольствий, благополучия и привилегий, предоставляемых в силу обладания властью. Он становится циником, а поскольку он продолжает при этом пользоваться коммунистическим лексиконом, ибо в условиях осуществления власти иной язык невозможен, то он превращается еще и в лицемера. Проповедуемая им мораль дважды фальшива: во-первых, потому, что она такова сама по себе, и во-вторых, потому, что он в нее больше не верит. Что остается делать всей массе подданных режима? Ответить на эту дважды ложную мораль отказом от морали вообще и на открытую коррупцию — коррупцией скрытой? Но это тоже не выход. В одном из наиболее пронизательных фрагментов во всей книге Земцов превосходно демонстрирует, как личность разрушается самим своим бунтом и почему аморальность не является лекарством против ложной морали, которую она отвергает. В конечном счете, именно потому, что она расслабляет, всеобщая аморальность служит интересам советского режима. Она защищает отдельного человека, дает ему возможность жить, но она защищает также саму систему и обеспечивает ее упрочение.

Однако, с другой стороны, коррупция несет в себе чрезвычайно опасный яд, отравляющий эту систему изнутри.

Дело в этом, что коррупция есть болезнь коммунизма, и поэтому в рамках противопоставления между «ими» и

«нами», между партией и обществом, коррупция для последнего есть признак здоровья. Она есть не что иное, как проявление жизни, жизни патологической, но которая все же лучше, чем смерть. В ней проявляется возрождение частной жизни, ибо сама фигура спекулянта есть победа личности, индивидуальности. Отношения между людьми, вместо того, чтобы выливаться в искусственные формы идеологии, возвращаются на твердую почву реальности: личной выгоды, спора о том, что положено мне, а что — тебе, сделки, заключаемой в результате соглашения между сторонами, пользующимися определенной автономией. Фальшивые ценности, существующие лишь на словах, и чье принудительное хождение обязано лишь непрочной магии идеологии, быстро оказываются погруженными в «ледяную воду эгоистического расчета». Именно потому, что она разрушает небытие мертвого языка, аморальность коррупции является все же более моральной, чем извращенная мораль коммунизма. Автор книги чувствует это, но признать открыто не может, потому что в его «двойной бухгалтерии» аморальность коррупции оправдывается тем, что коммунизм не придерживается своей собственной морали.

Таким образом, есть две силы, атакующие коммунистический режим каждая со своего конца. С одной стороны, это те, кто уничтожает извращенную истину, просто говоря правду: люди покроя Солженицына, Сахарова, Надежды Мандельштам. Их немного. Они сознательно выбирают подвижничество, мученичество. Гораздо более многочисленны те, кто подрывает ложные истины, прибегая к лжи. Поскольку коммунизм покоится не на лжи, но на гораздо более кардинальной фальсификации и подлоге, к освобождению ведет не только правда, но и ложь. Поэтому ложь, воровство, спекуляция преследуются в Советском Союзе с жестокостью, которая заставила бы ужаснуться Англию времен «Оливера Твиста» и Францию эпохи «Отверженных». По некоторым данным, в СССР ежегодно за экономические преступления расстреливается около сотни

человек. Еще сегодня угон грузовика может обернуться для виновного высшей мерой наказания, особенно если ему нечем «подмазать» правосудие. В советских лагерях содержится всего лишь от пяти до десяти тысяч политических заключенных, и еще, быть может, столько же отбывает «наказание» за свои религиозные убеждения. Все остальные, то есть от одного до трех миллионов человек (различные оценки, как правило, укладываются в эти пределы), это «пособники» и «разносчики» коррупции — другими словами, люди, которые купили, продали или обменяли что-либо в условиях режима, который запрещает покупку, обмен и продажу «из рук в руки», по добровольному соглашению. Они представляют собой, как в свое время — «кулаки», элиту нормального экономического общества, которое с трудом, кое-как старается возродиться, и которое лишается своих наиболее ценных элементов, ибо такова уж судьба предпринимателей в СССР — считаться ворами или «расхитителями». Многие из них, впрочем, и есть воры, сознательно вступающие на путь правонарушения. Кем бы они ни были, следует подчеркнуть важность этого полюса преступности, который соответствует расположенному с другого конца советской системы полюсу героизма. Он также является признаком постепенного восстановления общества и играет не менее важную с социологической точки зрения роль в процессе распада коммунизма. Земцов дает нам возможность увидеть в другом свете этих мучеников коммерческой недобросовестности.

Это возрождение общества, идущее окольным путем коррупции, может быть охарактеризовано в терминах экономики как возрождение рынка. Однако, это возрождение принимает столь разнузданные формы, что у нас возникает искушение позаимствовать у Маркса не только его громоподобные нападки на подобную систему, но даже его методы анализа. То, что процветает в Азербайджане под застывшей коркой социализма — разве это не капитализм эпохи молодого Маркса, «ди-

кий» капитализм? Ни во времена Гизо, ни Пальмерстона⁵, рыночная экономика не охватывала такого количества различных секторов, которые даже в годы наивысшего разгула свободной конкуренции и свободы торговли в XIX веке находились в ведении публичного права, под надзором государства, и развитие которых определялось соображениями общественной пользы. Система государственных учреждений, призванных удовлетворять потребности всего общества, стала пленницей озверелого взяточничества и практики купли-продажи должностей. Невозможно стать преподавателем в школе или заведующим отделением в больнице, если не заплатить за это баснословные деньги. Впрочем, можно быть уверенным, что эти деньги при желании довольно быстро к тебе вернутся: оперируемые пациенты и родители сдающих экзамены школьников будут, в свою очередь, вынуждены платить «за услугу» крупные взятки. Если мы сравним стоимость этих должностей (двести тысяч рублей, а иногда и больше) со средним уровнем заработной платы (порядка ста рублей в месяц), то будем вынуждены констатировать наличие огромного разрыва между наиболее высокими и низкими доходами (не сглаживаемого никаким прогрессивным подоходным налогом), а также процесса формирования капитализма, вызывающего в памяти марксистское «первоначальное накопление». В самом деле, ученый автор «Капитала» не преминул бы подметить докапиталистический и даже «феодалный» характер советской экономики. Разумеется, существует также и целая система хитроумного бухгалтерского учета, «проведения» денег по другой статье,

5) Фр. Гизо (1787-1874) — французский политический деятель и историк, неоднократно министр и премьер-министр, фактически руководивший внутренней и внешней политикой Франции в последнее десятилетие до революции 1848 г. Это был период ничем не сдерживаемого развития капитализма, когда огромное влияние приобрели биржевые спекулянты и банкиры. Гизо был ярким противником предоставления политических прав наимущим слоям населения; ему принадлежит лозунг: «Обогащайтесь — и вы сделаетесь избирателями». Между прочим, именно по его распоряжению из Франции в 1845 г. был выслан Маркс. Лорд Пальмерстон (1784-1865) — английский государственный деятель, министр и премьер-министр (1855-1865), известный своей экспансионистской внешней политикой и враждебным отношением к рабочему движению. (Прим. перев.)

фиктивных счетов и накладных, которая, как иногда может показаться, сближает эти операции с «современными» методами уклонения от уплаты крупных налогов и подпольным бизнесом американской мафии. Однако в советской системе доминируют архаические черты, и главная из них — это то, что Маркс называл «феодальными поборами». Действительно, согласно марксистской доктрине, капитал должен возникать благодаря перераспределению в результате «свободной игры» факторов рынка, а не за счет изъятий в процессе внеэкономического принуждения. Однако азербайджанский капитализм существует за счет собственного паразита — партии, которая взимает с него феодальную дань на всех уровнях.

Таким образом, торговцы (или, если угодно, спекулянты) не могут оформиться в самостоятельный класс. Партия бдительно следит за тем, чтобы их деятельность оставалась противозаконной, и пользуется ее противозаконным характером, чтобы безжалостно грабить тех же спекулянтов. Выражаясь марксистской терминологией, мы имеем дело с режимом азиатского деспотизма, и вновь на горизонте маячит призрак Турции времен Абдул-Хамида. Более того, для партии было бы весьма заманчиво взять всю эту подпольную экономику под свое начало. Однако по мере того, как она проникает вглубь этого рынка, рынок проникает в нее. Партийная иерархия, вместо того, чтобы подчиняться своим собственным принципам, начинает подчиняться законам, управляющим системой купли-продажи должностей. Теперь уже не только технические должности (ректор университета, председатель колхоза) или должности, связанные с аппаратом власти (в системе судопроизводства и в милиции) оказываются включенными в эту систему — рыночную стоимость приобретают внутренние посты в самой партии (секретарь обкома, райкома и т. д.). Нравы внутри партии заражаются стилем экономического «подполья» и в результате смягчаются и цивилизуются. Между партийными товарищами уста-

навливается нечто вроде солидарности и неписанные корпоративные законы преступного мира, подобные тем, которые управляют поведением американских «мафиози». И тут снова возникает острая политическая проблема.

Действительно, партия не может раствориться в формирующемся классе частных предпринимателей без того, чтобы изменить свою природу и исчезнуть. Она это прекрасно понимает, и потому замешанные в коррупции работники ее аппарата столь тщательно скрывают свои богатства и, стремясь всех перещеголять в искусстве владения суконным языком доктрины, с удвоенным рвением демонстрируют свою лицемерную приверженность идеологии. Они не чувствуют себя в безопасности, и они правы, ибо они ставят под угрозу власть, безопасность всей партии, так что ее первейшим долгом становится избавление от подобных коммунистов. Объясним это подробнее.

Характерной особенностью коммунистической партии (или, что то же самое, коммунистического государства) является тот факт, что она не несет никаких обязательств по отношению к обществу и не вступает с ним в какие-либо взаимообязывающие отношения. В коммунистической доктрине этот факт признавался всегда, по крайней мере, частично. В самом деле, придерживаясь манихейской концепции «классовой борьбы», партия не признает существования ни правовой или фактической солидарности между различными социальными группами, ни чего бы то ни было, что соответствует античному понятию «общего блага». Коммунистическая партия пришла к власти во имя «пролетариата» и не признает за собой никакого долга по отношению ко всем прочим классам, судьба которых будет автоматически решена (в хорошую или в плохую для них сторону) в силу самого факта победы «социализма». Однако ленинизм, в отличие от иных современных вариантов революционного марксизма, обладает еще одной своеобразной особенностью: партия не несет никаких обязательств и по

отношению к «пролетариату». После одной рабочей забастовки, имевшей место в Петербурге в 1896 году, Ленин осознал, что социализм — это слишком серьезная вещь, чтобы можно было ее доверить рабочим, которые в данном конкретном случае отнюдь не проявили никакого особого предпочтения или склонности к социалистическим лозунгам. Коммунистическая партия не представляет интересов рабочего класса. Она представляет высшие интересы — социализма — в том виде, как его определяет идеология. По этой причине она проявляет особый интерес к рабочему классу лишь постольку, поскольку в этой идеологии для него предназначается особая роль. Если рабочий класс оказывается неспособным играть отведенную ему роль, если он оказывается своего рода предателем «дела пролетариата» и «социализма», то партия будет относиться к нему точно так же, как к «буржуазии» или иному враждебному классу, которому он «объективно» играет на руку. Именно это и происходит после захвата власти. Не являясь представителем никакого класса (если понимать слово «представительство» в демократическом смысле) и, в частности, лишив рабочий класс его профсоюзной организации, коммунистическая партия перестает обладать каким-либо законным основанием на обладание властью, за исключением того, которое ей предоставляется идеологией. Получив от идеологии полномочия на установление социализма, партия оказывается вынужденной навязывать другим и самой себе эти идеологические пути или же оказаться подвешенной в безвоздушном пространстве и не иметь с обществом никакого контакта. Однако, поскольку она обладает абсолютной властью над этим обществом — именем все той же идеологии — то она употребляет эту власть главным образом для того, чтобы привести общество в духовное, интеллектуальное и материальное соответствие с моделями, которые задаются идеологией. Таким образом, перевоспитание масс является ее основной и самодовлеющей целью.

Здесь, однако, возникает одно осложнение. Согласно

идеологии, социализм не зависит от какого-либо акта воли. Партия не хочет, чтобы ее считали утопической, морализаторской или волюнтаристской. Социализм есть *научное* понятие, так что он должен возникнуть в силу естественного закона развития общества, из некоторого необходимого соотношения сил, вытекающего из природы вещей, в котором партия участвует, но его отнюдь не создает. Следовательно, правильность идеологии должна получить *независимое* от партии подтверждение — и тогда партия получает оправдание законности своих притязаний на сохранение власти и права на перевоспитание масс. Поэтому предполагается, что правильность идеологии доказывается конкретными фактами исторического развития страны, и социализм *одновременно* и проповедуется, и считается осуществленным. Другими словами, коммунистическое воспитание состоит не в том, чтобы убедить людей *хотеть* социализма, но чтобы его *видеть*. Итак, в течение шестидесяти лет партия не ограничивается построением социализма, но вкладывает всю свою энергию в построение фикции, что социализм *уже* существует, что он воплощен в жизнь и функционирует, и в то, чтобы эта фикция была признана реально существующей всеми ее подданными. Тот факт, что они в это не верят, что она сама в это не верит — не так опасен, как можно было бы думать. Достаточно, чтобы идеология публично признавалась и никогда публично не оспаривалась. Достаточно, чтобы она царила *на словах*, и чтобы никакой другой язык не угрожал ее монополии. В этом и состоит *contrat social*⁶ советского режима, условие *sine qua non* его существования. Всякое нарушение этого «общественного договора», даже если оно сохранило бы в неприкосновенности полицию, террор и абсолютную политическую монополию партии, повлекло бы за собой столь же радикальную революцию, как и та, что привела ее к власти. Не существует такого понятия,

6) Общественный договор (франц.) — сознательно развиваемые (в результате соглашения) общественные отношения между людьми (от названия общественно-политического трактата Ж.-Ж. Руссо). (Прим. перев.)

как коммунистическая ортодоксальность (или *правосверность*), поскольку не существует самой догмы, верить не во что, и всем на это плевать. Существует, однако, нечто, что по аналогии с *инакомыслием* мы назовем *правомыслием* (или, точнее, *правословием*). Именно оно и является консолидирующей субстанцией советского общества, укрепляя убежденность режима в том, что из-за любой прорехи в словесном покрове немедленно выскочит гидра анархии или гиена капитализма. Это еще раз показывает, насколько революционным является призыв Солженицына, выражающий собой суть *инакомыслия* в чисто языковом плане: «Не лгать. *Жить не по лжи*». Это объясняет нам также, почему тот, кто не обладает отвагой революционера, а просто хочет продолжать (или даже улучшить) свое повседневное существование, начинает, не желая этого открыто и даже не отдавая себе в этом отчета, говорить «суконным языком». Заметим, что его приводит к этому не вера, а элементарный инстинкт гражданского самосохранения. К этому типу относится громадное большинство советских граждан, будь они членами партии или ее подданными.

Теперь можно себе представить, перед лицом какой угрозы оказывается сама суть партии, если она начинает утлубливаться в общество, если она вступает с ними в контакт на равных, на уровне общих интересов. Однако именно это она и делает, участвуя, будь то в качестве вымогателя или надсмотрщика, в жизни экономического общества, которое создано не ею, которое выросло за ее спиной, естественно и органично, помимо ее контроля.

С такой ситуацией партия сталкивается не впервые. Описываемое Земцовым положение в определенной степени сходно с положением, которое сложилось в 1929 и в 1945 годах. После смерти Сталина обществу были сделаны определенные уступки, и оно бурно восстанавливается под прикрытием длительного нэпа, хотя и в патологических формах. Оно окружает партию со всех

сторон, заставляет ее понемногу войти в свою сферу и начинает поглощать ее и переваривать. Дважды, в 1929 и в 1945 годах, партия, хотя и в другой исторической обстановке, сумела найти средства для нанесения ответного удара. Речь шла о том, чтобы восстановить непреодолимую пропасть между партией и обществом, реставрировать идеологию в качестве абсолютной нормы, сначала в самой партии, а затем и в обществе. Чтобы проделать это, потребовалось провести радикальную чистку в партии и поставить общество на отведенное ему место, систематически уничтожая те структуры, в которые оно оформлялось, и разрушая недозволенные узы солидарности. Это оказалось возможным лишь ценой огромных опустошений. Советские руководители теперешнего поколения сами прошли через страшный опыт сталинских чисток: они их проводили, сумели в них уцелеть и в этих чистках сформировались. Они должны помнить также и бессмысленные жестокости коллективизации, и систему ГУЛага в период ее апогея. Сегодня перед ними открываются два пути, две политические линии. Они проводят в жизнь третью.

1. Приступить к серьезной работе по реставрации революционного духа и сущности партии. За это придется заплатить высокую цену, но никакие моральные соображения не могли бы остановить партию перед необходимостью проведения репрессий в широком масштабе. Менее чем когда-либо связанная любого рода обязательствами по отношению к обществу, она не собирается ни в чем перед ним отчитываться. Однако сопутствующие этому процессу огромные потери были бы плохо совместимы с международными амбициями советского государства, с развитием его военной мощи, которое идет полным ходом уже в течение ряда лет. Кроме этого, отнюдь не очевидно, что партия сегодня достаточно сильна политически: она не готова подвергнуться чисткам такого масштаба, как проведенные Сталиным. Возможно, она уже слишком глубоко погрязла в своих свя-

зях с обществом, стала чрезмерно циничной, привыкла к комфорту, от которого ей будет нелегко отказаться.

2. Поддаться своим естественным склонностям и не сопротивляться. В этом случае партия могла бы довольно быстро превратиться в высший класс или касту советского общества. Она могла бы быть принята в том виде, в каком она предстает в описании Земцова, или даже в таком, как когда-то предсказал Плеханов: мафии, терроризирующей и грабящей граждан, или касты инков, подчиняющей всю жизнь простонародья интересам своего священного существования. Немыслимая революция тогда заключалась бы в том, что партия превратилась бы в класс в рамках общества, вместо того, чтобы витать над ним, будучи от него отделенной магической властью идеологии. Господство партии приобрело бы при этом «законное основание» в виде традиции, давности нахождения ее у власти, принятых обычаев и т. п. Ниоткуда не следует, что законность этой власти оспаривалась бы в большей степени, чем власть маньчжуров в Китае в эпоху династии Цин, существовавшей с XVII по XX столетие, или господство династии оттоманов в Турецкой империи (с XIV по XX вв.), или продолжающееся по сей день правление мулатов на Гаити. И кто знает, не превратилась ли бы со временем коммунистическая партия в нечто похожее на «институциональную революционную партию», которая мирно и благополучно правит Мексикой вот уже шестьдесят лет.

Одним махом тогда можно бы было, наконец, избавиться от необходимости прибегать к идеологии. Для всех советских людей, даже для самой партии, это было бы облегчением, которое нам трудно вообразить. Видеть социализм там, где его нет, называть белое черным — это обязательное упражнение в галлюцинации оказывается, по рассказам всех очевидцев, несравненно более мучительным, унижительным, а с течением времени и более разрушительным для сердца и ума, чем крайняя нищета и абсолютное порабощение. С тех пор, как

существует человеческое общество, люди испытывали нищету и порабощение, так что могло даже начать казаться, что несправедливость — это одна из статей извечного «общественного договора». Но ни один общественный договор до прихода коммунистического режима никогда не предусматривал в качестве обязательного условия коллективное безумие.

Упразднение идеологии дало бы партии (с излагаемой мной точки зрения) очевидные преимущества. С этого момента она может иметь дело с реальностью, такой как она есть, и поступать в соответствии с рациональными схемами. Например, если она ставит своей целью экономическое развитие или военную мощь, то она может впредь рассматривать средства достижения этих целей, не прибегая к искажающему фильтру или словесной маскировке — тогда как сейчас она вынуждена заниматься «строительством социализма», то есть достижением лишенной содержания и неуловимой цели, что обескураживает попытки любого рационального подхода. Можно было бы быстро оздоровить абсурдную систему сельскохозяйственного и промышленного производства. Ни у кого нет сомнения, что после подобной революции СССР действительно превратился бы в экономического гиганта (сейчас он лишь притворяется таковым) и мог бы с гораздо меньшими усилиями играть роль мировой державы, на которую он претендует.

Безусловно, многие в партии помышляют о такой эволюции — которую они себе представляют вовсе не как революцию. Каждый раз, когда в западной печати говорится о клане «технократов», или «военных», или «КГБ» внутри партийного руководства, фактически (хотя и в искаженном виде) речь идет о реально существующей в партийном аппарате тенденции установить отношения взаимности с обществом, упразднить идеологию, вернуться к реальности и рациональным соображениям. «Технократы», «военные», «представители КГБ» принадлежат к партии, но играют в ней техническую роль и неизменно занимают исполнительные посты, имеющие

второстепенный характер. Ключевые же позиции занимают в ней суровые стражники идеологии, неисправимые сторонники «православия».

Я не знаю, каким образом они рассуждают на своем малоприспособленном для интеллектуальной деятельности языке, если они вообще рассуждают. Можно представить себе, как выглядят их соображения, сформулированные в других терминах. Они безошибочно чувствуют, что соблазн реальности, сколь бы заманчивым он ни казался и какие бы немедленные выгоды ни предоставлял, неминуемо приведет к изменению формы их бытия, или даже к небытию. Интуитивно они понимают, хоть их и нельзя заподозрить в приверженности к древнегреческой философии, что «бытие есть, а небытия — нет», и боятся оказаться в числе проигравших. Выражаясь менее абстрактно, они знают о существовании напряженности и конфликтов, угрожающих самому существованию СССР и коммунистического режима. Это национальные, социальные и культурные конфликты, столь взрывчатые, столь мощные, столь запутанные, что никакая рациональная политика не сумеет с ними справиться. Так что лучше довериться тому, что до поры до времени не позволяет всему этому распастись — магической силе идеологии, парализующей обязательности бессмыслицы. Если бы СССР захотел превратиться в классическую русскую империю, а коммунистический режим — в классическую тиранию, то этот революционный переход неминуемо повлек бы за собой какой-то период безвластия, и сколь бы кратким тот ни был, этого будет достаточно, чтобы все разлетелось на куски. Зачем нужно признавать, что СССР по своей форме является колониальной империей, если навязанная сверху фикция «дружбы народов» позволяет эффективно подавлять националистические настроения в союзных республиках и отправлять в лагеря приверженцев «буржуазного национализма»? Зачем признавать, что рабочий класс в Советском Союзе является наименее охраняемым законом, наименее представленным в орга-

нах власти, наиболее безоружным во всей Европе, если голословное утверждение, что он «находится у власти», и церемониальные восхваления по случаю праздников и годовщин режима полностью парализуют рабочее движение и в зародыше сводят на нет все попытки придать ему форму организации? Так что сколь бы заманчивым ни казалось возвращение к реальности с целью спасения режима, сама эта реальность настолько неприемлема, настолько невозможно признаться в ее существовании, что этот процесс неминуемо станет смертным приговором режиму. Поэтому лучше оставаться в царстве фикции — и советские руководители выбирают третий путь.

Две первые политические линии являются чисто теоретическими, и я изложил их только для того, чтобы показать, где проходит третья, которая, судя по опыту Земцова, действительно проводится в жизнь. Он излагает эту концепцию во второй части своей книги, где одновременно сообщает некоторые сведения о своей собственной роли — социолога на службе КГБ. Об этом следует сказать несколько слов.

В течение долгого времени социология в СССР не признавалась и осуждалась. Маркс и Ленин установили окончательные истины и законы развития общества, так что тут уж ничего нельзя, как говорится, «ни убавить, ни прибавить». Зачем нужно осквернять социалистическую науку этим архибуржуазным учением, несущим на себе пятно объективизма в его худшем виде? Однако оказалось, что не заботящийся ни о диалектике, ни о классовом содержании социальных явлений объективизм может принести определенную пользу. Именно, социология полезна для сбора информации. Заметим, что эта задача в СССР представляет огромные трудности — по крайней мере, по двум причинам. Первая из них состоит в том, что каждый, кто предоставляет какие-то цифры или данные, несет за это ответственность. Эта ответственность может быть политической или даже уголовной, и это прекрасно известно тем, кто должен выпол-

нять плановые задания и одновременно представлять статистические сведения об их выполнении. Им известно также, что фактические результаты не могут отклоняться от значений, предусмотренных планом, и поэтому они фальсифицируют фактические показатели. Далее, уже на этих показателях основывается следующий план и составляются ежегодные сводки, так что можно быть уверенным, что и в следующем году буржуазный объективизм окажется посрамленным. Вторая причина — в идеологии и в тех отношениях между партией и обществом, которые она устанавливает. Поскольку общество является «социалистическим», понятно, что целый ряд явлений и данных, несовместимых с природой социализма, никогда не мог бы найти себе места в статистических сводках. Кто же тогда осмелится собирать и систематизировать подобные данные? Кто осмелится вести учет разворовывания чего только можно, нищеты, преступности, забастовок, несчастных случаев на производстве, раз такие явления не могут существовать, а, значит, и не существуют? Даже железнодорожные и авиационные катастрофы, да что там — даже, за редким исключением, наводнения и землетрясения — обходятся молчанием в советской печати. В идеологической реальности землетрясений нет и не бывает.

Отсюда следует, что партия не знает, что происходит в СССР, несмотря на вездесущую полицию и систему взаимных доносов. Я готов спорить, что сам Брежнев знает не больше, чем средний советский гражданин или ученый специалист из Лондонской школы экономики, сколько в Советском Союзе *на самом деле* производится зерна, молока или стали. Я склонен думать, что Сталин знал, каково население «архипелага ГУЛаг», лишь с точностью до нескольких миллионов человек. Когда Солженицын называет число жертв коммунистического режима — шестьдесят миллионов человек — я ручаюсь, что ни один руководитель этого режима не в состоянии противопоставить ей истинную цифру, которую он должен был бы знать в своем качестве руководителя.

Но когда по какой-нибудь причине руководителю вдруг оказываются нужны цифры или данные, можно думать, что он обращается к социологу. Действительно, разработаны методы социологического опроса, которые дают достаточно точные результаты и обладают огромным преимуществом — они безличны, и настолько, что можно даже получить требующиеся данные в обход тех, кто призван их предоставлять. Таким образом, достаточно засадить социолога за работу и затем засекретить полученные им объективные результаты. Одним словом — полицейская социология, но именно она и привела Земцова в самую гущу проблем политического аппарата власти и дала ему возможность наблюдать его тайные пружины.

Земцов позволяет нам проследить за политической линией, которой партия следует в действительности, на примере подробно описываемой им карьеры Алиева. Его взлет, начавшийся в 1969 году, до сих пор не исчерпал всех скрытых в нем возможностей. На последнем съезде КПСС в 1976 г. Алиев поднялся еще на одну ступень партийной иерархии. Эксперимент был местного значения, но накопленный опыт годится не только для Азербайджана. Это старый метод российской администрации, существовавшей еще в царское время (например, карьера графа Киселева в царствование Николая I⁷), но затем перенятый большевиками: проводить испытания какой-либо новой политики в локальном масштабе, перед тем как распространить ее на всю Империю. Таким образом, карьера Алиева знаменует собой начало того, что автор называет «бесшумной революцией», уже осуществлен-

7) Киселев П. Д. (1788-1872) — русский государственный деятель. Еще в 1816 г. представил Александру I записку с планом постепенного освобождения крестьян от крепостной зависимости. Хоذا записка не получила, но после русско-турецкой войны 1828-1829 гг. Киселев назначается правителем Молдавии и Валахии, а затем, начиная с 1835 г., становится постоянным членом всех секретных комиссий по крестьянскому делу. С 1837 г. Киселев становится во главе вновь созданного Министерства государственных имуществ, занимающегося управлением т. н. государственными крестьянами, и в 1838-1840 гг. осуществляет широкую реформу, имеющую в качестве одной из целей со временем постепенно ликвидировать крепостное право (*Прим. перев.*).

ной во многих местах на периферии, хотя она еще и не одержала победу в центре. Как ее описать? Она стремится избежать как опасностей жесткого курса, так и опасностей линии попустительства, невмешательства в ход событий, и исходит из чисто прагматических соображений. Сторонники этой линии констатируют, что в партии царит коррупция, и хотят ей положить конец. Для этого нужно найти в партии внутренние резервы, «людей с чистыми руками», элиту неподкупных, способных восстановить порядок и утвердить *law and order*⁸. Этот лозунг американской демократии напрашивается сам собой, но в советском случае неподкупных требуется отыскать внутри самой мафии. Тем не менее, они могут рассчитывать на определенную поддержку общественного мнения. Аморальность, что бы я там ни толковал о ее плодотворном и благотворном влиянии в масштабах исторического развития, вещь сама по себе плохая, и люди переносят ее с трудом. Как простому человеку не испытать мгновенное чувство радости, заслышав о падении власть имущих, об опале самых беззащитных эксплуататоров? В течение многих веков это было для него самым большим удовольствием, а после революции — стало вообще чуть ли не единственным ему доступным.

Но где же взять этих «железных рыцарей с чистыми руками»? Формула настолько знакомая, что сомневаться

8) Правопорядок (англ.) К словам автора, называющего этот лозунг лозунгом американской демократии, следует отнестись с осторожностью. Дело не только в том, что с 1964 г. эти слова были взяты на вооружение противниками предоставления равных гражданских прав негритянскому населению США, и с тех пор считаются в американском политическом лексиконе скомпрометированными и «опасными». Даже если считать это злоупотреблением и не сомневаться в приверженности демократии Б. Голдуотера, сделавшего этот лозунг частью своей президентской кампании 1964 г., или К. Кулиджа, вынесенного на общеамериканскую политическую сцену благодаря его непримиримой позиции по отношению к забастовке чикагских полицейских и ставшего кандидатом в вице-президенты в 1920 году именно под знаменем «Law and Order», нельзя забывать, что этот лозунг с самого начала не был символом демократических тенденций. Он впервые появился в 1842 г., когда в штате Род-Айленд действовал имущественный избирательный ценз, лишавший права голоса более двух третей населения штата. За его отмену выступала «Партия избирательного права», а группа ее политических противников приняла название «Партии правопорядка». (Прим. перев.)

(да, впрочем, и особо выбирать) не приходится: конечно же, это наши славные чекисты. В КГБ существуют, и в достаточно большом количестве, прекрасные экземпляры «нового человека», которого партия сумела создать за шестьдесят лет. Строгий отбор, незаурядный корпоративный дух, безупречное коммунистическое воспитание, полученное в специальных школах, наконец (и прежде всего) материально обеспеченная, интеллектуально интересная и морально престижная карьера — все это делает КГБ подходящей для этой цели организацией, состоящей не только из преданных коммунизму людей, но еще и способных его *любить*.

Алиев принадлежит к этой когорте. Человек бесспорно недюжинный, он ведет свою игру у нас на глазах, по мере того, как разворачивается повествование. Мы следим за каждым его шагом, и постепенно этот репортаж о жизни советского руководителя, наблюдаемой вблизи, становится одним из самых уникальных и интересных документов, которые нам довелось прочесть. Я вряд ли могу найти другой пример очевидца, который провел бы столько лет вблизи самого сердца партийного аппарата (пусть даже регионального), не обладал бы при этом ни малейшей идеологической убежденностью, да еще и был способен рассказать об этом на языке нашей реальности.

Но добился ли Алиев успеха? Его программа была проста: доверить максимальное число постов работникам КГБ, провести чистку наиболее скомпрометировавших себя сотрудников аппарата, а остальных пропустить через курсы повышения квалификации в школах того же КГБ.

Оказывается, если верить Земцову, что эта политика не принесла ожидаемых результатов. «Рыцари с чистыми руками» были такими, покуда пребывали в асептической и находящейся под неустанным надзором среде государственной полиции. Подвергнувшись вредоносным испарениям жизни общества, они не замедлили сами включиться в механизм коррупции. Что еще хуже,

чистка тоже проходит не лучшим образом. Для старого большевика, помнящего 1936 и 1949 годы, сегодняшние сеансы самокритики должны быть чистым расстройством: никакого рвения к взаимным доносам, прискорбная вялость в самобичевании, заключаемые в коридорах сделки и, главное, ни следа настоящего страха! Все или почти все снова где-то благополучно пристраиваются. Такое впечатление, что внутри партийных инстанций воспроизводится тот же тип конфликтных взаимоотношений, что существует вне их, между партией и обществом, и что стороны торопятся заключить компромисс. Больше никто не осмеливается отправить в тюрьму даже какого-то преподавателя марксистско-ленинской философии, уличенного во взяточничестве!

Алиевский эксперимент выделяется на фоне давнего опыта. Идея доверить полиции чистку органов администрации не нова. Николай I положился в этом отношении на Третье отделение канцелярии Его Императорского величества, то есть на тайную полицию. Говорят, что он передал его начальнику, графу Бенкендорфу, собственный августейший носовой платок, желая тем самым показать, что тому надлежит осушать слезы, защищать вдов и сирот. Халиф Гарун-аль-Рашид, когда намеревается восстановить справедливость, сразу же думает о своей полиции. Последние проекты Ленина тоже шли в этом направлении. В 1919 году было создано государственное учреждение, которое в 1920 году стало именоваться Наркоматом рабоче-крестьянской инспекции (Рабкрин). Рабкрин был «специальным» наркоматом, в обязанности которого входил контроль за деятельностью других наркоматов и борьба против «административных излишеств, канцелярщины и волокиты». С момента своего возникновения он был отдан под начало Сталина... В Рабкрине царило большее самовластие бюрократических чиновников, чем в любом другом государственном учреждении. В то время Ленин полагал, что открыл чудесное средство исцеления от этой болезни: в 1920 году он подписал распоряжение о создании

сети комиссий партийного контроля, предусмотрев меры предосторожности, позволяющие сохранить «чистоту» этих комиссий. Ленин заботился о том, чтобы они в своей деятельности не зависели от исполнительных и законодательных органов партии, и таким образом не могли заразиться коррупцией и протекционизмом. Эти комиссии стали рассадником коррупции и протекционизма. В конце концов Ленин всецело положился на ЧК. В чем же состояло заблуждение вождя?

Дело в том, что подлинный резерв партии, ее тайное сокровище, ее «чаша святого Грааля» складывается во все не из людей. Партия не может последовать примеру Наполеона и «бросить в прорыв» гвардию: в противоположность наполеоновской, партийная гвардия сдается, но не умирает. Сердце партии нематериально — это идеология. Однако КГБ не является ни ее источником, ни производителем. Может случиться так, что оно пройдет соответствующую выучку и станет ее хранителем: идеология будет сохраняться, но в «глубокозамороженном» виде, и любое помещение ее в нормальные температурные условия незамедлительно приведет к процессу разложения. КГБ всегда было всего лишь техническим, исполнительным органом. Оно расположено на периферии партии: однако поместить его в центр, даже если оно будет в сто раз более коммунистическим, чем вся остальная партия, это значит ее уничтожить. Понятно, что Политбюро колеблется и не решается перенести опыт на всю партию.

В результате мы оказываемся перед частным случаем более общей проблемы: можно ли заменить принципы их вспомогательными инструментами? Можно ли поменять местами цели и средства? Национализм, полиция, армия — это «служанки идеологии», но они реальны и поэтому оказывают постоянное давление на ирреальность. Если воспользоваться словами св. Бонавентуры, могут ли они «обратить ее в бегство»? Вспомним, что метаморфоза, которая превратила бы Союз Советских Социалистических Республик во Всероссийскую Военно-

полицейскую Империю, ощущалась бы всеми его подданными как освобождение, ибо даже плохая реальность предпочтительнее ирреальности. Вот почему КГБ, перед «послужным списком» которого бледнеют все злодеяния гестапо, справедливо считается представителем *либеральной* тенденции в аппарате власти. По некоторым признакам можно судить, что даже такие достопочтенные люди, как историк-диссидент Рой Медведев, поддерживают линию т-на Андропова и пользуются в какой-то мере его протекцией. Но может ли эта линия привести к успеху? Алиевский курс есть не что иное, как осторожный вариант осуществления второй из возможностей, о которых говорилось выше. Он связан с той же неопределенностью. Ничто не гарантирует, что «национал-большевизм» сумеет без крупных потрясений, мирным путем заменить собой ленинский коммунизм. В который раз руководители Советского Союза оказываются стоящими перед извечным вопросом, который не дает покоя России вот уже на протяжении двух столетий: «Что делать?» Как я ни стараюсь поставить себя на их место — не знаю, что и ответить⁹.

9) Теоретически существует один возможный выход из этой ситуации, заключающийся в том, чтобы снять наболевшие внутриполитические проблемы, пустившись в «крупную игру» на международной арене. Попытка разрешить внутренние затруднения с помощью внешнеполитической авантюры — для истории не в новинку. Единственное, что можно сказать здесь по этому поводу — это то, что советские руководители не забывают готовиться к такой возможности. Но это уже другая тема.

СОЛЖЕНИЦЫН В ГАРВАРДЕ*

Можно предложить две различные интерпретации речи, произнесенной Солженицыным летом 1978 года в Гарварде: одна из них проста и очевидна, вторая — более рискованная и более гипотетическая, но зато она может оказаться также самой интересной и самой верной. Я изложу их по очереди.

После 1917 года в мире появилось немного людей (а среди русских, нам известных, пожалуй, ни одного), которые были бы более достойны восхищения, чем Александр Солженицын. Вступив в схватку с Тотальным Злом, которое едва не уничтожило его физически и морально, в числе пятидесяти миллионов других, он вышел из нее раненым, но непобежденным. Он сумел увидеть, что могущество советского режима покоится на ревностно охраняемой тайне его сущности и его действий. Он проник в эту тайну и разгласил ее. Он заставил нас сердцем почувствовать то особое страдание, причиняемое этим режимом, по природе своей отличным от всех остальных, которые испытало на себе человечество. Он дал Западу возможность вообразить невообразимое. Я мог бы продолжать и дальше, но все равно не исчерпал бы списка его выдающихся деяний. Он порожден беспрецедентной ситуацией, и я с трудом нахожу, с кем из исторических персонажей его можно сравнить. В определенном смысле он является национальным героем, «Освободителем», как Боливар или О'Коннор¹. Однако он все еще не освободил свою страну. Он является борцом за еще более возвышенное и правое дело, чем политическая свобода, ибо здесь речь идет не просто об угнетении, но о более фундаментальном извращении, затрагивающем нравственные устои общества, вне которых не может более существовать человечности, достойной этого названия. Поэтому нельзя признать неподобающим помещение его имени в один ряд с именами Пророков и

*) Статья в журнале «Commentaire», № 4(1978).

1) Симон Боливар (1783-1830) — национальный герой Латинской Америки, борец против испанского владычества, прозванный «Освободителем»; Дэвид О'Коннор (1775-1847) — борец за независимость, национальный герой Ирландии. (Прим. перев.)

Исповедников, как Илия, св. Афанасий, св. Максим² — и Солженицын, считающий, что он был неоднократно отмечен исключительной благосклонностью судьбы (или Божьей благодатью), далек от того, чтобы не осознавать своего Предназначения.

Довольно дифирамбов. Вспомним: кому много дано, с того много и спрашивается. С момента появления первой повести Солженицына мы знаем, что его индивидуальные действия способны повлиять на общую политическую атмосферу в его стране и даже изменить ее. «Один день Ивана Денисовича» стал политическим событием, но он был, как и последующие его произведения, еще и политическим маневром, элементом тщательно продуманной и мастерски разыгранной шахматной партии. Теперь, прочтя «Бодался теленок с дубом», мы знаем и это. Партия была проиграна; Солженицын сразу же сменил тон, но не отказался от намеренной политической цели. Он не забывает об этой цели ни на минуту, ни при каких обстоятельствах, в чем можно было бы усмотреть определенное внешнее сходство с Лениным. Подобно Ленину, Солженицын — это аскет-одиночка, лишь в минимальной степени руководствующийся эмоциональными порывами или личными симпатиями. Как и Ленин, он одержим манией уходящего времени: не терять впустую ни минуты из тех, что тебе отпущены. Было бы неверно видеть в этом просто черту характера — это результат объективной ситуации. Солженицын нащупал в Ленине зародышевую клетку, зиготу коммунизма. Он видит в себе антипода Ленина, его антитезу. Неудивительно поэтому, что он облекается в те же доспехи, пользуется теми же методами, заимствует аналогичное поведение. Это общее правило: когда ты

2) Илия — библейский пророк (IX в. до н. э.), выступавший за чистоту веры и против злоупотреблений царской тирании; св. Афанасий (296-373) — епископ Александрийский, неутомимый борец против арианской ереси (когда к 360 г. казалось, что арианство господствует во всей церкви, за исключением сопротивления Афанасия, возникло выражение «Athanasius contra mundum» — «Афанасий против всего мира»); св. Максим Исповедник (580-662) — византийский богослов и борец за веру (после 6 лет ссылки ему отрезали язык и правую руку, откуда он и получил прозвание Исповедник, то есть тот, кто страдает за то, что исповедует свою веру). (Прим. перев.)

ПАДЕНИЕ МУЖЕСТВА

— может быть самое разительное, что видно в сегодняшнем Западе постороннему взгляду. Западный мир потерял общественное мужество и весь в целом и даже отдельно по каждой стране, каждому правительству, каждой партии, и уж конечно — в Организации Объединённых Наций. Этот упадок мужества особенно сказывается в прослойках правящей и интеллектуально-ведущей, отчего и создаётся ощущение, что мужество потеряло целиком всё общество. Конечно, сохраняется мужество индивидуально-мужественных людей, но не им доводится направлять жизнь общества. Политические и интеллектуальные функционеры выявляют этот упадок, безволие, потерянности в своих действиях, выступлениях и ещё более — в услужливых теоретических обоснованиях, почему такой образ действий, кладущий трусость и заискивание в основу государственной политики, — прагматичен, разумен и оправдан на любой интеллектуальной и даже нравственной высоте. Этот упадок мужества, местами доходящий как бы до полного отсутствия мужеского начала, ещё особо иронически оттеняется при внезапных взрывах храбрости и непримиримости этих самых функционеров — против слабых правительств, или никем не поддержанных слабых стран, осуждённых течений, заведомо не могущих дать отпор. Но коснеет язык и парализуются руки против правительств могущественных, сил угрожающих, против агрессоров и против Интернационала Террора.

Напоминать ли, что падение мужества издревле считалось первым признаком конца?

Когда создавались современные западные государства, то провозглашался принцип: правительство должно служить человеку, а человек живёт на земле для того, чтоб иметь свободу и стремиться к счастью (смотри, например, американскую декларацию независимости). И вот наконец в последние десятилетия технический и социальный прогрессы дали осуществить ожидаемое:

погрузился в коммунизм достаточно глубоко, чтобы понять его и суметь оценить всю беспомощность тех, кто, так его и не поняв, продолжают тем не менее относиться к нему враждебно, именно они почти наверняка прилепят тебе ярлык «коммуниста наизнанку». Солженицын хочет быть таким Лениным наизнанку, Лениным — но на стороне сил Добра.

Однако, если вспомнить, что суть ленинизма есть иллюзия абсолютного, всеобъемлющего, непогрешимого Знания, то анти-Ленин должен быть чрезвычайно осторожен в том, что он думает и что говорит. Сила диссидента — в его связи с действительностью. Противовесом идеологии, лишенной всякой реальной почвы, может стать только система взглядов, верно отражающая реальность и неразрывно с нею связанная. Например, в том, что пишет Надежда Мандельштам, нет мощи, всепокрушающей силы, если угодно — гения Солженицына, но с нею мы чувствуем себя уверенно. Эта женщина, которую горе, невзгоды, любовь, смирение, вера отрешили от всех иллюзий и любых страстей, умеет безошибочно найти слова, которым веришь. Читатель мгновенно чувствует: она *поняла*, до конца. Она вознесла на недостижимую высоту извечное женское качество — *верность* и справедливость суждений. С Солженицыным всегда все было иначе. Каждая его публикация, каждое выступление оставляло у читателя впечатление присутствия при какой-то невероятной скачке с препятствиями. Всякий раз у зрителей перехватывало дыхание, и всякий раз всадник без труда перелетал поверх барьера. И вот теперь — Гарвардская речь: не споткнулся ли он на этот раз? не сорвался ли? Здесь нужно быть чрезвычайно осторожным. Можно рассматривать эту речь с точки зрения того, что говорит автор — и того, что он хочет сказать. В том, что он говорит, как на ладони, проявляются все слабые места Солженицына, все то, к чему он слеп. В том, что он хочет сказать, он задевает наши слабые места, наше собственное ослепление — и

государство всеобщего благосостояния. Каждый гражданин получил желанную свободу и такое количество и качество физических благ, которые по теории должны были бы обеспечить его счастье — в том сниженном понимании, какое в эти же десятилетия создалось.

(...) Обеспечена независимость человека от многих видов государственного давления, обеспечен большинству комфорт, которого не могли представить отцы и деды, появилась возможность воспитывать в этих идеалах и молодёжь, звать и готовить её к физическому процветанию, счастью, владению вещами, деньгами, досугом, почти к неограниченной свободе наслаждений, — кто же бы теперь, зачем, почему должен был бы ото всего этого оторваться и рисковать драгоценной своей жизнью в защите блага общего и особенно в том туманном случае, когда безопасность собственного народа надо защищать в далёкой пока стране?

(...) Соответственно своим целям западное общество избрало и наиболее удобную для себя форму существования, которую я назвал бы юридической. Границы прав и правоты человека (очень широкие) определяются системой законов. В этом юридическом стоянии, движении и лавировании западные люди приобрели большой навык и стойкость. (Впрочем, законы так сложны, что простой человек беспомощен действовать в них без специалиста.) Любой конфликт решается юридически — и это есть высшая форма решения. Если человек прав юридически — ничего выше не требуется. После этого никто не может указать ему на неполную правоту и склонять к самоограничению, к отказу от своих прав, просить о какой-либо жертве, бескорыстном риске.

(...) Всю жизнь проведя под коммунизмом, я скажу: ужасно то общество, в котором вовсе нет беспристрастных юридических весов. Но общество, в котором нет других весов, кроме юридических, тоже мало достойно человека. Общество, ставшее на почву закона, но не выше — слабо использует высоту человеческих воз-

поэтому вторая интерпретация дается нам с большим трудом, чем первая.

Первая не представляет трудности: она состоит просто в том, чтобы воспринимать содержание этой речи на русском (и советском) историческом фоне, выявляя связь между этим фоном и интеллектуальным опытом автора речи.

По семейному происхождению и традициям Солженицын не принадлежит к интеллигенции. Выросший в провинции, на юге России, он получил то «всеобщее и обязательное» образование, которым я годы первых пятилеток советская власть щедро оделяла молодежь, живущую вдали от столиц. Начатки точных наук и технических знаний, несколько классиков, прошедших через сито тщательного отбора и «классовой» трактовки, основы диамата — таков был интеллектуальный багаж юного артиллерийского капитана, бывшего на хорошем счету в своем полку, когда внезапно (он никогда и в мыслях не допускал такой возможности) на него навалились органы.

Один из моих знакомых рассказывал, что однажды Анна Ахматова, когда разговор зашел о Солженицыне, проронила: «Советский человек». Нетрудно представить себе, что эту гранд-даму, осознающую себя наследницей всего самого утонченного, что только произвела на свет русская культура, могло коробить то тяжеловесное, примитивное, плебейское, которое проявлялось в этом выходе из ГУЛага, когда он замахивался на Искусство. Но его величие — в другом: на своем собственном примере он показал, что человеческий дух, в его самых изначальных и универсальных проявлениях — выживает и побеждает. В мире, где господствовало не просто убийство, но право на убийство, не только беззаконие, но обязанность творить беззаконие, не только ложь, но и долг лгать — он восстановил всеобщие моральные

возможностей. Право слишком холодно и формально, чтобы влиять на общество благотельно. Когда вся жизнь пронизана отношениями юридическими — создаётся атмосфера душевной посредственности, омертвляющая лучшие взлёты человека.

Перед испытаниями же грозящего века удержаться одними юридическими подпорками будет просто невозможно.

В сегодняшнем западном обществе открылось неравенство между свободой для добрых дел и свободой для дел худых. И государственный деятель, который хочет для своей страны провести крупное созидательное дело, вынужден двигаться осмотрительными, даже робкими шагами, он всё время облеплен тысячами поспешливых (и безответственных) критиков, его всё время одёргивает пресса и парламент. Ему нужно доказать высокую безупречность и оправданность каждого шага.

(...) Так под видом демократического ограничения торжествует посредственность.

Подрыв административной власти повсюду доступен и свободен, и все власти западных стран резко ослабли. Защита прав личности доведена до той крайности, что уже становится беззащитным само общество от иных личностей — и на Западе приспела пора отстаивать уже не столько права людей, сколько их обязанности.

Весь этот переклон свободы в сторону зла создавался постепенно, но первичная основа ему, очевидно, была положена гуманистическим человеколюбивым представлением, что человек, хозяин этого мира, не несёт в себе внутреннего зла, все пороки жизни происходят лишь от неверных социальных систем, которые и должны быть исправлены. Странно, вот на Западе достигнуты наилучшие социальные условия — а преступность несомненно велика и значительно больше, чем в нищем и незаконном советском обществе.

(...) Широчайшей свободой естественно пользуется и

принципы. Жозеф де Местр³ проводил различие между варваром, способным воспринять семена цивилизации, и дикарем, испытавшим своего рода вторичное грехопадение, так что такое усугубление первородного греха делает невозможным никакое искупление. Можно было бы думать, что советский режим, упраздняя всеобщие критерии, позволяющие отличить добро от зла, правду от лжи, низверг русский народ из состояния варварства в одичание. Примерно к такому выводу приходит Зиновьев, рассматривающий советского человека как существо, прошедшее конечную стадию падения, деградировавшее до низшей ступени человечности, откуда уже нет возврата. Оказывается, это отнюдь не так — и Солженицын тому живое свидетельство.

Лагерь стал для него школой, где его бескультурье превратилось в культуру, если понимать под этим словом способность правильно судить о вещах. Здесь он приобрел чувство конкретной реальности и умение одним словом уничтожить натромождения «туфты». Русская интеллигенция в течение столетия мечтала о народе и не могла прийти к нему. И вот, наконец, перед нами подлинно народный писатель — с его неунывающим, дерзким характером, наделенный огромной физической выносливостью и обостренным чутьем ко лжи и показухе. В самом деле, настоящий советский человек — в лучшем смысле этого слова.

Но Солженицын не мог остановиться на этом. Он начал заниматься самообразованием — с той энергией, с которой он берется за любое дело. Он обратился к классической русской культуре — но к какой именно?

По-видимому, одна из ее традиций не особенно его привлекала — та, которая, говоря условно, ведет от Пушкина к Мандельштаму и Ахматовой. В области эстетики для нее характерна забота о форме, в политике

3) Жозеф-Мари де Местр (1753-1821) — французский публицист, политический деятель и религиозный философ. Идеи де Местра о необходимости внесения в мир религиозной упорядоченности оказали значительное влияние на М. Я. Чаадаева («Философические письма») и политические трактаты Ф. И. Тютчева. (Прим. перев.)

пресса (я употребляю дальше это слово, включая все mass media)*. Но — как?

Опять: лишь бы не перешагнуть юридические рамки, но безо всякой подлинной нравственной ответственности за искажение, за смещение пропорций. Какая у журналиста и газеты ответственность перед читающей публикой или перед историей? Если они неверной информацией или неверными заключениями повели общественное мнение по неверному пути, даже способствовали государственным ошибкам — известны ли случаи публичного потом раскаяния этого журналиста или этой газеты? Нет, это подорвало бы продажу. На этом случае может потерять государство, но журналист всегда выходит сух. Скорее всего он будет теперь с новым апломбом писать противоположное прежнему.

Поверхностность и поспешность — психическая болезнь XX века — более всего и выражена в прессе. Прессе противопоказано войти в глубину проблемы, это не в природе её, она лишь выхватывает сенсационные формулировки.

И при всех этих качествах пресса стала первой силой западных государств, превосходя силу исполнительной власти, законодательной и судебной. А между тем: по какому избирательному закону она избрана и перед кем отчитывается? Если на коммунистическом Востоке журналист откровенно назначается как государственный чиновник, то кто выбрал западных журналистов в их состоянии власти? на какой срок и с какими полномочиями?

Безо всякой цензуры на Западе осуществляется придирчивый отбор мыслей модных от мыслей немодных —

*) Mass media (англ.) — средства массовой информации. (Прим. перев.)

— либерализм, в религии — умеренность, в быту — склонность к веселой, честной и благополучной жизни, и, наконец, интерес скорее к отдельному человеку, чем к коллективным судьбам народа. Солженицын ко всему этому не предрасположен. Это линия поэтическая, а он не поэт. Он — романист, учившийся своему ремеслу у Толстого и тех писателей, которые обладают схожим с ним способом изложения. «Матренин двор» мог бы фигурировать в «Записках охотника», а что касается морали — в назидательных притчах позднего Толстого. Связь между «Августом четырнадцатого» и «Войной и миром» очевидна — быть может, даже слишком. Стилистические нововведения Солженицына — массовое привлечение лагерного языка, современного просторечия — принадлежат к тому же типу, что и нововведения русских реалистов, которые уже в прошлом веке придавали большое значение собиранию народных словечек и выражений, что должно было свидетельствовать об огромных творческих возможностях, заложенных в русской разговорной речи. Для писателя это означает общение с народной жизнью и выполнение патриотической миссии. Этот процесс сегодня стал абсолютно необходимым, поскольку русский язык разъеден идеологией, и любое вторжение живой речи в болото сукомого языка уже само по себе является определенным освобождением и — с точки зрения Органов — подрывной деятельностью.

В 1957 году, после своего освобождения, Солженицын изъявил желание принять крещение и был принят в лоно русской православной церкви. Само по себе подобное решение не влекло за собой выбора никакой определенной культурной ориентации, однако он не мог не обратиться к широкому течению русской мысли, ссылающемуся на православие. Это направление испытало два периода расцвета: первый из них в XIX веке ознаменовался именами славянофилов, Гоголя, Достоевского; второй пришелся на последние предреволюционные годы, и к нему следует отнести так называемое «рели-

и последние, хотя никем не запрещены, не имеют реального пути ни в периодической прессе, ни через книги, ни с университетских кафедр. Дух ваших исследователей свободен юридически — но обставлен идолами сегодняшней моды. Не прямым насилием, как на Востоке, но этим отбором моды, необходимостью угождать массовым стандартам, устраняются от вклада в общественную жизнь наиболее самостоятельно-думающие личности, появляются опасные черты стадности, закрывающей эффективное развитие.

Я надеюсь, никто из присутствующих не заподозрит, что я провёл эту частную критику западной системы для того, чтобы выдвинуть взамен идею социализма. Нет, с опытом страны осуществлённого социализма я во всяком случае не предложу социалистическую альтернативу. Что социализм всякий вообще и во всех оттенках ведёт ко всеобщему уничтожению духовной сущности человека и нивелированию человечества в смерть — глубоким историческим анализом показал математик академик Шафаревич в своей блестяще аргументированной книге «Социализм»; скоро 2 года, как она опубликована во Франции — но ещё никто не нашёлся ответить на неё. В близком времени она будет опубликована и в Америке*.

Но если меня спросят напротив: хочу ли я предложить своей стране в качестве образца сегодняшний Запад как он есть, я должен буду откровенно ответить: нет, ваше общество я не мог бы рекомендовать как идеал для преобразования нашего. Для того богатого душевного развития, которое уже выстрадано нашей страной в этом веке — западная система в её нынешнем, духовно-истощённом виде не представляется заманчивой. Даже перечисленные особенности вашей жизни приводят в крайнее огорчение.

*) Русское издание: И. Шафаревич, «Социализм как явление мировой истории», изд-во «Имка-Пресс», Париж, 1977. (Прим. перев.)

гиозное возрождение» и, в какой-то степени, символизм. Это течение содержит в себе неравноценные элементы, но все они, благодаря самому факту опоры на христианство, приобретают всеобъемлющую гарантию истинности, которая легко может ввести в заблуждение. Наиболее обманчивым является теологическое обоснование национализма, слияние национальной идеи с идеей мессианической, уподобление России богоизбранному «Остатку Израиля»⁴. Как это ни прискорбно, но если Бог и обращал свои слова к евреям, то этого нельзя сказать о русских. Где найти на этих бескрайних и печальных равнинах знак избранности? Теологическое рассуждение, родом из Германии, дает ответ: точно так же, как следует различать невидимую, мистическую церковь и церковь видимую, земную, так и в самой России нужно видеть ее истинный образ — образ Церкви, и отличать ее суть, коей является святость, от случайностей ее исторического существования. «Умом Россию не понять, — писал Тютчев, — в Россию можно только верить». И наоборот: сколько бы ни кичился Запад своим кажущимся превосходством, все равно его сущность прогнила насквозь — это лишь «надгробие», «кладбище». Отсюда вывод: если русская идея, воплощение Добра, ускользает от взгляда и обнаруживается лишь в свете Веры, тогда реальная Россия как она есть теряет всякое значение и может быть беспрепятственно предоставлена во власть Зла. Это означало на практике проповедь нигилизма, который прикрывался флагом христианства и был более возвышенным, более глубоким и, следовательно, еще более вредоносным, чем революционный нигилизм. Подобная философия порождала лишь презрение к попыткам проведения социальных реформ, уничижительное отношение к юридическим формам, к экономическому укреплению страны, распространяла пренебрежение к условностям, общепринятым правилам и комфорту. Она возводила на пьедестал идеалистическое, чуждое всему земному, умонастроение. сенти-

4) См. прим. на стр. 63.

Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. За шесть десятилетий наш народ, за три десятилетия — народы Восточной Европы, прошли душевную школу, намного опережающую западный опыт. Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная регламентированная жизнь Запада. Поэтому для нашего общества обращение в ваше означало бы в чём повышение, а в чём и понижение — и в очень дорогом. Да, невозможно оставаться обществу в такой бездне беззакония, как у нас, но и ничтожно ему оставаться на такой бездушевной юридической гладкости, как у вас. Душа человека, исстрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более тёпловому, более чистому, чем может существование, как визитной карточкой предпосылаемое отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой.

Как сложилось нынешнее невыгодное соотношение? От своего триумфального шествия — каким образом западный мир впал в такую немощь? Были в его развитии губительные переломы, потери взятого курса? Да как будто нет. Запад только прогрессирует и прогрессирует в объявленном социальном направлении, об руку с блистательным техническим Прогрессом. И вдруг оказался в нынешней слабости.

И тогда остаётся искать ошибку в самом корне, в основе мышления Нового Времени. Я имею в виду то господствующее на Западе мировоззрение, которое родилось в Возрождение, а в политические формы отлилось с эпохи Просвещения, легло в основу всех государственных и общественных наук и может быть названо рационалистическим гуманизмом либо гуманистической автономностью — провозглашённой и проводимой автономностью человека от всякой высшей над ним силы. Либо,

ментальный мистицизм, сеяла культ ложной глубины, за которой была пустота. Адепты этого течения свысока смотрели на эгоистических англичан, легкомысленных французов, материалистических американцев. Так возникли «русские типы» пророчествующего поэта, дамы-аристократки, философа с бездонным и непроницаемым взглядом. Образованная публика, пресыщенная народническо-марксистствующим кликушеством, благосклонно взирала на «новых философов», не особенно стремясь разобраться в этой мешанине христианской традиции и теософии, гениальности и экстравагантности.

Надежда Манделыштам неопровержимо продемонстрировала, что на плечи символистов тяжким грузом ложится историческая ответственность за моральное разоружение русской интеллигенции. Они считали себя пророками, а на деле были лишь пособниками революционеров. Русский интеллигент, ввергнутый в крайнюю нищету и бесправие во имя светлого будущего, не осмеливался напомнить вслух о законе, собственности, ценностях повседневной жизни. Разве ему не объяснили, что все земное — ничто по сравнению с возвышенной сутью? Все, чего он мог позволить себе добиваться — это большей доброты, терпимости, милосердия, немного религиозного духа: именно этим и ограничивается протест доктора Живаго.

Нет ничего более притягательного, более завораживающего, чем обольстительная русская религиозная философия. Каждый в России, кто пытается построить свою концепцию мира, не может избежать ее влияния. К ней примыкают почти все великие писатели, музыканты, живописцы, все эмигрантские мыслители. За исключением хрупкого и прерывистого пушкинского ответвления, она и есть — русская культура. Поэтому приобщиться к культуре — означало для Солженицына усвоить категории мышления этой философии.

Ну, а как насчет Запада? Пока Солженицын находился в России, у него практически не было возможностей соприкоснуться с этим источником. Книги и жур-

иначе, антропоцентризмом — представлением о человеке как о центре существующего.

Сам по себе поворот Возрождения был, очевидно, исторически неизбежен: Средние Века исчерпали себя, стали невыносимы деспотическим подавлением физической природы человека в пользу духовной. Но и мы отринулись из Духа в Материю — несоразмерно, непомерно. Гуманистическое сознание, заявившее себя нашим руководителем, не признало в человеке внутреннего зла, не признало за человеком иных задач выше земного счастья и положило в основу современной западной цивилизации опасный уклон преклонения перед человеком и его материальными потребностями.

(...) Так и оставлены были сквозняки для зла, которые сегодня и продувают свободно. Сама по себе обнажённая свобода никак не решает всех проблем человеческого существования, а во множестве ставит новые.

Запад наконец отстоял права человека и даже с избытком — но совсем поблекло сознание ответственности человека перед Богом и обществом. В самые последние десятилетия этот юридический эгоизм западного мироощущения окончательно достигнут — и мир оказался в жестоком духовном кризисе и политическом тупике.

(...) Чем более гуманизм в своём развитии материализовался, тем больше давал он оснований спекулировать собою — социализму, а затем и коммунизму. Так что Карл Маркс мог выразиться (1844): «коммунизм есть натурализованный гуманизм».

И это оказалось не совсем лишено смысла: в основаниях выветренного гуманизма и всякого социализма можно разглядеть общие камни: бескрайний материализм; свободу от религии и религиозной ответственности (при коммунизме доводимую до антирелигиозной диктатуры); сосредоточенность на социальном построении и наукообразность в этом (Просвещение XVIII века и марксизм). Не случайно все словесные клятвы комму-

налы доходят туда нелегко. Чтобы их найти, нужно жить в Москве, иметь свободное время, деньги, пользоваться доступом к частным библиотекам, к «самиздату». В течение десяти лет Солженицын жил между Рязанью и Обнинском, ютясь в клетушках и хибарах, лишенных малейших удобств. Он сумел создать семью, родить троих сыновей, написать монументальное произведение. Все это оставляет немного времени, чтобы быть в курсе того, что происходит вдали от России. Неудивительно, что у него в памяти отложились главным образом упрощенные схемы и рассуждения, типа отчетов «Римского клуба»⁵, которые были тогда в большой моде в кругах ученых, оказывавших писателю свою помощь и поддержку.

Но так ли уж стремился Солженицын действительно узнать и понять Запад? В этом отношении он никогда не шел по стопам, скажем, Пушкина или Мандельштама. Они ставили себе целью переплавить в русские созвучия то, что они находили у Шекспира, у французских и немецких поэтов. Данте был для Мандельштама современником, живым источником всей поэзии, неким божественным первообразом, путеводной звездой, которая постоянно должна быть перед глазами жителя черной бездны — СССР. Он был образцом именно потому, что он-то и был Италией, так же как Мандельштам — Россией. Однако, это ощущение наднациональной культурной общности чуждо автору «Архипелага ГУЛаг». Он — просто русский, и этого ему достаточно.

Но вот Солженицын оказывается изгнанным из России и попадает на тот самый Запад, который всегда интересовал его бесконечно меньше, чем судьба его родины. Что он будет делать? как реагировать? Нужно сразу же подчеркнуть, что во всем, что было им написано до

5) «Римский клуб» — неформальная международная группа ученых и экономистов, получившая это название по месту их первой встречи. Начиная с 1968 г., опубликовала ряд отчетов («Пределы роста», «Человечество в момент перелома» и др.), содержащих прогнозы дальнейшего развития человечества, разработанные на основе анализа с помощью ЭВМ эволюции населения, природных ресурсов и окружающей среды. (Прим. перев.)

низма — вокруг человека с большой буквы и его земного счастья. Как будто уродливое сопоставление — общие черты в мирознании и строе жизни нынешнего Запада и нынешнего Востока! — но такова логика развития материализма.

Причём, в этом соотношении родства закон таков, что всегда оказывается сильнее, привлекательнее и победоноснее то течение материализма, которое левей и, значит, последовательнее. И гуманизм, вполне утерявший христианское наследие, не способен выстоять в этом соревновании. Так, в течение минувших веков и особенно последних десятилетий, когда процесс обострился, в мировом соотношении сил: либерализм неизбежно теснился радикализмом, тот был вынужден уступать социализму, а социализм не устаивал против коммунизма. Именно потому коммунистический строй мог так устоять и укрепиться на Востоке, что его рьяно поддерживали (ощущая с ним родство!) буквально массы западной интеллигенции, не замечали его злодейств, а уж когда нельзя было не заметить — оправдывали их. Так и сегодня: у нас на Востоке коммунизм идеологически потерял всё, он упал уже до ноля, и ниже ноля, западная же интеллигенция в значительной степени чувствительна к нему, сохраняет симпатию — и это-то делает для Запада такой безмерно трудной задачу устояния против Востока.

Я не разбираю случая всемирной военной катастрофы и тех изменений общества, которые она бы вызвала. Но пока мы ежедневно пробуждаемся под спокойным солнцем, мы обязаны вести и ежедневную жизнь. А есть катастрофа, которая наступила уже изрядно: это — катастрофа гуманистического автономного безрелигиозного сознания.

Мерю всех вещей на Земле оно поставило человека — несовершенного человека, никогда не свободного от самолюбия, корыстолюбия, зависти, тщеславия и десятков других пороков. И вот, ошибки, не оцененные в на-

изгнания, мы тщетно доискивались бы даже следов того неприязненного отношения к Западу, проявления которого рассеяны по всей классической русской литературе, от Фонвизина и далее, через Достоевского, до Блока: несправедливое охаивание, непонимание, зависть, сознательно культивируемая неосведомленность, огульное отрицание и осуждение. Благодаря присущему ему чувству справедливости Солженицын сумел здесь сохранить объективность.

И все же, впервые вступая на чужеземную почву, Солженицын принял одно характерное решение и не сумел избавиться от одного — тоже характерного — предубеждения. Решение было — обойтись без изучения чужого языка. Для писателя переход на другой язык — это всегда мучительный и удручающий процесс. Кроме того, трудно отделаться от впечатления, что для Солженицына — как и для Синявского, для Максимова, почти для всех эмигрантов — доскональное изучение иностранного языка является своего рода предательством по отношению к русскому языку. А поскольку последний неизменно наделялся магическими качествами, то это означает предательство и по отношению к России. Со стороны это выглядит так, как если бы миссия сохранения русской культуры, русского духа, обязывала эмигрантов замыкаться внутри языка, откуда уже никто не сможет их изгнать. Я знал нескольких старых русских эмигрантов, приехавших во Францию в 20-е годы, которые и через пятьдесят лет были неспособны произнести «бонжур» или «мерси». Это постоянство, которое в первые годы еще могло казаться трогательным, в конце концов начинало выглядеть увечным и жалким. Подобные страхи стали бы уделом и эмигрантов XIX века, если бы те волею судеб еще дома, до отъезда, не изучили языка той страны, где они оседали.

Предубеждение состояло в уверенности, что Запад ничего не знает о России и ничего в ней не понимает. Не имело никакого значения, что именно Запад взял на себя труд изучения этой страны, что западные ученые суме-

чале пути, теперь мстят за себя. Путь, пройденный от Возрождения, обогатил нас опытом, но мы потеряли то Целое, Высшее, когда-то полагавшее предел нашим страстям и безответственности. Слишком много надежд мы отдали политико-социальным преобразованиям — а оказалось, что у нас отбирают самое драгоценное, что у нас есть: нашу внутреннюю жизнь. На Востоке её вытаскивает партийный базар, на Западе коммерческий. Вот каков кризис: и не то даже страшно, что мир расколот, но что у главных расколотых частей его — сходная болезнь.

Если бы, как декларировал гуманизм, человек был рождён только для счастья — он не был бы рождён и для смерти. Но оттого, что он телесно обречён смерти, его земная задача, очевидно, духовней: не захлёб повседневностью, не наилучшие способы добывания благ, а потом весёлого проживания их, но несение постоянного и трудного долга, так что весь жизненный путь становится опытом главным образом нравственного возвышения: покинуть жизнь существом более высоким, чем начинал её. Неизбежно пересмотреть шкалу распространённых человеческих ценностей и изумиться неправомерности её сегодня.

(...) Держаться сегодня за окостеневшие формулы эпохи Просвещения — ретроградство. Эта социальная догматика оставляет нас беспомощными в испытаниях нынешнего века.

(...) Если не к гибели, то мир подошёл сейчас к повороту истории, по значению равному повороту от Средних Веков к Возрождению — и потребует от нас духовной вспышки, подъёма на новую высоту обзора, на новый уровень жизни, где не будет, как в Средние Века, предана проклятью наша физическая природа, но и тем более не будет, как в Новейшее время, растоптана наша духовная.

А. Солженицын

Отрывки из речи на ассамблее выпускников
Гарвардского университета 8 июня 1978 г.

ли найти правильный подход к ее истории, и что как раз в самой России методы «напускания тумана» и устраивания «дымовой завесы» оказались столь эффективными, что это пугало самих русских. Авторами всех крупнейших мистификаций в области истории России всегда были русские — от славянофилов до специалистов по «истмату». Раскапывать же истину приходилось западным ученым, от Шлэзера и Левека в XVIII веке и до европейских и американских историков нашего поколения. Но столь причудлива история этой страны, что ее обитатели искренне верят, что только они способны ее понять, ибо только они ее на себе испытывали. Увы! страдания не обязательно ведут к пониманию, и многие написанные в России исторические труды становятся на Западе просто документальными источниками, всю работу по анализу которых еще только предстоит проделать. Борис Суварин убедительно ответил Солженицыну в том, что касается этого вопроса⁶.

И, наконец — Гарвардская речь. Я лишь комментирую ее, и не собираюсь вступать с ней в спор. К тому же трудно не согласиться с ней в основной оценке: да, мы находимся в довольно мрачной ситуации. Даже если все пойдет не так плохо, как этого приходится опасаться, радоваться все равно будет особенно нечему. Великие пессимисты прошлого столетия, предрекавшие нашу неминуемую гибель (Флобер, Бодлер, Достоевский, Ницше), быть может, и ошиблись в дате (слава Богу, мы еще живы!), но были правы в главном, поскольку мы перечитываем их с тем же самым страхом. Любой житель Запада после некоторого раздумья согласится с Солженицыным в том, что факты, в которых тот его упрекает, действительно существуют. Все это правда: и что «нам» недостает гражданского мужества, что конкуренция и погоня за престижем опустошает нашу жизнь, что мы легкомысленно и безответственно пользу-

⁶ «Солженицын и Ленин» (на франц. яз.), «Est et Ouest», 1⁵ avril 1976, № 570.

емся предоставленными нам свободами, что особенно дорого нам приходится расплачиваться за свободу печати, что мода тиранит наши сердца и развращает мозг, что наше поведение в Индокитае, в Хельсинки, в Белграде было постыдным и безрассудным, что коммунизм питается нашей плотью, нашей слабостью, нашим отступничеством . . .

Все это так, но несчастье в том, что эти справедливые обвинения скрепляются общей концепцией, которая сама по себе неверна и приводит к ошибкам. За констатацией фактов стоит определенная теория, и Солженицын слишком легко объясняет с ее помощью наши недостатки. Это славянофильская теория, которая в очередной раз претендует на подтверждение фактами. В чем ее суть?

Запад изнутри разъедает червоточина, ибо он построен на рациональной (технической) и формальной (юридической) основе. Это старая русская погудка на новый лад, которая без усталости повторяется из века в век. Она пришла из немецкого романтизма и прижилась на русской почве благодаря Киреевскому и Хомякову⁷. Она оживает всякий раз, когда русский покидает свою страну, где господствует образ жизни, уже ушедший в прошлое в передовых странах, социальный застой и произвол государства, и попадает на Запад. В России полностью отсутствует правозаконность — и Солженицын с гневом обличает такое положение — но в ней отсутствует также и постоянная напряженность, характерная для общественной жизни на Западе. Там, где отсутствует право, где нет устойчивых и надличностных рамок, определяющих отношения между людьми, устанавливается полное господство принципа «все мы люди, а человек с человеком всегда договорится». Этот принцип управляет отношениями как между «начальством» и теми, кто стоит ниже его, так и между самими

⁷ Киреевский И. В. (1806-1860) и Хомяков А. С. (1804-1860) — русские религиозные философы, литературные деятели и публицисты, основоположники славянофильства. (Прим. перев.)

нижестоящими, которые все равны перед лицом произвола власть имущих. Если эти отношения и несправедливы, то они по крайней мере являются личностными. В результате трудно устоять перед искушением перепутать равенство перед законом и равенство перед беззаконием, и предпочесть теплоту «человеческих» отношений «холодности» отношений, основанных на правозаконности. Животное тепло и полумрак битком набитого стойла, жаркие излияния, нескончаемый «разговор по душам» — именно так зачастую в России понимается *человечность*, что в конце концов приводит к тому, что русская жизнь, даже в лагере, начинает казаться более привлекательной, чем жизнь захолустного американского городка. Но нет ли здесь еще большей опасности для человеческой личности, чем в простой, непритязательной и безобидной погоне за комфортом, разыгрывающейся изо дня в день в тысячах западных магазинов самообслуживания? Оставаясь в круте категорий Солженицына, спросим себя: где же подлинный аскетизм? В униженности раба или в корректной выдержанности гражданина? Нельзя утверждать в одно и то же время, что западный человек несчастен и что у него недостает гражданского мужества, ибо именно для того, чтобы остаться гражданином, он переносит безличность юридических отношений, холодность и отчужденность, неотделимые от возможности пользоваться свободой. Если бы только Солженицын осознал это, он нашел бы в себе больше сочувствия к тому моральному кризису, через который вот уже пятнадцать лет проходит американское общество, кризису мучительному, потому что он поражает его детей, и который оно стоически переносит и даже, быть может, уже преодолевает как раз в тот момент, когда русский эмигрант обращает в адрес этого общества избитые упреки, сто раз пережеванные прессой. Он позволяет себе говорить обидные и несправедливые вещи, противопоставляя то, что представляет собой исключение даже в условиях СССР, тому — что является нормой в США, сравнивая

между собой солженицынского героя и американскую домохозяйку. Он пишет:

«Несомненный факт: расслабление человеческих характеров на Западе и укрепление их на Востоке. (...) Сложно и смертно давящая жизнь выработала характеры более сильные, более глубокие и интересные, чем благополучная и регламентированная жизнь Запада».

Однако, благодаря Владимову, Ерофееву, Зиновьеву и самому Солженицыну, весь мир теперь знает об ужасающей деградации личности в условиях советского режима, об одичании среднего советского человека, его возвращении к почти первобытному состоянию. Всем нам памяты страницы «Архипелага», посвященные «социально близким» и устрашающей советской преступности. И вот теперь сам их автор уверяет нас, что на Западе уровень преступности выше, чем в советском обществе! Да что мы вообще можем об этом знать? А Солженицын — знает.

Осознает ли он, сколько нужно стойкости, чтобы оставаться порядочным человеком, живя в этом западном мире, столь несовершенном, но по крайней мере не стремящемся к установлению идеального, совершенного общества и потому предусмотрительно создавшем юридические структуры, предохраняющие его от худшего? Не имея представления о том, что такое политическая жизнь, Солженицын приписывает моральным устоям западного общества, его воображаемой сути те слабости, которые на самом деле присущи либеральному и демократическому строю. Если Запад беспомощен перед происками Востока, то причину следует скорее искать не в его слабости и не в извечной сути Запада, а в том — что он демократичен, а демократия не создает оптимальных условий для проведения внешней политики. Наша система — не лучшая, но она наименее худшая из возможных в существующих обстоятельствах и вдобавок единственная, которая дает хоть какие-то

шансы более или менее длительно сопротивляться коммунистическому оболыщению. Солженицын пишет:

«Душа человека, истрадавшаяся под десятилетиями насилия, тянется к чему-то более высокому, более теплomu, более чистому, чем может предложить нам сегодняшнее западное массовое существование».

Возражать трудно, но увы! — ничего лучшего человечество пока не придумало.

Можно понять, что происходит в душе эмигранта. Покинув абсолютно плохой мир, он попадает в мир, относительно плохой. Этот мир в течение столетий существует в условиях постоянного кризиса и критики. Эмигранту не приходится изобретать критические аргументы по адресу недостатков западного мира: он получает их готовыми сразу же по прибытии. Этот мир, выражаясь словами Солженицына, «как визитной карточкой», незамедлительно оповещает о себе «отвратным напором реклам, одурением телевидения и непереносимой музыкой». В первой же попавшейся ему на глаза газете эмигрант найдет все основания и все аргументы для своего разочарования. Он испытал на собственном опыте, что несвобода — это худшее из несчастий. И вот оказывается, что свободе не сопутствует ни достоинство, ни счастье. Возможно ли сразу же, без длительных усилий, понять, что свобода — это также и свобода делать зло, что нельзя ожидать от людей, чтобы они всегда пользовались ею надлежащим образом, а от свободы — чтобы она хоть когда-нибудь породила что-либо, кроме себя самой?

Конечно же, это нелегко. Насколько более соблазнительно для эмигранта: ограничиться предоставляемыми ему уже готовыми теориями, сфабрикованными либо на Западе (вульгаризирующими, упрощенческими, в духе «Римского клуба»), либо в рамках его собственной культуры. Солженицын обращается к теории непрерывной деградации Запада после того, как он предал

забвению главную заповедь христианства, что произошло где-то в эпоху Возрождения (славянофилы начинали свой отсчет немного раньше). Это мысль вполне в духе Бердяева. Поскольку Россия не знала Возрождения, для национальной гордыни гораздо более утешительно думать, что корень зла — именно в нем. Однако это означает, что мы оказываемся в кругу утопий, помещающих «истинное» христианство в прошлом или в будущем. Но они и возникли-то даже не в России — включая сюда и тот их вариант, который известен под названием концепции «Святой Руси».

Чтобы лучше объяснить свою точку зрения, я обращусь к примеру Герцена. Пример, быть может, и не очень удачный, поскольку ни сравнительно жесткий и ограниченный самодержавный режим Николая I не имеет ничего общего с ужасами ленинизма, ни сама личность Герцена, несколько поверхностная и в общем второстепенная — с ключевой и универсальной фигурой Солженицына. Тем не менее, в какой-то момент Герцен был «совестью России».

До своего изгнания Герцен был поборником правозаконности, разоблачителем псевдо-славянофильской лжи, которой прикрывался режим Николая I. В эмиграции он основал журнал «Колокол», вокруг которого объединялись противники царского режима, занимавшиеся пересылкой в Россию нелегальной литературы, организацией побегов из ссылки и т. п. В отличие от Солженицына, Герцен был далек от того, чтобы вести жизнь затворника в вермонтских лесах. Он говорил на нескольких языках, посещал салоны Лондона и Парижа, был дружен с Гюго, Мишле, Миллем, Мадзини, и вообще был неизмеримо более европейцем по своей культуре и наклонностям. Впоследствии, однако, он разочаровался в Западе. В 1849 году он пишет своим московским друзьям:

«Не знаю, кто может находить теперь в Европе радость и отдых. (...) Вы видели трусть в каждой

строке моих писем: жизнь здесь очень тяжела — ядовитая злоба примешивается к любви, желчь — к слезе, лихорадочное беспокойство точит весь организм. Время прежних обманов, упований миновало. Я ни во что не верю, кроме в кучку людей, в небольшое число мыслей да в невозможность остановить движение. Я вижу неминуемую гибель старой Европы и не жалею ничего из существующего: ни ее вершинное образование, ни учреждения. (...) Я остаюсь — остаюсь страдать вдвойне, страждать от своего горя и от горя [этого мира], погибнуть, быть может, при разгроме и разрушении, к которым он несется на всех парах»⁸.

Я позволю себе привести еще более длинную цитату, настолько слышен в ней тот же отчаявшийся тон:

«Как же этот мир устоит против социального переворота? во имя чего будет себя отстаивать? — религия его ослабла (...) демократический принцип — рак, съедающий его изнутри. Духота, тяжесть, усталость, отвращение от жизни — распространяются вместе с судорожными попытками куда-нибудь выйти. Всем на свете стало дурно жить — это великий признак. (...) Все мельчает и вянет на истощенной почве — нету талантов, нету творчества, нету силы мысли, нету силы воли; мир этот пережил эпоху своей славы, время Шиллера и Гете прошло так же, как время Рафаэля и Бонарроти, как время Вольтера и Руссо, как время Мирабо и Дантона; блестящая эпоха индустрии проходит, она пережита так же, как блестящая эпоха аристократии. (...) Все жмутся, все боятся, все живут как лавочники, нравы мелкой буржуазии сделались общими; никто не берет оседлости; всё на время,

8) А. И. Герцен, Собр. соч., М., 1955, т. VI, стр. 12 [В одном из вариантов этого письма «солженицынские» мотивы звучат еще более отчетливо: «... я не жалею ничего из существующего: ни цивилизации, ни свободных учреждений». (Прим. перев.)]

наемно, шатко. (. . .) Кайтесь, господа, кайтесь! Суд вашему миру пришел»⁹.

Когда Герцен писал эти строки, XIX век был в самой середине, и не только Европу трудно было назвать истощенной, но сама Россия стояла на пороге единственного периода расцвета (к тому же повторявшего европейские образцы) в своей истории. Ушедший в свое отчаяние Герцен этого не замечает. Больше всего на свете он боится, что его родина начнет перенимать европейскую и американскую демократическую модель. Как и Солженицын, именно по контрасту с нелюбимым им Западом он вновь начинает выражать свое восхищение Россией:

«Расскажем [Европе] об этом мощном и неразгаданном народе, который как-то чудно сумел сохранить себя под игом монгольских орд и немецких бюрократов, под капральской палкой казарменной дисциплины и под позорным кнутом татарским; который сохранил величавые черты, живой ум и широкий разгул богатой природы под гнетом крепостного состояния»¹⁰.

«С того берега» Герцена развивает рассуждение, которое в зачатке уже содержится в Гарвардской речи: у нас не хуже, у нас — по-другому. А поскольку у нас по-другому, а на Западе плохо, значит у нас лучше. Или, как писал Салтыков-Щедрин: «У нас лучше, потому что страдают больше». И если уж мы пришли к этому выводу, то как не желать вновь, чтоб разразилась очистительная катастрофа, и не восклицать, как Герцен: «Да здравствует хаос и разрушение! Vive la mort!¹¹ И да водружится будущее!» — если это будущее принадлежит России.

«Повсюду бессилие, посредственность, мелочность, и лишь едва видимая полоска на Востоке, возве-

9) Там же, стр. 57.

10) Там же, стр. 17.

11) Да здравствует смерть! (франц.).

щающая далекую зарю, приходу которой будет еще предшествовать гроза».

Время остановиться, иначе мы зайдем слишком далеко. Солженицын не сделал этого последнего, нигилистического и разрушительного шага, и ничто не позволяет думать, что он когда-либо его сделает. Цитируя Герцена рядом с Солженицыным, мы рискуем оказаться в числе сторонников пагубно ложной теории преемственности России и СССР, утверждающей, что в России все повторяется из века в век. Если между обоими авторами и есть что-то общее, то это не ситуация, а тот факт, что две радикально отличные ситуации воспринимаются ими через призму одного и того же культурного трафарета, этого уязвимого места русской культуры, способного исказить даже восприятие Солженицына.

Повторим еще раз: речь идет о двух в корне различных ситуациях. Герцен имел дело с режимом, несколько более суровым, чем европейские, и от которого Европа уже избавилась — по крайней мере, когда она оказалась вне пределов досягаемости для царских армий. Россия могла внушать страх, но опасаться установления русского режима в Европе не приходилось. Солженицын имеет дело с коммунистическим режимом, посягающим на всю планету. Герцен стремился вызвать у европейцев сочувствие к бедствиям своей страны. Солженицын использует малейшую возможность, чтобы попытаться заставить нас осознать грядущее бедствие, грозящее нам самим.

И именно здесь излагавшаяся выше интерпретация Гарвардской речи уже более непригодна. Она судила Солженицына. Меняя точку зрения, мы видим, как легко она может стать еще одним вещественным доказательством на том суде, который вершит над нами Солженицын.

Отправляя Солженицына в изгнание, после того, как он уже испытал длительную изоляцию, органы знали, что делали. Им была известна логика его интеллекту-

альной позиции. Они знали, что она приведет его к тому, что он перестанет терпеть Запад, а Запад — его. Отделенный от Востока высылкой, а от Запада — взаимным непониманием, он перестанет быть опасным. Что ж, это им почти удалось. За последние год-два как в СССР, так и на Западе, как по-русски, так и на десятке других языков появились сотни критических разборов, подобных тому, который я только что привел. Они совпадают с тем, что предвидели органы. В определенном смысле, они были запланированы. Действительно, разве закоснелый и привычный коммунизм не предпочтительнее, чем возрожденный и обновленный русский национализм? И разве Брежнев в конечном счете не причиняет нам меньше хлопот и беспокойств, чем Солженицын?

Однако нужно ясно видеть, в чем состояло исходное намерение Солженицына. Не в том, чтобы развить теорию России, Запада или даже коммунизма, но чтобы предупредить Запад любыми возможными средствами: коммунизм, которого вы не понимаете, который вы не в состоянии даже себе вообразить, угрожает вам самим. Не думайте, что вам нужно бояться только простой экспансии СССР. Коммунизм — это не внешнее по отношению к вам явление, он действует внутри вашей цивилизации, которая является и нашей цивилизацией. Он одержал победу в России, которая была наиболее уязвимой, но родился он не в России. Силы, которые привели к установлению коммунизма в России — те же самые, которые действовали в Европе в XIX веке и которые сейчас интенсивнее, чем когда-либо раньше, совершают свою работу во всем мире. Это небытие питается вашей собственной плотью, и если оно вас поглотит, вы сами будете в этом виноваты.

Но какие же слова мог найти для этого Солженицын в своей Гарвардской речи? Это не могло быть высказано на языке Пушкина и Ахматовой, языке просвещения и цивилизации, призванном выражать то общечеловеческое, что объединяет русскую и европейскую культуру. Солженицын стремился донести до нас ощу-

щение иной, чуждой сущности, абсолютного отсутствия точек соприкосновения между нами и «ими», возвестить о прибытии на Землю «пришельцев» и предупредить о неминуемости столкновения с ними, которое может привести к катастрофе пострашнее уэллсовской «Войны миров». А в этом случае язык славянофилов, язык Достоевского, с внутренне присущим ему делением на «черное» и «белое» и апокалиптическими пророчествами, приходит на ум сам собой. Разумеется, этот язык привносит с собой самые различные ложные идеи — и даже идеи опасные, усугубляющие ту угрозу, перед которой они хотят предостеречь. Но был ли у Солженицына в распоряжении другой язык?

По-видимому, такова уж судьба Солженицына, что его величие всегда сопряжено с трагедией. За приобретенное понимание сути вещей ему пришлось заплатить лагерем и высылкой. И сегодня он оказывается не в состоянии поделиться этим пониманием с миром иначе, как оставаясь, подобно Кассандре, неуслышанным или непонятым. Безусловно, здесь играет свою роль и некая духовная леность, побуждающая многих русских (в том числе даже самого энергичного человека нашего столетия) полагаться на приблизительные формулировки и доверяться концепциям, которые тем более обманчивы, что выглядят похожи на правду. Но сколь же велика и непростительна наша собственная леность, мешающая нам понять истинный смысл обращенной к нам речи только потому, что в ней содержится несколько ложных утверждений! «Сказка — ложь, да в ней намек . . .»

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ*

Часть I: ДО ПРИХОДА К ВЛАСТИ

Идеологическая убежденность и вера

Следует различать идеологическую убежденность и религиозную веру. Анализируя акт веры, кардинал Ньюмен¹ констатирует существование реального различия между двумя путями признания какого-то положения истинным: умозаключением (inference) и безоговорочным принятием (assent)². Безоговорочное принятие какого-то утверждения есть «абсолютное с ним согласие без всяких предварительных условий». Тем не менее, оно сочетается с другой мыслительной операцией — умозаключением (или, более широко, логическим выводом, представляющим собой цепь умозаключений), причем эта операция уже исходит из каких-то условий (или предпосылок). Согласно Локку, между выводом и безоговорочным принятием существует определенная соизмеримость, и если первый из них является всего лишь

*) Статья в журнале «Commentaire», № 11 (1980).

1) Дж. Г. Ньюмен (1801-1890) — английский теолог, философ и церковный деятель, основатель т. н. «трактарианского движения». В 1845 г. перешел из англиканства в католичество, в 1879 г. стал кардиналом. — *Прим. перев.*

2) По Ньюмену, высшим критерием истины является внутреннее убеждение, интуитивная моральная уверенность (assent), акт личной, индивидуальной веры, основанный на «голосе совести». Акт веры есть признание чего-либо истинным с такой решительностью, которая превышает силу внешних фактических и формально-логических доказательств. При этом безоговорочное признание истинным к.-л. положения не следует сводить к акту доверия, когда мы полагаемся на чужое мнение, кажущееся нам авторитетным, и отказываемся от самостоятельного исследования вопроса. Доверие касается вопросов, находящихся в компетенции человеческого познания, и проистекает от сознания слабости, неуверенности в себе. Напротив, уверенность есть сознание силы и состоит в доверии к истинности своего знания или правоте своего дела. — *Прим. перев.*

вероятным, то второе — безусловным. Ньютен замечает, однако, что в безоговорочном принятии нет различных градаций: безоговорочно принять или отвергнуть какое-то положение можно только целиком. Следовательно, чтобы установить соотношение между безоговорочным принятием (безусловным) и выводом (условным), мы должны прибегнуть к третьему элементу, каковым является то интеллектуальное качество (или, выражаясь классическим языком, духовная добродетель), которое Аристотель именует *phronesis*, а Цицерон и св. Фома Аквинский — *prudentia*³. Наряду с формально-логическим выводом, на результат которого мы можем полагаться не в большей степени, чем на самое слабое среди его звеньев, существует еще и другой — опирающийся на «голос разума», то есть контролируемый упомянутой выше добродетелью — благоразумием. Получаемые с его помощью результаты обладают большей достоверностью, чем каждая из составляющих его частей по отдельности. Акт веры по сути своей есть безоговорочное принятие (*assentiment*), но оно подкрепляется выводом (*inférence*), выработанным при участии благоразумия (*prudence*). Таким образом, он вселяет уверенность в «душу» человека и дает удовлетворение его «разуму»⁴.

3) Рассудительность, благоразумие, осмотрительность, здравомыслие, житейская мудрость, здравый смысл (соотв. из др.-греч. «*phrḗn*» — «сознание, ум, разум» и лат. «*prudentia*» — «предусмотрительность; знание»). Для обозначения соответствующей добродетели в русской традиции принят термин «благоразумие». — *Прим. перев.*

4) Иными словами, недостаточно, чтобы вывод был «правильным» с формально-логической точки зрения: его достоверность должна контролироваться с помощью внешних по отношению к нему соображений (выражаясь научным языком, результат должен быть не только «математически корректным», но и «осмысленным», что означает выход за пределы аксиоматической системы, в рамках которой осуществляется процесс вывода). Подчеркнем, что, хотя вывод и должен контролироваться «благоразумием», оба они в акте веры представляют собой вспомогательные элементы, подкрепляющие безоговорочное принятие (источником которого, по Ньютену, является Божественное откровение). Попытка разорвать это триединство и, несмотря на это, добиться уверенности «для души» и удовлетворенности «для разума» приводит в рамках традиционного, «неидеологического» подхода к значительным трудностям. В качестве любопытного примера можно привести известное парадоксальное высказывание декабриста П. И. Пестеля, предтечи российских идеологов тоталитаризма: «В душе я материалист, но разум мой протестует». — *Прим. перев.*

Если принять это описание Ньюмена, то возникает вопрос: приложимо ли оно к идеологической убежденности? По-видимому, нет. Рассмотрим этот вопрос подробнее, исходя исключительно из примера марксизма-ленинизма.

Читая все свидетельства адептов ленинизма (в том числе и самого Ленина), мы убеждаемся, что уверенность в этом случае беспредельна, а разум полностью удовлетворен. При этом, однако, мы обнаруживаем отсутствие важного момента — реального различия (а зачастую и сознательного различия) между безоговорочным принятием и логическим выводом (или доказательством). Действительно, если Ленин безоговорочно верит в марксизм, то именно потому, что он считает его полностью и безусловно доказанным и «научно обоснованным». Он мог бы согласиться с Локком относительно того, что существует определенная градация между безоговорочным принятием и доказательной силой логического вывода, однако он считает, что в случае марксизма безусловная истинность общей концепции вытекает из того факта, что она является строго доказанной. Следовательно, нет никакой необходимости прибегать к какому-либо дополнительному интеллектуальному фактору, наподобие благоразумия, здравого смысла или житейской мудрости. Житейский здравый смысл, оцупав и изучив предмет со всех сторон, выносит о нем своего рода суждение, которое свободно и относительно независимо от цепочки логических доказательств, ибо он привносит в рассмотрение многочисленные соображения, лежащие вне ее. Безоговорочное принятие, характерное для религиозной веры, ничем не связано и не является просто слепым «принятием на веру». Оно исходит из знания всех «за» и «против», из осознания всего риска и ответственности, которые принимает на себя человек, делающий определенный выбор. В этом смысле вера сама по себе является сознательным актом. Может случиться так, что она будет поколеблена, что основания верить покажутся более слабыми и благоразумие начнет

действовать в обратном направлении, обратится к высшей инстанции, управляющей свободой самостоятельного выбора — свободной воле, и в конце концов заставит ее отказаться от безоговорочного принятия догматов веры. История религии знает немало подобных примеров, среди которых имеются даже самые крупные святые. И все же определяющим фактором веры является согласие с ее догматами, и ничто иное. Она содержится в решении свободной воли.

В противоположность этому, в ленинском принятии марксизма безоговорочное согласие связано очевидностью доказательства. Свободная воля здесь совершенно не играет никакой роли, ибо каждое разумное существо, наделенное способностью рассуждать, должно уступить перед этой очевидностью. Таким образом, идеология отрицает свободу воли. Если кто-то не видит очевидного, то этому препятствует его положение в обществе — например, он принадлежит к классу буржуазии, где постижение пролетарских истин (в силу самой их природы) является недостижимым. Может случиться также, что некто, постигший идеологию и впитавший ее в себя, вдруг отвергает ее, отворачивается от нее и даже обращается против идеологии. Это означает, что он, либо утратив бдительность, либо же в силу объективных обстоятельств, оказался перенесенным в ту область, где истинность идеологии скрыта от разума. Действительно, есть две причины, почему невозможно увидеть солнце — либо плотно задернутые шторы, либо утрата зрения. Идеология содержит в себе положения, которые заранее дают объяснение случаям подобного отступничества. Она содержит и другие положения, объясняющие, почему люди примыкают к идеологии и становятся ее приверженцами. В итоге человек не только уступает перед очевидностью доказательства, но и понимает, почему эта очевидность является до такой степени очевидной для него самого, и не является для других, почему он — марксист, а другие — нет.

Таким образом, согласие и принятие догматов идеоло-

гии зависит от дедуктивного вывода. Однако результаты последнего в рамках идеологии не рискуют оказаться опровергнутыми в ходе независимого исследования. Благоразумие, *prudentia*, обращается к самым различным видам знания, изучает предмет со всех точек зрения. Как только мы отказываемся прибегать к услугам благоразумия, всестороннее изучение становится излишним. Идеология предстает перед нами в виде когерентного пучка тесно связанных между собой доводов и соображений, подкрепляющих и обосновывающих друг друга. Они образуют круг идей и представлений, куда нельзя проникнуть, не приняв их во всей совокупности. Однако, если мы хотим выйти за пределы этого круга и взглянуть на него со стороны, чтобы получить общее представление о целом, это тоже оказывается невозможным. Действительно, вне данного круга понятий безусловная истинность общей концепции куда-то исчезает, тогда как внутри него она становится самоочевидной и бросающейся в глаза. Следовательно, нужно оставаться в пределах этого круга и исключить из рассмотрения любые посторонние соображения (например, вытекающие из опыта), любые знания, внешние по отношению к идеологии — во имя подлинного, абсолютного Знания, внезапно осенившего нас своей благодатью.

В этом состоит еще одно отличие идеологической убежденности от религиозной веры. Вера отдает себе отчет в том, что она не есть знание, но лишь известное согласие, в достаточной (или, скажем, в разумной) степени подкрепленное разумом, с несколькими весьма краткими положениями, которые не претендуют на то, чтобы заменить собой все приобретенные знания. Согласовать эти знания с догматами веры — дело долгое и непростое. Знания, которыми мы обладаем, в большинстве своем нейтральны по отношению к вере, и она не ставит перед собой задачу соединить их в единое целое. Вера — это не мировоззрение.

В противоположность этому, в свете ослепительной вспышки внутреннего озарения, приводящей к идеоло-

тическому обращению, перед взором новообращенного адепта идеологии предстают одновременно все области знания — как если бы он был вознесен на головокружительные высоты разума и внезапно увидел весь мир целиком. Идеология есть глобальная концепция, призванная преобразовать всю совокупность наших знаний в единую самосогласованную систему. Уже в восемнадцатом веке учение иллюминатов включало в себя теологию, медицину, психологию, химию и магнетизм. Марксизм охватывает экономику, историю, социологию, эстетику, философию, лингвистику, антропологию, а в некоторых случаях и физику. Более того, идеология вводит в сферу юрисдикции того же самого высшего выводного Знания те виды деятельности и поведения, которые прежде пребывали в ведении того, что теология именует добродетелями. Таким образом, мораль, право, обычай, дружба вместо того, чтобы управляться справедливостью, воздержанием и благоразумием, будут выводиться из общей системы. Поэтому морально и заслуживает одобрения все то, что способствует претворению в жизнь раскрытого идеологией грандиозного, поистине космического плана, который приверженец идеологии одновременно выявляет и воплощает.

Союз теории и практики

Итак, знать и верить — это одно и то же. Задача состоит в том, чтобы все привести в систему, обеспечить согласованность всех элементов. Аскетизм в личной жизни постепенно приведет в соответствие с требованиями идеологии поведение человека, его реакции, всю его личность. Интеллектуальная деятельность позволит включить в единую, организующую систему все те области, которые ранее ею не охватывались. Наконец, политическая деятельность придаст обществу новую форму, которая уже в нем заложена и предопределена «объективными законами развития». В первоначальном мгновенном озарении неопиту дается »

зародыше все возможное знание; развить его становится, таким образом, задачей чисто технической, делом практики. Воздействие на себя самого, на свой разум, на общество есть не что иное, как *tèchnē*, т. е. искусство, мастерство — проясненное знанием и в свою очередь проясняющее это знание, подтверждающее его и доказывающее его истинность. «Единство теории и практики» — гласит формула, устанавливающая соотношение между ними. Знание дается сразу, в один прием, как откровение. Но знание это есть «не догма, а руководство к действию», определяющее программу практической деятельности. Откровение приносит конкретные плоды именно через практику: в виде углубления самого знания, совершенствования человека, построения нового общества. Эта взаимосвязь (ценой незначительного, но в корне меняющего суть дела искажения) могла бы быть выражена в терминах теологического учения о благодати. Согласно этому учению, вера есть дар, ниспосланный свыше: *sola fide, sola gratia*⁵. Но «вера без дел мертва есть», и отсутствие дел означает, что не было и веры. В случае идеологии место благодати занимает теория, доктрина: *sola scientia*. При этом единственным критерием критерием того, что теория была воспринята, есть практика: *sola praxis*. Со временем «практика» разрастается, разбухает, изглаживая из памяти ослепительный момент первоначального открытия. Активист удовлетворяется брошюрами, но продолжает свою неутомимую деятельность во имя идеологии. То, что он изучает — это отнюдь не политическая экономия в широком смысле, в рамках которой «Капитал» Маркса мог бы иметь какой-то смысл.

5) Ср.: «Ибо благодатию вы спасены чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2, 8-9). В концепции благодати и предопределения, разработанной бл. Августином, благодать (*gratia*), понимаемая как ниспосланная свыше и ничем не обусловленная (т. е. «дарованная») помощь в деле спасения каждого человека, есть единственное, т. е. необходимое и достаточное, условие этого спасения (*sola gratia*). Однако человек свободен принять или отвергнуть этот дар (что, тем не менее, не нарушает принципа Божественного предопределения), причем единственным условием и критерием восприятия и «действенности» благодати является вера (*sola fide*). Особенно важное значение принцип *sola fide* приобрел в протестантской теологии. — *Прим. перев.*

Если Ленин обращается к «Капиталу», то лишь для того, чтобы ответить на критику буржуазных экономистов. Для руководства повседневной деятельностью ему достаточно «Антидюринга». Его последователи ограничатся его собственными брошюрами, затем — брошюрами Сталина, и, наконец, художочными пособиями «для сети партийного просвещения», вышедшими из-под пера безымянных чиновников соответствующей комиссии ЦК. Однако, партийный активист остается при этом в рамках логики системы. Идеологическое откровение указало ему вектор, направление эволюции материи, находящейся в движении, формами которого являются и он сам, и общество, и сама идеология. Следовательно, не существует иного мыслимого развития знания, кроме развития материи в направлении, указанном этим знанием. Согласно доктрине, это развитие представляет собой тяжкий и сокрушительный «диалектический» процес. Поэтому активист обязан не щадить усилий и идти на любые жертвы, чтобы в своей практической деятельности быть на высоте стоящих перед ним задач. То, что теория все в большей степени становится для него «книгой за семью печатями», не имеет значения: если знать и верить — это одно и то же, то отдавать всего себя делу идеологии — это и значит обладать знанием.

Идеология и спасение

Философия (необязательно религиозная), представляющая собой не что иное, как мучительные поиски истины, описывает процесс освобождения человеческого разума от гнетущего его бремени следующим образом. В какой-то момент перед человеческим разумом внезапно открываются новые возможности. Признаком перехода в это новое состояние является то переживание, которое в свое время называли «обращением» или «преображе-

нием души»⁶, то есть самого средоточия человеческой личности, человеческого «я». Начиная с этого момента, собственно интеллектуальные усилия (о которых нельзя сказать «предпринимаются вновь», ибо они никогда и не прекращались), могут, наконец, принести свои плоды. Существуют различные философские «пути», но все они по сути дела направлены к одной и той же цели (неважно, называется она спасением, вечным блаженством, истиной или как-либо еще), которая остается недостижимой — но к ней можно приближаться, обретая счастье в самом этом приближении. «Блаженство не есть награда за добродетель, но сама добродетель»⁷.

В сфере идеологии момент преобразования, метаноии носит чисто интеллектуальный характер. На человеческий разум внезапно снисходит озарение (*illumination*), которое полностью и окончательно определяет структуру восприятия мира познающим субъектом. Начиная с этого момента, интеллектуальные усилия в собственном смысле завершаются: открытие истины произошло, и теперь остается лишь чисто практическая задача — претворить эту истину в жизнь. Здесь мы затрачиваем подоплеку и конечную цель всего этого предприятия — спасение. Когда Ленин, вслед за Чернышевским, Марксом и Фейербахом призывал человека не ждать избавления от Бога, от религиозных иллюзий, но взять дело своего освобождения в собственные руки, то это означало, что спасение как таковое уже содержится в зародыше в самой доктрине, которая, будучи однажды воспринята и усвоена, указывает человеку, как это надлежит сделать. Если бы не было теории, не было бы и практики. Прагматизм Ленина, знаменитый ленинский «реализм» представляет собой метод проб и ошибок, однако применяемый вовсе не с целью постижения

6) Используемый автором термин «*metanoïa*» (д.-греч., иначе: *metagnoïa*) означает здесь «обращение», «изменение образа мыслей», «исправление» и встречается в этом значении в Евангелии и у ряда раннехристианских авторов. Основное его значение — «покаяние, раскаяние»; в первоначальной Церкви так называлась третья степень очищения от греха. — Прим. перев.

7) Спиноза, «Этика», V, 42 — Прим. перев.

истины, но с целью практического приложения уже заранее известной истины.

Идеологическое обращение представляет собой уникальный экзистенциальный опыт. Человек по природе своей стремится знать — он получает знание. Человек по природе своей стремится к спасению — он спасен. Вместо того, чтобы ожидать своего спасения от Бога или, как в философии, от терпеливых усилий, направленных на моральное и интеллектуальное совершенствование (причем в завершающий момент человек может и отказаться от спасения), спасение преподносится как данность, которую остается лишь принять.

Следовательно, защищать свою идеологическую убежденность — это значит также защищать свое спасение и, одновременно, самого себя. У приверженца идеологии акт веры вызывает лишь чувство отвращения: он рассматривает его как постыдное отречение воли, соглашающейся подчиниться чужой воле, как отречение разума, отказывающегося от свободного и самостоятельного рассмотрения проблемы.

Ленин считает себя «пуристом разума» и неизменно обращается к доводам разума в его высшем проявлении — чистой демонстративной дедукции. Человеческое «я», спасенное знанием, вовсе не испытывает ощущения, что оно отдается во власть чего-то высшего, чего-то внешнего по отношению к нему: это знание контролируемо от начала до конца и прозрачно, как интеллектуальные операции разума, неопровержимо к нему приводящие. «Я» исчезает, замененное высшим Знанием, и эта замена стоит спасения.

Подобная подстановка, однако, оказывается успешной отнюдь не во всех случаях. Наоборот, повседневный опыт показывает, что большинству людей не удастся надолго обосноваться в сияющем царстве Разума: мы видим даже, что многие сами покидают его и спасаются бегством. Это происходит вовсе не потому, что они отвергают то или иное положение Доктрины: внезапно вся Доктрина целиком представляется им лишенной

смысла. Причиной этого, как говорит Ленин, может быть только глупость или подлость. Дискутировать с такими не о чем: их следует устранить, а затем обратиться к Доктрине, которая даст ответ на вопрос, имеют ли они вообще право на существование.

Идеология служит защитой человеческому «я»; выражаясь языком психоанализа, это защита против преследующего человека чувства метафизического страха, аналогичная механизму рационализации⁸. Человеческое «я» полностью зависит от идеологии, которая становится его последним и единственным прибежищем. Когда это «я» оказывается в бедственной ситуации, ему не остается ничего другого, как обратиться к идеологии и исповедовать ее с еще большей преданностью, доходящей временами до фанатизма. Известны миллионы примеров, когда непосредственной причиной этого бедственного положения была сама идеология: коммунисты арестовывали друга, пытали, расстреливали... Ввергнутые в застенок, они не хотели верить, что партия забыла о них, бросила на произвол судьбы. Они были уверены, что если найти способ сообщить партии о том, что происходит, то, узнав об этом, высшие ее органы не потерпят столь вопиющего нарушения самих принципов системы, каковым является коммунист, которого пытаются свои же собратья по партии. Все это могло быть только ужасной *ошибкой*. Коммунисты никогда не ощущают себя в такой степени коммунистами, как в самых крайних и трагических обстоятельствах. Перед расстрелом они успевают воскликнуть: «Да здравствует Сталин!»

Идеологическое откровение открывает перед взором новообращенного истоки Зла. Внезапно он осознает космическую, всепроникающую природу этого Зла, присутствующего даже в нем самом. Идеология представляет собой метод, позволяющий очиститься от этого Зла, а затем очистить от него весь мир. Зло организовано, оно принимает форму заговора. Те, кто обладают ору-

8) Рационализация — оправдание или обоснование на уровне сознания действий, в которых проявляются бессознательные мотивы или побуждения. — *Прим. перев.*

жием против Зла, то есть идеологией, также организовываются, чтобы более эффективно противостоять вражеским козням и всяческим превратностям жизни (как, например, предательство товарищей по оружию). Существует только один смертельный враг, в руках которого сходятся все нити заговора, воплощение Зла — это *империализм*.

Однако, бойцу партии угрожает еще одна, на этот раз не воображаемая, а реальная опасность — крушение идеологической иллюзии. По сути дела, идеологическая убежденность по своей природе мало чем отличается от уверенности в обладании Высшим Знанием, характерной для приверженцев гностических учений древности. Единственное принципиальное отличие состоит в том, что в идеологии уверенность основывается на «данных современной науки», а не на простых и фактически недоказуемых (хотя и рациональных) спекуляциях, как в случае системы гностиков⁹. В этом заключается огромное преимущество идеологии, ибо ссылка на авторитет науки принимается безоговорочно и без обсуждений, как единственный и абсолютный аргумент, справедливый для всего человечества и на все времена. Однако, здесь же коренится и ее фундаментальная слабость и уязвимость, ибо каждая идеология опирается на иллюзию «научности», которая может рассеяться перед лицом самого пустякового противоречащего ей факта. Мы имеем дело с логическим выводом, который ни к чему не приводит, с доказательством, которое уводит в сторону от того, что мы хотим доказать. Все здание «Капитала» покоится на понятии стоимости, но само это понятие неуловимо, неопределенно и неопределимо, а общая теория, строго говоря, просто неверна. Таким образом, безоговорочное принятие основывается на

9) Гностики (от др.-греч. *gnosis* — «знание, познание») — общее название приверженцев некоторых раннехристианских сект (гл. образом в Египте и Сирии), претендовавших на обладание высшим эзотерическим знанием; более широко — последователи *гностицизма*, т. е. теософской системы, опирающейся на интуицию и внезапное озарение и соединяющей в себе элементы мистики и рационализма (проповедующей, например, возможность познания тайн веры с помощью чисто философских спекуляций). — *Прим. перев.*

фальсифицированном доказательстве. То, что придает доктрине в целом видимость всеобъемлющего и само-согласованного рационального знания, достигается с помощью ловкой, хотя по сути и довольно грубой, махинации, которая бросается в глаза каждому постороннему наблюдателю. Впрочем, и сам приверженец идеологии может обнаружить ее в любой момент. Подмену можно было бы разглядеть и сразу же, если обратиться к упомянутому выше «третьему фактору», благоразумию — но именно его-то идеология и исключает из рассмотрения с самого начала.

Фундаментальное внутреннее противоречие идеологии кроется именно там, где она надеялась его устранить — в отождествлении знания и спасения. В сфере религии новообращенный признает свое неведение и принимает решение довериться свидетельству, исходящему от другого лица. Заметим, что этому акту веры предшествует констатация неведения, аналогичная той, из которой исходит неверие агностика. Знание и спасение, таким образом, не вступают друг с другом в противоречие, и человек может одновременно приближаться к ним обоим, хотя при этом они остаются четко отделенными друг от друга и сохраняют свой различный характер. Смешивая их, сторонник идеологии предполагает одним выстрелом убить двух зайцев: идеология более надежна чем вера, поскольку контролируется разумом, и более могущественна, чем человеческий разум в его реальных проявлениях, поскольку позволяет полностью познать и преобразовать окружающую действительность. Фактически обе цели остаются недостижимыми, и приверженец идеологии проигрывает в обоих случаях, ибо желанная уверенность оказывается лишь пустой иллюзией, а возрождение «к новой жизни» и «вечному блаженству» достигается ценой согласия на подлог, в результате чего подвергшийся этой операции разум начинает видеть все в искаженном свете. Но как вырваться из этого заколдованного круга, если любой критический пересмотр Знания ставит на карту Спасение? Усомниться —

это значит шагнуть в пропасть, где человека ожидают страдания, лишения, одиночество, а, может быть, и смерть.

Но там же, где кроется источник хрупкости и уязвимости идеологии, находится и ключ к ее прочности — в смешении и отождествлении на этот раз знания и человеческого «я». Непрочность веры коренится в том, что она воспринимается от другого человека. В минуту испытаний, которые, казалось бы, полностью разрушили наше доверие к тому, на свидетельство которого мы были готовы всецело положиться — как можно продолжать ему верить? На одного мученика будет приходиться множество отступников. В противоположность этому, идеологическая истина, воспринятая *через посредство* человеческого «я», благодаря своей прозрачности и кажущейся рациональности представляется воспринятой *непосредственно* из глубины самого «я». Таким образом, то, что фактически является актом веры, приписывается способности человеческого разума взвешивать факты и выносить самостоятельные суждения; другими словами, происходит смешение двух уровней сознания или, если угодно, двух сторон человеческого «я». Приверженец идеологии не доверяет никому, кроме самого себя, и поэтому единственный совершенный им акт веры — осуществившийся в его собственном разуме, его чувствах, внутри его собственного «я» — останется для него незамеченным. Предать идеологию — это значит предать самого себя, и чем свидетельствовать против самого себя, легче уж положить голову на плаху.

Часть II: ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ

В замкнутому кругу легитимности: партия и идеология

На вопрос о том, что должно наступить после взятия власти, доктрина уверенно отвечала: социализм. И хотя после 7 ноября 1917 года ничего не происходило так,

как было предусмотрено, доктрина вполне могла дать объяснение и этому, непредвиденному ходу событий. Крестьяне и рабочие не стали на сторону социализма? Что ж, объяснить причину их бунтов и сопротивления новой власти было не более трудно, чем объяснить и ее поддержку, если бы таковая имела место. Дуалистская структура идеологии позволяет дать интерпретацию любого события, а равно и его противоположности. Если это событие или процесс не обусловлены одной сил, действующих на арене классовой борьбы — значит, они обусловлены другой из них. Всегда существует враг, чьи тайные или явные действия могут послужить оправданием неожиданного сопротивления или неудачи осуществляемых мероприятий — будь то Антанта, фашизм, троцкизм или сионизм, в одинаковой степени подпадающие под всеобъемлющую категорию «империализма». Успех является подтверждением научности идеологии, но поражение также подтверждает ее верность, и никогда потребность в идеологии не ощущается столь остро и никогда к ней так часто не прибегают, как в тех случаях, когда факт очевидного провала нуждается в срочной интерпретации.

Очень скоро наступает момент, когда разрыв между реальностью и ее интерпретацией становится столь глубоким, что у них не остается уже никаких точек соприкосновения. С одной стороны — нищета, угнетение, безумие и абсурд, с другой — светлое будущее или даже светлое настоящее. Как же тут связать концы с концами? Ответ: двояким образом. Во-первых, строя социализм, что требует мобилизации всех средств светской власти, к которым относятся: законодательство, вооруженные силы, полиция, карательные органы, культурно-просветительные и учебные учреждения, средства массовой информации. Во-вторых, заставляя население признавать, что социализм *уже* существует — что требует мобилизации средств власти духовной, которая осуществляется теми же самыми органами: законодательство, вооруженные силы, полиция, карательные

органы, культурно-просветительные и учебные учреждения, средства массовой информации.

Такой режим не может обойтись без всеобщего признания своей легитимности, то есть законности его права на существование. Эта легитимность, абсолютная и не подлежащая сомнению, целиком опирается на идеологию, которая также является абсолютной и непререкаемой. Однако после взятия власти, перед лицом все увеличивающегося разрыва между реальностью и теоретическими прогнозами, идеология сама вносит коррективы в свои предсказания, отодвигая сроки их осуществления. Социализм, как поплавок, то исчезает, то вновь появляется на поверхности: сколько раз уже объявлялось, что он, наконец, построен, после чего оказывалось, что построены лишь «основы социализма» или что-нибудь подобное, а до «настоящего» социализма остается еще один — всего один! — шаг. Так социализм становится непрекращающимся процессом. Можно допустить, чтобы разрыв был огромным, можно, на худой конец, допустить, что его наличие будет в какой-то степени признано — но все это при условии, что сам процесс продолжает выглядеть осуществимым. Существует одно и только одно условие этой осуществимости: партия должна оставаться у власти. Власть партии подменяет собой естественные силы, которые должны были привести к установлению социализма, что не имеет значения, ибо в рамках доктрины партия, да и сама доктрина, также являются естественными силами. Перед нами замкнутый круг легитимности: идеология получает подтверждение постольку, поскольку партия остается у власти — но пребывание ее у власти законно, ибо, сохраняя власть, она подтверждает тем самым непреложную правоту идеологии.

Советская власть полностью сливается с советской идеологией: первая существует лишь для того, чтобы воплощать вторую, а вторая — лишь потому, что она находится у власти. То, что можно сказать об одной, должно быть сказано и о другой.

Основное практическое правило советской власти состоит в том, чтобы идти как можно дальше в осуществлении идеологической программы, но останавливаться в точности на той границе, за которой дальнейшие преобразования общества привели бы к его физическому уничтожению — а, следовательно, и к уничтожению власти, правящей этим обществом. Когда больше нет общества, не может быть и власти. Отсюда непосредственно вытекает второе правило: если власть в своих попытках преобразовать общество зашла слишком далеко, следует дать ему возможность передохнуть и восстановиться (и тем самым поддержать и укрепить власть) — но лишь настолько, чтобы независимое развитие общества не могло выйти из-за контроля идеологической власти и уничтожить ее. Так сменяют друг друга этапы «военного коммунизма» и «нэпа», уже описанные мною в другом месте¹⁰.

Основное правило идеологии состоит в том, чтобы идти в своих требованиях и притязаниях до конца и стремиться устранить любое знание и любые высказывания, не вписывающиеся в ее рамки — но лишь до той границы, за которой, уничтожив их, обескровленная идеология превратится в некую форму аутизма¹¹ или бессмысленный бред и, утратив все средства воздействия на реальность, навлечет смертельную опасность на власть, с которой она связана. Отсюда вытекает второе правило: если идеология зашла слишком далеко, следует предоставить знанию и слову возможность восстановиться (так, чтобы они могли служить идеологии и укреплять ее) — но лишь до такой степени, чтобы их независимое развитие не могло выйти из-под контроля всеобъемлющей власти идеологии и уничтожить ее. Так сменяют друг друга этапы «бдительности» и «оттепели».

Итак, идеология, как и власть, осциллирует между

10) См., например, «Краткий трактат по советологии . . .» или «Анатомия одного призрака» — *Прим. ред.*

11) Аутизм — замыкание в себе, сопровождающееся более или менее полной потерей контакта с действительностью, наблюдающееся при некоторых психических заболеваниях. — *Прим. перев.*

двумя крайними точками, за которые она не может перейти — построением социализма и потерей власти. Другими словами, между этими двумя крайностями простирается царство *компромисса*. Компромисс по своей природе является результирующей соотношения сил и потому подвержен постоянным изменениям. Он определяется как «текущая политика» или «политическая линия», непрерывно вырабатываемая партией.

Внешний и внутренний идеологический компромисс

Для большей ясности анализа мы введем различие между *внешним* и *внутренним* идеологическим компромиссом.

Под *внешним* идеологическим компромиссом мы будем понимать компромисс, заключаемый идеологией с внешними по отношению к ней силами, имеющий целью ее сохранение и укрепление не просто в качестве верования, но в качестве власти. Эти силы в принципе считаются враждебными, но при определенных обстоятельствах идеология-власть может рассматривать их как временных «попутчиков». Прототипом этого временного союза был заключенный партией в период гражданской войны альянс со «спецами» — то есть специалистами-инженерами и кадровыми офицерами, сотрудничество которых позволило Красной Армии одержать победу. На протяжении советской истории *внешний* компромисс был заключен с четырьмя силами, хотя возможный список ими не ограничивается.

Первая из них — это наука и техника, в особенности те их отрасли, которые непосредственно связаны с военными приложениями. В рамках выделенных для них областей специалисты были избавлены от затруднительных обязанностей, вытекающих из требований идеологии (в частности, от обязанности публично ее исповедовать), и им была предоставлена свобода организовывать свою работу так, как они считали нужным — при условии, что результаты ее способствовали укреплению

мощи режима. Иногда специалисты должны были обращаться к таким заклеянным идеологическим дисциплинам, как квантовая механика или кибернетика, и тогда «свободную зону» приходилось расширять, включая в нее и эти нематериальные области. Поскольку биология и генетика находились на границе этой зоны, их судьба отражает постоянно колеблющиеся пределы компромисса.

Вторая сила — это национальное самосознание. Здесь речь идет главным образом о великорусском национализме, который оказался незаменимым подспорьем в ходе восстановления Империи, распавшейся в 1917 году, а затем позволил сохранить ее и защитить от нависшей над ней смертельной опасности — нашествия нацистских полчищ. Опять-таки, в этом случае национализм получил право на существование и даже приветствовался — но лишь в той степени, в какой он мог служить целям, намеченным идеологией. Третья сила, в определенном смысле являющаяся продолжением второй, — это культурное наследие. Советская власть не пошла в искоренении культуры так далеко, как китайский коммунизм: в СССР были изданы произведения классиков, а библиотеки не подверглись слишком радикальной чистке. При этом, однако, был произведен вполне целенаправленный отбор как авторов, так и их сочинений, а издание (и преподавание) классиков сопровождалось обязательным довеском в виде «правил пользования», приводящих их в соответствие с идеологией. Толстой, например, был «зеркалом русской революции», «реалистом», «патриотом», и все эти качества (или, вернее, оценки) приводили в итоге к тому, что такой препарированный Толстой начинал служить интересам идеологии, причем его ценность для нее значительно превосходила тот вред, который могли принести отдельные его сочинения (которые, впрочем, утаивались или замалчивались). И в этом случае границы компромисса постоянно смещаются, и тот факт, что Достоевского то переиздавали, то запрещали, находит свое объяснение в со-

отношении сил в конкретные периоды «наступления» или «передышки» и вытекающей из этого соотношения политической линии.

Четвертая «сила» включает в себя совокупность свойств человеческого характера, определяющих индивидуальное поведение в личной и общественной жизни. Хотя грядущий социализм и обещает их полное уничтожение как «пережитков капитализма», но в ожидании его прихода эти качества могут служить интересам идеологической власти и укреплять ее. Диапазон их широк: от лени до перфекционизма, от аскетизма до пристрастия к спиртному. Я остановлюсь здесь лишь на одном из них — это стремление к власти и удовольствие от обладания ею. Нести на себе ответственность, осуществлять что-то, вести за собой других людей, подчинять их своей воле и, быть может, унижать их и заставлять страдать. — перед нами целая гамма издревле присущих человеку качеств, которые «социализм» сумел поставить себе на службу. Он следит лишь за тем, чтобы наделенные властью не слишком входили во вкус: ничто «человеческое, слишком человеческое» здесь недопустимо. Это стремление должно удерживаться в определенных рамках и ограничиваться лишь средними ступенями иерархии, чтобы сохранить его подчиненную роль по отношению к конечным целям идеологии и избежать любого «уклона» — будь то в сторону «всеобщего блага» (это понятие идеология отвергает как «неклассовое»), или же в сторону циничного эгоизма, порождающего столь же нежелательный индивидуализм.

Внутренний идеологический компромисс вытекает, если можно так выразиться, из внутренней политики идеологии, точно так же, как предыдущий — из ее внешней политики. Речь здесь идет о том, чтобы включить в рамки идеологии элементы, чуждые ее истинной сущности и в принципе подлежащие устранению (что, впрочем, в конце концов и происходит), но чье временное присутствие обогащает идеологию, придает ей блеск,

привлекательность и убедительность — и в результате облегчает завоевание новых сторонников. К таким элементам относятся, например, мораль и талант.

Важная роль в этом временном конгломерате отводится классической, традиционной морали. У идеологии есть своя собственная мораль, недвусмысленно гласящая, что морально все те, что способствует воплощению в жизнь ее программы, — однако на практике идеологии всегда удавалось сохранить видимость отсутствия четкой границы между этой моралью и моралью общепринятой. Достигается это с помощью использования внешнего сходства терминологии и определенных аналогий в линиях поведения, диктуемых, по сути дела, противоположными моральными принципами. Так, например, нет ничего общего между справедливым распределением материальных благ и предписываемым идеологией их перераспределением путем грабежа, называемого экспроприацией; между слепой преданностью фанатика идеологии и самоотверженностью благородного человека; между солидарностью «товарищей по партии» и узами дружбы, основанной на естественной склонности; между партийной дисциплиной и послушанием; между ненавистью к капитализму и сочувствием к бедным — однако на первый взгляд может показаться, что сходство действительно существует, и это впечатление лишь усугубляется благодаря совпадению некоторых линий поведения. Поэтому партия всегда допускала в свои ряды (тщательно следя, чтобы они оставались на нижних ступенях иерархии) людей простодушных, мало знакомых с идеологией и не искушенных в тонкостях навязываемого ею морального выбора, и потому склонных принять классовую справедливость за справедливость, а пролетарскую демократию — за демократию. Общепринятая мораль служит для того, чтобы привлечь массы, поднять их на борьбу «за правое дело» и окружить ее ничем не заменимым ореолом Добра.

Идеология, заменив «я» знанием, выполняющим его функции, не нуждается в личности как таковой. Идеологические работники, как правило, безлики, безличностны и взаимозаменяемы. Зиновьев посвятил сотни страниц описанию этого механизма естественного отбора посредственностей, где общепринятая шкала ценностей систематически ставится с ног на голову. Однако и здесь опасно заходить слишком далеко, и компромисс заключается в том, чтобы предоставить место некоторому числу действительно талантливых личностей. Задача состоит в том, чтобы позволить им блистать, не выпуская в то же время из-под контроля. Как именно это осуществляется, более подробно могли бы рассказать гг. Эйзенштейн, Брехт, Арагон, Шолохов, а в других областях — Зорге, Треппер, Литвинов, Добрынин или Тухачевский.

Компромисс в сфере языка

Той сферой, где по преимуществу реализуется внешний компромисс идеологии, является язык. Власть заставляет своих подданных постоянно заверять ее в своей преданности и тем самым подтверждать ее законность, а подданные не могут делать это иначе, как публично исповедуя идеологию. Подчинение советской власти заключается не в том, чтобы выполнять ее конструктивные предписания (они невыполнимы), но в том, чтобы каждый включился в грандиозный «объективный» процесс строительства социализма, предполагающий полное преобразование общества и человеческой природы. Подчиняться идеологии — это значит демонстрировать степень преобразования собственного «я», предусмотренную текущим этапом этого процесса. «Жить стало лучше, жить стало веселее, товарищи!» — заявляет Сталин. Стало быть, нужно держаться непринужденно и радостно улыбаться. Подчиняться — не значит *делать*, поскольку идеология на самом деле никак не воплощается, но *делать вид*. Пока все согла-

шаются на это, идеология, добившаяся требуемой покорности и подчинения, сохраняет видимость осуществимости и шансы в один прекрасный день воплотиться в жизнь.

Отсюда следует, что в полной мере идеологическая власть проявляется именно на уровне слов. Будучи абсолютным и монопольным хозяином Слова, партия объявляет, что существующая реальность такова, какой она должна была бы быть согласно идеологии — то есть соответствующей одному из этапов «грандиозного исторического процесса», определяемого линией партии. Объявляя предполагаемую реальность существующей (причем в двойном смысле этого слова: и «обозначая», и «провозглашая таковой»)¹², партия как бы «задает тон», под который должны подстраиваться в своих высказываниях все ее подданные, причем роль камертона играют в этом случае ее «программные документы». Эти официальные тексты, являясь обязательной моделью всех прочих политических высказываний и документов, должны быть составлены с максимальной строгостью. В них нет и не может быть места случайности: тщательно отбирается каждое слово, многократно взвешивается каждая формулировка. Выработка этих текстов не просто является частью политической линии: она и есть эта политическая линия, которая представляет собой не что иное, как эти нематериальные тексты, вместе со всеми незамедлительно вытекающими из них вполне материальными послед-

12) Определенная непоследовательность этого описания, которая не может ускользнуть от внимательного читателя, лишь частично объясняется тяжеловесностью перевода (в оригинале эта непоследовательность не так заметна, поскольку глагол «signifier» имеет смысл и «обозначать», и «официально объявлять о вступлении закона в силу»). На самом деле неясность здесь связана с подменной денотата. Действительно, что же все-таки делает партия? Называет она существующую реальность социализмом или же социализм — реальность? Ответ прост: она их отождествляет, то есть делает и то, и другое. Все недоразумения исчезают, если рассмотреть простую «математическую» (то есть справедливую на любом языке) формулу: **СОЦИАЛИЗМ ЕСТЬ РЕАЛЬНОСТЬ**. Читая ее справа налево, мы имеем дело с операцией «обозначения», а слева направо — с фактически провозглашением социализма реально существующим. — *Прим. перев.*

ствиями. Язык этих текстов, точный и наполненный глубоким смыслом, если расшифровывать его в рамках идеологического кода, и лишенный всякого смысла и бессодержательный, если отбросить этот код, бытующий как в СССР, так и во всех странах с аналогичным режимом — мы будем называть советским языком¹³.

На другом полюсе находится естественный, челове-

13) Автор использует французское выражение «langue de bois» (буквально: «деревянный язык»), которое можно приблизительно передать по-русски как «сужонный, бедный, невыразительный язык». Из контекста следует, однако, что в это понятие должны включаться также и такие его характеристики, как «казенный, канцелярский, газетный, штампованный, шаблонный» — словом, все, что относится к языку *нивелированному*. Если всюду в тексте сохранил один из перечисленных выше эпитетов, то очень скоро читатель окажется в недоумении, ибо ниже автор утверждает, что «Один день Ивана Денисовича» написан на «худшем из *langues de bois*». Казалось бы, что общего между солженицынской прозой и языком передовой статьи в газете «Правда»? И все же общее есть: это то, что мы, вслед за М. Геллером, будем называть везде в тексте советским языком. Речь идет о новом языке, широко распространившемся после большевистской революции и полностью сформировавшемся за годы советской власти. Первым обратил внимание на новый феномен и забил тревогу Е. Замятин еще в 1920 г.; уникальное его описание в начальный период становления дал А. Селищев в книге «Язык революционной эпохи» (М., 1928); выдающийся лингвист Е. Поливанов в опубликованной в 1931 г. работе называл его «революционной славянциной», состоящей из «мертвых выражений». Освоить и «приручить» этот язык пытались еще сохранившие иллюзии Зошенко и Платонов, демонстративно «не понимая» его Булгаков, взрывали и продолжают взрывать изнутри Солженицын, Зиновьев, Шукшин, Ерофеев, Маразмиз, Попов. Явление было распознано, но долгое время не имело своего названия: лингвисты либо отказывались признать его функционально самостоятельным языком, либо демагогически заявляли, что «каждая эпоха требует своего языка»; западные наблюдатели интересовались в первую очередь политическими и экономическими «достижениями» Страны Советов. Роль «нового языка» как орудия тоталитарного подчинения была осознана лишь после того, как аналогичный «язык» сформировался в гитлеровской Германии. Хотя его исследователи и пользовались терминологией, привязанной к конкретному месту и времени (введенное в 1946 г. В. Клемперером название «язык Третьего Рейха» (*Lingua Tertii Imperii*) или *Nazi-Deutsch*), структурное сходство, а зачастую и тождественность обоих феноменов не могли остаться незамеченными. В 1948 г. Джордж Оруэлл в повести «Год 1984-й» подробно описывает «тоталитарный язык», созданный на базе английского, и изобретает для него название — *Newspeak*. Вслед за книгой, приобретшей мировую известность, этот термин входит во многие языки (например, в польском прочно укоренилось понятие *nowotowa*), где он и используется в настоящее время для обозначения языка, по функции своей тоталитарного, противопоставляемого естественному языку, выполняющему роль средства человеческого общения (любопытно, что одно исследование языка нацистов, опубликованное в Гамбурге в 1957 г., носит название «Из словаря нелюдей»). Чтобы подчеркнуть это противопоставление, мы предпочитаем переводить используемый ниже автором термин «langue naturelle» («естественный язык») как «человеческий язык». — Прим. перев.

ческий язык. Это тот язык, на котором люди спонтанно говорят друг с другом, когда они оказываются вне сферы влияния идеологической власти. Вся советская система воспитания, начинающаяся с детского сада, направлена на то, чтобы лишить людей человеческого языка и заменить его языком советским. Все искусство сопротивления советской власти состоит в том, чтобы отбросить советский язык и вернуть себе человеческий. Подобное сопротивление представляет собой высшее преступление: действительно, своим существованием оно опровергает факт реализации «исторического процесса построения социализма», и тем самым лишает власть оснований претендовать на законность и вынуждает ее признать свое бессилие. Таким образом, это сопротивление разрывает замкнутый круг легитимности и превращает в прах идеологию, а вместе с ней — и власть.

Между двумя полюсами — советским и человеческим языком — простирается зона компромисса, являющегося результирующей соотношения сил. Следует учесть, однако, что сфера языка представляет собой подлинную арену деятельности идеологической власти. Именно на идеологическом фронте разыгрываются решающие битвы. Все средства, имеющиеся в распоряжении у советской власти, в конечном итоге направлены на то, чтобы воздействовать на лексику и синтаксис. Для измерения силы этого воздействия власть обладает чрезвычайно тонкими и чувствительными инструментами, ибо именно здесь, а не в сфере производства и даже не в армии или полиции, можно обнаружить подлинные показатели ее мощи. Бесчисленные органы цензуры и все то, что условно именуется Главлитом, являются всего лишь видимой и материальной частью бесконечно более обширной и более тонкой системы. Сражение между языками — это битва не на жизнь, а на смерть, и стороны прибегают в ней к хитроумным маневрам.

Именно таким маневром является развитие двух добавочных языков, которые я буду называть здесь *псевдочеловеческим* и *псевдосоветским*. Цель партии заключается в том, чтобы советский язык и язык человеческий совпадали. При социализме не будет необходимости «задавать тон», ибо все достигнуто уровня сознательности, которого требует партия. Следовательно, советский язык, представляющий собой лишь средство воспитания масс, утратит смысл существования, ибо все будут говорить на едином естественном языке — языке социализма. Однако в ожидании, пока это произойдет, можно попытаться восполнить этот пробел, используя некий суррогат будущего единого языка. Перспектива должна казаться заманчивой, и поэтому нужно делать вид, что этот суррогатный, псевдочеловеческий язык и есть язык социализма. Следовательно, нужно имитировать искренность, спонтанность и естественность, которыми тот, по предположению, должен будет обладать, и отбросить набившие оскомину школярские аспекты советского языка. Разумеется, мы получаем в итоге советский язык «улучшенного качества», стоящий на более высокой ступени, однако неискушенные читатели и слушатели вполне могут принять его за нечто принципиально новое. Псевдочеловеческий язык характерен для литературы, предназначенной на экспорт (Евтушенко, Вознесенский, Катаев), или же может использоваться официальными писателями, желающими приобрести репутацию (и престиж) писателей-диссидентов. Псевдочеловеческий язык может также применяться в пропагандистских целях: чтобы завоевать расположение или привлечь внимание аудитории, чтобы замаскировать наличие непреодолимой пропасти, отделяющей коммунистов от всего остального населения. Непревзойденным мастером псевдочеловеческого языка был Хрущев.

Псевдосоветский язык берется на вооружение каждым, кто намерен публично высказать какую-либо неортодоксальную идею. Он представляет собой орудие

сопротивления в условиях абсолютной монополии советского языка. Инакомыслящему удастся донести свою мысль до слушателей, выражая ее в завуалированном виде, прибегая к дозволенным формулировкам и используя (или даже обогащая) стилистические приемы советского языка. Он старается перехитрить партию и надеется, что ему это удастся. Этот маневр в точности аналогичен тому, который применяет партия, используя псевдочеловеческий язык.

На практике нюансы могут быть весьма тонкими, но натренированное ухо советского человека без труда различает, к какой из четырех лингвистических категорий относится каждый текст. Рассмотрим с этой точки зрения произведения Солженицына. Скорее всего, его первые, неопубликованные опыты были написаны на советском языке, но жесткие его рамки, как можно догадываться, были растянуты автором до последнего «предела прочности», еще позволявшего сообщить читателю хоть часть правды, оставаясь при этом в границах допустимого. «Один день Ивана Денисовича» написан псевдосоветским языком, но на худшем из советских языков — другими словами, на псевдо-псевдочеловеческом языке. По мере ухода писателя в «диссидентство» все более отпадает необходимость прибегать к хитрости и маскировке: роман «В круге первом» написан уже на смеси псевдосоветского и человеческого языка. Но лишь после того, как Солженицын сжег за собой все мосты и окончательно потерял надежду изменить советский режим, он полностью окунается (в «Архипелаге ГУЛаг» и «Бодался теленок с дубом») в стихию самого чистокровного и самого подрывного человеческого языка.

Шестьдесят лет спустя

Зададимся теперь вопросом, во что превратилась идеологическая убежденность теперь, после шестидесяти с лишним лет пребывания идеологии у власти. Чтобы

получить более отчетливую картину, разделим все население на две группы: правители и подданные, или, как говорят в СССР, «они» и «мы».

Заметим с самого начала, что аппарат пропаганды вовсе не ставит своей целью кого бы то ни было *убедить*, то есть прививать описанный выше тип идеологической убежденности, который существует лишь в период «до прихода к власти». Миллионы книг, учебников, газет, журналов, фильмов, плакатов, транспарантов, миллионы пропагандистов, учителей, воспитателей, «социологов», «историков», «экономистов», «романистов», «публицистов» и т. п. являются выражением идеологии — но не идеологии-верования, а идеологии-власти. Они воплощают собой духовную власть. Поскольку стоящая перед этой властью задача ирреальна и неосуществима, поскольку подлинная реальность оказывает ей мощное сопротивление — эта власть основывается на принуждении и насилии. Пусть прохожие на улицах даже и не смотрят на плакаты и транспаранты — но стоит только любому из них поднять глаза, чтобы ощутить всю громадность власти, давящей на него тяжким грузом. Эта власть не собирается его убеждать — она стремится выработать у него требующийся ей тип поведения.

Этот процесс, называющийся «воспитанием нового человека», в принципе аналогичен процессу выработки условных рефлексов и позволяет добиваться весьма ощутимых результатов, поскольку начинается с самого раннего детства, продолжается непрерывно и осуществляется в условиях полной изоляции от любых помех со стороны «посторонних раздражителей». Правда, вместо обещанного идеологией «нового человека» получается советский человек, которого некоторые авторы рассматривают как мутацию биологического вида *homo sapiens*. Именно поэтому Зиновьев и может утверждать, что коммунизм победил полностью и окончательно. Тем не менее, сам факт отклонения *homo sovieticus* от «нормы», каковой является «новый человек», опять-таки представляет собой результат компромисса. Он прояв-

ляется в его языке, в его моральных представлениях, где сталкиваются общепринятая мораль и мораль идеологическая, в его отношении к внешнему миру, где смешиваются друг с другом невежество и доверчивое простодушие, но также скептицизм и непробиваемое безразличие. Компромисс приводит к своего рода расщеплению, раздвоению личности, которое было неоднократно описано. Казалось бы, ценой этого раздвоения можно держать идеологию на расстоянии, не позволяя ей затрагивать человеческое «я», которое могло бы уйти в свой внутренний мир, отделившись от идеологической реальности панцирем *кетмана*¹⁴, как это называл Милош, и таким образом сохранить некоторое равновесие, позволяющее ему уцелеть.

Однако, в конечном счете и эта попытка обречена на провал. Причина здесь в том, что компромисс не позволяет прийти к устойчивому равновесию: каждый раз, когда человек, старающийся укрыться от всепроникающей идеологии, вступает в контакт с общественной жизнью, он вынужден в какой-то степени допустить, чтобы идеология вторглась в его внутренний мир — иначе говоря, вести себя так, как будто фиктивная реальность была подлинной. Здесь он сталкивается с мучительным противоречием. Действительно, каждый раз, когда он притворяется, он *знает*, что социалистическая реальность фиктивна, и что он, таким образом, лжет. Но поскольку он сам согласился на это, поскольку он выходит из этой смертельной схватки побежденным,

14) Кетман (перс.) — по свидетельству французского этнографа Ж. де Гобино (1816-1882), так назывался распространенный в странах мусульманского Востока обычай вводить в заблуждение своих противников или непосвященных относительно своих подлинных убеждений. Кетман — это целая, тщательно разработанная система поведения: подлинные убеждения не только должны скрываться, но и для того, чтобы их лучше замаскировать, следует публично исповедовать убеждения, им противоположные. Чеслав Милош в своей книге «Порабощенный разум» (1953) заимствовал этот термин для описания сознательного притворства, массовой актерской игры, двойного существования, столь характерного для тех, кто живет в условиях коммунистических режимов и стремится сохранить в неприкосновенности свои этические, профессиональные, эстетические или иные ценности. По словам Милоша, кетман — это «сознательная, массовая игра, а не инстинктивная адаптация», заключающаяся в «реализации себя вопреки чему-либо». — *Прим. перев.*

поскольку он несет на себе постыдную печать поражения и попранного достоинства — он вынужден признать, что эта фальшивая реальность более могущественна, чем подлинная, и, следовательно, более реальна. Не успел он солгать, как его ложь оказывается немедленно принятой и воспринятой некой высшей силой — и вот он уже видит, как то, что должно было быть лишь пустым заклинанием, неумолимо превращается из лжи в истину. В советском языке есть слово для обозначения подобной капитуляции: это называется проявлением реализма, которое может только приветствоваться. Таким образом, реалист — это тот, кто придает реальность (свою собственную!) ирреальности.

Это вынуждены делать все, ибо человек испытывает потребность в действии. Он не может полностью изолироваться от внешнего мира, да это ему и не дозволяется: закон сурово карает «паразитов» и «тунеядцев». Если человек намерен хоть чего-то добиться в своей профессиональной деятельности, занять хоть мало-мальски заметное положение в обществе — он должен подвергнуться унижению, вымараться в грязи и заплатить за желаемое внутренней опустошенностью. Стремясь осуществить хоть что-нибудь, хоть как-то реализоваться — человек утрачивает самого себя.

Сети расставлены так, что обойти их невозможно. Эта мистическая материализация небытия, эта конкретность пустоты придает советскому режиму странный колорит, абсолютно недоступный пониманию тех, кто не испытал этого на опыте. Именно здесь, однако, и заключена суть режима, а все остальное — полиция, лагеря и прочее, то есть те древние и классические виды насилия, с помощью которых мы безуспешно пытаемся представить себе жизнь советских людей — есть не что иное, как вспомогательные и вторичные средства по сравнению с тем исходным и фундаментальным насилием, на котором зиждется весь этот режим. Не исключено даже, что теперь, когда народ уже сжился с этим насилием и

пропитался им, вспомогательные средства можно будет мало-помалу упразднить.

Что касается партии, то внутри нее наблюдается сходная ситуация. Разумеется, наивных верующих больше не осталось. Наивность выражается в том, что идеологические омонимы принимаются за синонимы, что свобода в том смысле, в каком ее понимает идеология, смешивается со свободой, а демократия — с демократией. Такая наивность, являющаяся признаком того, что человек еще не проникся духом идеологии, отмирает после прихода к власти. Для тех, кто уже этим духом проникся, способом вырваться из тенет идеологии является цинизм. Можно внутренне порвать с нею, но внешне, чтобы сохранить власть и связанные с ней привилегии, следует продолжать лицемерно эту идеологию исповедовать. В отличие от «детской болезни 'левизны'» (или наивности), цинизм представляет собой болезнь идеологических партий, достигших зрелости — но все же это именно болезнь и рассматривается как явление патологическое. В этой связи возникает интересная теоретическая проблема: каковы убеждения признанных коммунистических руководителей? Что на самом деле думают Брежнев, Суслов, Пономарев, Андропов? Все доступные свидетельства единодушно утверждают, что их лексикон однороден по своему составу, что они говорят одним и тем же языком как на трибунах съездов или на страницах печати, так и на самых что ни на есть закрытых заседаниях Политбюро. Они не пользуются «двойным языком»: оруэлловский «*newspeak*» или «советский язык» является для них языком естественным, на котором они говорят даже дома. Однако верят ли они в то, что говорят? Искренне ли они верят в идеологию? Являются ли они «марксистами-ленинцами»? Ответ на все эти вопросы один: да, разумеется. И если мы можем в этом сомневаться, то лишь потому, что хотим от них, чтобы они верили во все это так, как верят в деда-мороза или летающие тарелочки — тогда как идеология требует от них совсем другого.

Идеология — это *практика*. Когда минует момент озарения, это ошеломляющее мгновение внезапного постижения истины, остается лишь претворить в жизнь грандиозный план — воплотить в осязаемую реальность то, что было воспринято как ее тайный, сокровенный смысл. Это воплощение служит постоянной проверкой и подтверждением истинности идеологии, а поскольку мы остаемся в рамках логически замкнутой доктрины, то иных критериев ее истинности просто не может быть. Единственный вопрос, который задает себе приверженец идеологии — это вопрос Чернышевского и Ленина: «*Что делать?*» Ответ: социализм. И они его *делают*, сохраняя власть. Они его *делают*, когда новые и новые территории освобождаются из-под ярма империализма и под руководством коммунистической партии принимаются за строительство социализма. Они его *делают*, изо дня в день разоблачая происки противника, ликвидируя пережитки капитализма, уничтожая классового врага. Они его *делают* в процессе перевоспитания масс и создании нового человека. Теперь, спустя шестьдесят лет, можно сказать, что все эти задачи были успешно выполнены. Один и тот же режим, повсюду одинаковый и одинаково обосновывающий свое законное право на власть, распространился на половину территории земного шара. Программа мировой революции превратилась в мировую революцию. Ее окончательное завершение стало правдоподобным и даже вероятным. История не знает другого примера, когда начинание, задуманное и предпринятое одним-единственным человеком, дало бы подобные результаты. Действительно, этот триумф был обеспечен применением принципов ленинизма, которые на протяжении жизни двух поколений не только не претерпели никаких видоизменений, но даже не были дополнены никакими нововведениями. На всей территории, находящейся под властью коммунизма, безраздельно царит один и тот же язык, одинаковый в Ханое и Гаване — и это язык Ленина. Да как же можно даже предполагать, что Брежнев.

Кастро, Хонеккер или Дэн Сяопин в него не верят? Они верят в него постольку, поскольку на нем говорят, а говоря на нем, они его *делают*.

И все же есть брешь, через которую могла бы улечься любая вера, любая убежденность и даже пресловутая практика — это тот факт, что социализм не существует. Шестьдесят лет спустя он так же иллюзорен и необнаружим, как в 1917 году. В материальной сфере его просто нет. Он существует лишь в сфере духовной: в проникнутых идеологией душах, в суконном «советском языке», в лжесвидетельстве тех, кто идет против очевидности, против побуждений собственной совести и провозглашает социализм существующим. Для власть имущих социализм существует лишь в зеркале, которое держат перед ними их рабы. Сам по себе он зыбок и призрачен, и они это знают. Стоит власти на мгновение ослабнуть, как социализма не останется ничего, кроме, быть может, того смешанного со стыдом оцепенения, которое оставляет за собой рассеявшийся ночной кошмар.

Это значит, что сами хозяева не свободны. В распоряжении их подданных есть компромисс, пусть даже изменчивый и ненадежный, но все же оставляющий какое-то место для внутреннего мира, для человеческого «я». За членом партии такого права не признается. Его принадлежность к партии требует, чтобы он систематически, неуклонно и полностью отдавал *все* себя социализму. Когда подданные капитулируют перед идеологией, то они поработаются ею — но через посредство *людей*. Тем самым они приобретают статус, уже известный человечеству на протяжении его истории — статус рабов. Их хозяева подчиняют себя без посредничества людей, путем добровольного отказа от собственного «я» — подчиняют себя призраку, над которым время не имеет власти: оно лишь углубляет его пустоту и делает еще более ощутимым его небытие. Поэтому у хозяев нет выхода: их удел даже хуже, чем

удел рабов. Последние, как показал Солженицын, ощущают, что рабство лучше, чем одержимость человека, продавшего душу дьяволу. Нередко они находили, что страдания и лишения ГУЛага не являются слишком большой ценой, если они позволяют сменить состояние одержимого на состояние раба. И когда, охваченные неизъяснимым счастьем, они обретали это состояние — низшее из всех, еще совместимых со званием и достоинством человека, — желанное рабство по праву казалось им освобождением.

АНАТОМИЯ ОДНОГО ПРИЗРАКА*

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА

Михаилу
и Жене Геллерам

«Очевидные» истины

Изучением советской экономики занимаются многочисленные исследовательские центры в США и Западной Европе. Этой теме посвящается обширная литература и специальные периодические издания. Но почему-то те, кто родились в Советском Союзе или познакомились с фактами советской действительности благодаря истории, литературе, поездкам в страну или рассказам эмигрантов, не узнают ее в описаниях экономистов. Существует какая-то непреодолимая пропасть между одной системой, воссоздаваемой усилиями специалистов, со своими критериями и цифрами — и другой, лишенной критериев и не укладывающейся в цифры, создающейся постепенно, интуитивно, на основе пережитого личного опыта. Весьма характерной и примечательной особенностью круга людей, занимающихся советской системой, является тот факт, что определенный экономический подход к советской действительности, сколь бы научнообразным, непредвзятым и изоциренным он ни был, воспринимается сторонниками другого подхода с таким абсолютным скептицизмом и безраздельным недоверием, что они даже не берутся его критиковать (не зная, как к нему подступиться), а потом и вовсе перестают им интересоваться. В результате они присоединяются к позиции советских диссидентов, которые на

*) Изд-во «Кальман-Леви», Париж, 1981.

официальные советские цифры, но точно так же и на цифры, к которым приходят западные экономисты. реагируют лишь улыбкой или пожатием плечами.

Эти позиции не новы. Фактически распределение мнений относительно советской системы почти столь же неизменно, как и сама система. Рассмотрим довоенный период. С 1917 по 1929 гг. западное общественное мнение не проявляло особого интереса к советской экономике. Кроме того, что она была почти полностью разрушена, а затем — на скорую руку, методом проб и ошибок, без научно обоснованной концепции — восстановлена, о ней мало что можно было сказать. Но затем, когда разразился мировой экономический кризис, а из СССР начали поступать известия о коллективизации и первой пятилетке, советская экономика оказалась вдруг в самом центре внимания западных интеллектуальных кругов. Оставим в стороне ортодоксальные верования коммунистов и их «попутчиков». Гораздо более интересной с рассматриваемой нами точки зрения была реакция научной среды, характеризовавшейся отсутствием прокоммунистических или даже антикоммунистическими настроениями. В первый момент цифры, преподносимые советским правительством, были восприняты как заслуживающие абсолютного доверия. Исходя из этих данных, подсчитывались сравнительные преимущества плановой и рыночной экономики и ставился вопрос, нельзя ли было бы применить в западной системе хозяйства некоторые методы, применявшиеся, по уверениям советской печати, в СССР. Да и можно ли было в этот период массовой безработицы и экономического спада не вдохновляться тем, как твердо слушается руля советское хозяйство, тогда как на Западе оно полностью вышло из-под контроля? Сразу же после войны, и

1) Под «реальным социализмом», в соответствии со смыслом, вложенным в этот термин Л. И. Брежневым, я понимаю систему, существующую в настоящее время в СССР и других странах «социалистического лагеря». Таким образом, термины «социалистический», «советский», «большевистский», «коммунистический» употребляются практически как синонимы. Разумеется, «социал-демократический» к этому ряду не относится.

опять-таки под влиянием советского примера, различные государства, в том числе и Франция, начали проводить национализацию, разрабатывать тонкие методы учета и статистики и, наконец, вводить процедуры стимулирования и управления, которым неизменно давалось громкое имя *плана*. Экономисты, не принадлежавшие к сторонникам коммунистической доктрины (именно они зачастую выдвигали наиболее глубокие и проницательные соображения относительно того, что надлежит сделать в их странах), не испытывали никакой необходимости критически относиться к данным, приходившим с Востока и даже наоборот, использовали их в качестве дополнительных аргументов, чтобы убедить свои правительства проводить более соответствующую обстановке экономическую политику. Именно потому, например, Сови, вовсе не интересовавшийся фактическим положением дел в СССР и сосредоточенный исключительно на проблемах Запада, мог полагать, что советский жизненный уровень вскоре превзойдет наш собственный, и что железный занавес фактически работает в обратном направлении — чтобы держать наших пролетариев в неведении относительно процветания их советских братьев².

Не все заходили так далеко. Более хорошо знакомые с историей и экономическим прошлым Российской империи отвергали концепцию *tabula rasa*³, согласно которой новому режиму в его мероприятиях по экономическому развитию страны пришлось начинать «с нуля». Зная страну, они не принимали без разбору все официальные статистические данные. Они пытались их сортировать, отбирать, критиковать, намереваясь «сбалансировать» статистику. В результате они пришли к менее блестящей, хотя в основных чертах и сходной, картине. Уже не приходилось опасаться, что СССР «догонит и перегонит» Запад в самом ближайшем будущем; сроки несколько отодвигались, хотя сам факт оставался бес-

²) См. «Le Monde», 30. 10. 1952.

³) Чистая страница (лат.).

спорным. Следовало признать, что царящая в Советском Союзе гармония не так уж абсолютна: там и сям имелись кое-какие диспропорции, легкая промышленность отставала, сельское хозяйство хромало на обе ноги. Показатель ежегодного экономического роста составлял не 12%, а 8% или даже 4%. Действительно, говорили эти экономисты, трудная международная обстановка, «бремя вооружений», ошибки Сталина, «негибкость структур», оплошности планирующих организаций — все это чинило помехи, мешало рациональному управлению, тормозило невиданный подъем. Однако «негибкость» не была настолько существенной, чтобы ее нельзя было преодолеть. Последние мероприятия показывали, что советское правительство решилось, наконец, всерьез заняться сельским хозяйством, которому до того времени «уделялось недостаточное внимание». В Новосибирске, в специальных математических институтах, оснащенных ЭВМ, заканчивалась отладка эконометрических моделей, которые ни в чем не уступали используемым в нашем INSEE⁴. Либермановская реформа была первой ласточкой «гибкого подхода», «либерализации» и даже более того.

Кто же мог оставаться «Фомой неверующим» перед лицом столь рационального и компетентного подхода — кроме закоренелых мракобесов, не желающих признавать очевидные факты? И все-таки во все времена были люди, считавшие, что советская ложь настолько безгранична, что все эти цифры лишены всякого смысла, отказывавшиеся придавать какое-либо значение планированию, колхозам, хозрасчету, и смеявшиеся над «великими свершениями». Но эти люди не претендовали на знание экономики. Более того, поскольку во время войны СССР продемонстрировал всему миру, на что он способен, а потом еще и запустил первый спутник, позиция «диссидентов» была посрамлена.

⁴ Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) — Национальный институт статистических и экономических исследований.

Я вспоминаю о разговоре, который был у меня с одной пожилой дамой в Москве, в 1961 году. «Да, — говорил я своей знакомой, — этот режим ужасен, но при теперешних темпах развития вы в конце концов модернизируетесь. Через десять, пусть через двадцать лет материальный уровень жизни изменится настолько, что волей-неволей будет вынужден измениться и стиль политической жизни». Моя приятельница взглянула на меня и замолкла. Своими необдуманно словами я сразу же поставил себя в ряды тех неисправимых недоумков, которым бессмысленно даже пытаться что-то объяснить. Просто представить себе, что в 1981 году московские магазины будут ломиться от товаров, не будет больше очередей, а население будет пользоваться всеми благами и услугами, хотя бы сравнимыми с теми, которыми пользовалась Европа в 1961 году — казалось ей немыслимым и свидетельствовало бы лишь о разнужданности воображения. Эта женщина ничего не понимала в экономии. Свои аргументы она черпала в другом месте. Разумеется, она была права.

Возьмем три распространенных утверждения:

1. «СССР с его годовым производством 145 млн. тонн стали является первой металлургической державой в мире».

Каждому известно, что СССР производит не больше автомобилей, чем Испания; что оснащение домашних хозяйств предметами обихода и приборами, изготовленными из стали, не сравнимо с нашим; что общая длина сети его железных дорог не больше, чем в Индии; что сеть автомобильных дорог гораздо менее развита, чем во Франции; что производство танков, сколь бы гипертрофированным оно ни было, не в состоянии поглотить более одного-двух миллионов тонн стали. Что же может означать эта магическая цифра — 145 млн. тонн в год, то есть объединенная продукция Японии и Западной Германии, которые производят в год, вместе взятые, около двенадцати миллионов автомобилей и еще массу

всяких других вещей? Следует, по-видимому, предположить, что в число этих 145 миллионов тонн входит: 1) производство настоящей стали, 2) производство низкокачественной стали, 3) производство бракованной стали, 4) производство стали, предназначенной для ржавения, 5) производство псевдо-стали и, наконец, 6) псевдо-производство стали. Специалист по советской экономике способен, вероятно, без труда распределить всю продукцию стали по этим шести разделам. В конце концов он находит обоснование цифры в 145 миллионов тонн, учитывая разбазаривание, использование стали не по назначению, потери и т. д. Таким образом, утверждение «СССР является первой металлургической державой в мире» должно восприниматься в некотором необщепринятом смысле, поскольку нельзя сравнивать несравнимое. США и Япония (вторая и третья металлургические державы в мире, в отношении которых легко можно проанализировать и сказать, на что они употребляют свою сталь) не производят в сколько-нибудь сравнимых количествах пять последних категорий стали, которые СССР в таком изобилии выплавляет на своих гигантских металлургических комбинатах.

2. «Доход на душу населения и жизненный уровень в СССР позволяют причислить его к высокоразвитым странам, среди которых он занимает место чуть-чуть впереди (по другим источникам, чуть-чуть позади) Испании».

Некоторые авторы исходят из стоимости рубля по официальному курсу, что вообще является бессмыслицей. Тем не менее, большинство учитывает тот факт, что меновая стоимость рубля на «черном рынке» составляет около одной пятой его номинальной стоимости, а реальная стоимость никогда не превосходит одной трети нарицательной. Однако, добавляют они, многие услуги в СССР почти бесплатны — как плата за жилище, медицинские услуги, образование. Они пытаются таким образом оценить *реальный* жизненный уровень в СССР, учитывая те блага, которые может реально приобрести на

свою зарплату средний советский человек, и составляя соответствующий список, который затем можно пункт за пунктом сопоставить с аналогичным списком для, например, испанского рабочего или служащего. Нам кажется, однако, что подобный подход, пренебрегающий качественной стороной явления, лишает смысла все количественные оценки. Низкая плата за жилье и медицинские услуги ассоциируются у западного жителя со специальными «жилищами с умеренной квартплатой» (то есть с многоквартирными домами, строящимися муниципальными властями для людей с невысокими доходами) и с поликлиниками при государственных больницах. У него в представлении не возникают миллионы советских людей, живущих в коммунальных квартирах, в общежитиях, снимающие «угол», или дома, начинающие распадаться сразу же после окончания строительства, сооруженные на пустырях, или почти первобытный уровень медицины, полуграмотных врачей, более чем скудный ассортимент лекарственных средств. Что же касается содержимого продуктовой корзины советской домохозяйки, то испанская домохозяйка не даст за него и ломаного гроша. Гнилые яблоки, мороженая картошка, сомнительной свежести мясо, чахлые овощи — всего этого не найдешь на рынках Мадрида. Да и на московских рынках все это найти не так-то легко — оттого и приходится стоять в очереди. Кто и когда пытался определить статистический вес очереди в сравнительном анализе советского жизненного уровня? Если мы подсчитываем, сколько часов работы необходимо в СССР для приобретения телевизора, пары ботинок или пылесоса, то нельзя забывать, что такой телевизор у нас можно найти только на «барахолке», ботинки не наденет и бедный марокканский иммигрант, а пылесос будет работать лишь в том случае, если его как следует пнуть ногой. Нет ничего общего между мрачной советской реальностью и самой обычной, зачастую радостной, а иногда просто великолепной реальностью испанской. Если уж сравнивать, то не с Испанией, Грецией или

Италией — а с Индией, Бангладеш, Суданом, да и то! . . . Советские «технические советники», работающие в «развивающихся странах», никогда не возвращаются оттуда к себе домой, где их ожидает в общем-то привилегированное положение члена партии и сотрудника КГБ, без полных корзин помидоров, вязанок шариковых авто-ручек, банок ветчины и джинсов: они возвращаются из краев, где текут молочные реки с кисельными берегами! И все-таки не будем торопиться: отвергнуть сравнение с Испанией — отнюдь не означает признать годным сравнение с Бангладеш. Если войти в подробности, то мы заметим, что сравнение становится невозможным. Только решительно отказываясь от любых компаративистских попыток, мы можем надеяться проникнуть в суть советского феномена.

3. «СССР является второй экономической державой в мире».

Это аксиома из учебников географии и избитая истина в устах наших государственных руководителей. Однако экономисты, сформулировавшие это утверждение, добавляют, что подобная «табель о рангах» справедлива лишь в том случае, если исходить из официального курса рубля, а не из его внутренней покупательной способности. Но как вычислить эту самую внутреннюю покупательную способность, если большинство выпускаемых советской промышленностью изделий (кроме оружия) не могут найти себе сбыта на мировом рынке (ввиду их низкого качества) иначе как по демпинговым ценам, ниже себестоимости? Как подсчитать валовой национальный продукт, отправляясь от товаров без определенной рыночной стоимости? Те же самые экономисты сообщают нам, что объем советской внешней торговли не превышает в денежном исчислении аналогичной цифры для Бельгии, но характеризуется худшей структурой, так как Советский Союз продает сырье, золото и оружие, а покупает продукты с высокой добавленной (в процессе производства) стоимостью. И еще, что в СССР: уровень моторизации (механизации) ниже,

чем в Бразилии; меньше телефонов (в абсолютных цифрах), чем в Испании; практически отсутствуют ЭВМ и ксерокопировальные устройства, предназначенные для удовлетворения нужд населения; чековая книжка, почтовое перечисление и кредитная карточка вообще неизвестны населению; всевозможные научно-технические исследования и разработки не привели к тому, что СССР вырвался вперед хоть в одной важной области науки и техники (за исключением военных и полувоенных приложений); если называть студентом того, что считается студентом у нас, то в СССР меньше студентов (в абсолютных цифрах), чем во Франции или ФРГ. Вторая экономическая держава мира? Вероятно, нам хотят сказать, что СССР — это первая военная или политическая держава в мире, что в его недрах скрыты все минеральные богатства Земли, что она обладает неограниченными потенциальными ресурсами, гигантской территорией, огромным населением, значительным объемом «производства» — но все это не превращает ее во вторую экономическую державу мира.

Неявные допущения

Перечисленным выше трем утверждениям, банальным и считающимся общепризнанными, я противопоставил возражения, которые немедленно подсказываются здравым смыслом, приобретаемым при длительном контакте с советской реальностью. Я не сомневаюсь, что экономисту они покажутся маловажными, и что он ответит на них целым рядом неуязвимых аргументов, которые я просто не сумею опровергнуть. Но все же переубедить меня он не сможет, поскольку я, как мне кажется, основываюсь на фактах и соображениях, очевидных для каждого, кто умеет видеть, слышать и рассуждать. Можно было бы на этом прекратить беспредметный спор, если бы за упомянутыми утверждениями и моим упорным нежеланием с ними согласиться не стояли два различных подхода, две общих концепции, на которые я и мои противники более или менее подсознательно

опираемся. Я хотел бы представить их здесь в явно сформулированном виде — по крайней мере ту из них, которую я разделяю.

Что же касается концепции противоположной, то с наибольшей ясностью и знанием дела она изложена в двух книгах, принадлежащих перу Алека Ноува и уже ставших классическими — «Экономическая история СССР»⁵ и «Советская экономическая система»⁶. Ноув прекрасно знаком с советской историей. Ему известны и безумные утопии военного коммунизма, и катастрофа коллективизации, и ужасающая жестокость индустриализации. Он знает и слабости, внутренне присущие этой системе: директивная экономика, централизация, издержки планирования, острая нехватка нововведений. Исходная его предпосылка состоит в том, что советская экономическая программа как целое должна рассматриваться в рамках некоторой общей программы, которая включает ее в себя, объясняет и в какой-то мере оправдывает. Имя этой программы — *экономическое развитие*. В частности, один из возможных путей ее осуществления — это индустриализация. История объясняет нам причины и обстоятельства отхода СССР от того пути развития, по которому шел Запад и начинала идти царская Россия. История, то есть основные характеристики страны, особенности ее формы правления, внутренняя и международная ситуация, объясняет также специфические черты советской экономической модели. Как таковую, ее можно сопоставить с западной моделью и попытаться определить сравнительные недостатки и достоинства каждой из них. Это задача не легкая, но такое сравнение само по себе вполне допустимо, так как эти две модели, столь различные в своих методах и используемых средствах, преследуют одинаковые цели — индустриализацию, или, более широко, экономическое развитие. У них одна и та же

5) A. Nove: "An Economic History of the USSR", Penguin Books, 1978.

6) A. Nove: "The Soviet Economic System", George Allen & Unwin, 1977.

отправная точка (слаборазвитое хозяйство) и та же самая конечная цель (высокоразвитая индустриальная экономика). Между этими двумя пунктами существуют различные пути, и именно выбором пути и отличаются друг от друга советская и западная модели. Аналогией здесь может являться существование различных технологических способов получения одного и того же продукта: искусственный каучук можно изготавливать из угля или из нефти, производить электроэнергию — на основе урана или плутония, и т. д.

А. Ноув слишком хорошо знает СССР, чтобы свести идеологию, как это часто кажется весьма соблазнительным, всего лишь к «мобилизующему фактору, во имя которого можно возбуждать энтузиазм, заставлять людей переносить лишения и идти на жертвы, организовывать мероприятия, требующие напряжения сил всего населения страны»⁷. Он пишет: «Большинство наблюдателей согласится, что эта идеология (марксизм-ленинизм) больше не служит мощной движущей силой в сегодняшнем Советском Союзе, но это и не означает также, что она превратилась в простой набор цитат». Запрет частной торговли, например, нельзя понять, не прибегая к идеологическим мотивировкам. Провозглашенная системой цель — это по-прежнему «построение коммунизма», но практически она служит лишь для того, чтобы оправдать приоритеты экономического роста⁸. Отсюда вывод: «Советский *homo economicus* чрезвычайно похож на своего западного собрата в том смысле, что если бы мы были на месте советских менеджеров и плановиков, работающих в условиях специфических для них ограничений, правил и стимулов, мы вели бы себя абсолютно так же, как и они. Другими словами, я утверждаю, что для объяснения действий и методов советского управленческого аппарата, как правило, нет необходимости прибегать к идеологии»⁹.

7) «Советская экономическая система», стр. 363.

8) Там же, стр. 19.

9) Там же, стр. 10.

Таким образом, согласно Ноуву, советская и западная экономические системы, объединенные общностью целей, занимают две смежные области на карте одной и той же «политической экономии». В обеих системах имеются одинаковые расхождения между чисто теоретической моделью и ее осуществлением на практике. В обеих системах существуют как «врожденные пороки», так и недостатки, поддающиеся (по крайней мере, теоретически) исправлению. Советская система допускает возможность реформ и может быть усовершенствована таким образом, чтобы оптимально выполнять стоящие перед ней задачи экономического развития. В ее рамках все происходит так, как будто претворение в жизнь рациональной идеи, содержащейся в «социалистической модели развития», постоянно тормозится то бременем русской традиции, то запутанными интригами партийных политиканов, то личными («человеческими, слишком человеческими») качествами таких администраторов, как Каганович или Хрущев. Как и повсюду, там были и грандиозные свершения, и грандиозные катастрофы. Кто скажет, что у нас все выглядит по-другому?

Резюмируя, можно сказать, что общая концепция, на которой основана подобная экономическая литература, неявно содержит в себе следующие утверждения.

Советская экономика представляет собой некоторую экономическую систему, ставящую перед собой те же цели, что и любая экономическая система (производство материальных благ) и, в частности, наша собственная (экономическое развитие). Ее методы, отличные от наших, рациональным образом подчинены ее целям. Между теоретическим и практическим функционированием модели существует определенный разрыв, иногда значительный. Этот разрыв, вводящий в данную систему иррациональные факторы, обусловлен бременем исторической традиции и просчетами (или некомпетентностью) руководителей. Его можно уменьшить, исправить недочеты, и тогда конечная цель (экономическое

развитие) сможет быть достигнута быстрее и с меньшими издержками.

За каждым описанием стоит некоторое теоретическое допущение. В случае описания, даваемого Ноувом и известной мне экономической литературой, в качестве такового наличествует схема, согласно которой рациональность присутствует в центре системы (в ее конечных целях, которые идентичны целям любой экономической системы), а иррациональность — на ее периферии (в практическом приложении, во вмешательстве исторических факторов и т. п.). Эта схема позволяет достаточно удовлетворительным образом систематизировать факты — точно так же, как система Птолемея позволяла описывать и предсказывать движения планет при условии добавления достаточного количества эпициклов. Однако диссиденты сосредотачивают свое внимание на иных фактах или же приписывают иное значение тем же самым фактам, так что эпициклы уже не выполняют предназначенной им функции, и вся схема становится недостоверной. Выше я пытался опровергнуть три распространенные утверждения относительно советской экономики, прекрасно при этом зная, что в рамках господствующей ныне схемы могут быть введены новые эпициклы, объясняющие хотя бы ту же цифру советского производства стали. Например: советские изделия в среднем в два раза тяжелее, чем аналогичные европейские, и т. д. Мы так никогда и не выберемся из этого «диалога глухих», если оспаривающая предлагаемую схему сторона не сделает усилия и не предложит свою собственную теоретическую концепцию общего характера, способную объяснить те же самые факты более точно, более логично и, самое главное, более экономично. Как раз в этом и заключались основные преимущества, даваемые коперниканской системой по сравнению с птолемеевской: ясность, простота, точность и способность предсказывать факты.

Я хотел бы представить здесь набросок именно такой схемы. Не имея намерения разыгрывать из себя эконо-

миста, я собираюсь предложить лишь исходные положения, или принципы, но такие по крайней мере, чтобы специалист по политической экономии мог бы на них опереться, затем развить их и подробно разработать, чтобы в конце концов попытаться прийти к каким-либо количественным оценкам. В моем наброске не будет цифр. Если принять, что экономисты заблуждались потому, что прилагали классические категории своей дисциплины к объекту, для описания которого требуются совсем иные категории, то предлагаемые мною, хотя и более подходящие к данному объекту, являются еще доклассическими, то есть попросту примитивными. Если мне удастся дать в отношении СССР что-то вроде «экономической таблицы» Кенэ, то это удовлетворит мои самые честолюбивые устремления, и мне не останется ничего другого, как ждать прихода нового Адама Смита¹⁰.

Конечные цели

Начнем с *конечных целей советской системы производства*. Обратимся для этого к ее основателю, Сталину, который, будучи достойным продолжателем дела Ленина, довел до конца внедрение политической системы в сферу, традиционно именуемую экономической. В своем труде «Экономические проблемы социализма в СССР» Сталин дал следующую формулировку того, что он называл «основным экономическим законом социализма»: «Обеспечение максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества путем непрерывного роста и совершенствования социалистического производства на базе высшей техники»¹¹.

10) Фр. Кенэ (1694-1774) — французский экономист. В своей «экономической таблице» (1758) впервые дал анализ общественного воспроизводства путем установления определенных пропорций между вещественными и стоимостными элементами общественного производства. Адам Смит (1723-1790) — шотландский экономист и философ, благодаря трудам которого политическая экономия превратилась в разработанную систему экономических знаний. (Прим. перев.)

11) И. Сталин: «Экономические проблемы социализма в СССР», М., 1952, стр. 40.

На первый взгляд, это вовсе не закон, а лишь программа действий. В определенном смысле это программа всех когда-либо существовавших на Западе экономических систем, поскольку те были направлены на достижение благосостояния и стремились к какому-то экономическому росту. Достаточно заменить несколько слов, чтобы получить программу Траяна, Гарун-аль-Рашида, Кан Хи или Кольбера¹². Более того, эта программа полностью разделялась практически всеми, кто руководил экономикой на Западе, в тот самый момент, когда Сталин писал эти слова. Когда-нибудь будет в полной мере оценена та положительная роль, которую сыграл в организованном развитии рыночной экономики в различных странах в послевоенный период не сам по себе сталинский социализм, но то, как мы его себе представляли. Необходимость ответить на «советский вызов», в которой тогда никто не сомневался, еще более укрепила иллюзию экономистов, что советский режим ставит перед собой те же цели, что и западные режимы, и что его развитие (хотя и достигаемое иными средствами) определяется тем же единым и универсальным вектором экономического роста.

В той же самой работе Сталин сформулировал также «основной экономический закон современного капитализма»: «Обеспечение максимальной капиталистической прибыли путем эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путем закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитаризации народного хозяйства, используемых для обеспечения наивысших прибылей»¹³. Это довольно похоже на практику сталинского социализма, какой мы ее знаем сейчас. Именно поэтому некоторые диссиденты

12) Траян (53-117) — римский император, при котором Римская империя достигла максимальных границ. Гарун-аль-Рашид (766-809) — халиф из династии Аббасидов. Кан Хи (1654-1722) — китайский император, в конце правления которого Китайская империя становится самым могущественным и процветающим государством в Азии. Ж. Б. Кольбер — см. прим. на стр. 66. (Прим. перев.)

13) Цит. соч., стр. 38.

рассматривают подобный социализм как одну из разновидностей государственного капитализма — особенно жестокую, потому что в ней отсутствуют какие бы то ни было сдерживающие факторы. Однако, они ошибаются. Если бы социализм действительно был одной из разновидностей капитализма, пусть даже самой дикой и необузданной, какую только можно себе представить, то он характеризовался бы хоть какой-то рациональностью и соответствием выбираемых средств поставленным целям, что имеет место для всех известных экономических режимов, включая сюда и капитализм, если это понятие еще имеет какой-то смысл. В нем были бы по крайней мере цены и где-то должны были бы вестись поддающиеся проверке учет и статистика. И, наконец, дух наживы при советском режиме попирается и оказывается не у дел в не меньшей степени, чем при самом суровом режиме, который только способны изобрести социал-демократы. Таким образом, советский режим является столь же грабительским и эксплуататорским, как и капитализм, описанный Марксом, но уподоблять его капитализму в экономической сфере было бы столь же неверно, как в сфере политической — приравнять к олигархической бюрократии. Действительно, бюрократия, до такой степени лишенная рациональности, или олигархия, до такой степени действующая против своих собственных интересов — это уже ни бюрократия, ни олигархия. Капитализм, до такой степени разрушающий и разбазаривающий материальные ценности — это уже не капитализм. Объяснение нужно искать в другом месте.

Для этого вернемся к Сталину и его «основному экономическому закону». Ключ к разгадке кроется именно там.

Сталин, верно следующий в этом Ленину, рассматривает все существовавшие в истории «способы производства» как подчиняющиеся определенным законам. Социализм и капитализм суть естественные общественно-экономические формации и как таковые характеризуются

ются специфическими для каждой из них законами. Поэтому первой задачей, которую поставил перед собой Ленин (и единственной, в решении которой он преуспел), было свержение «капитализма», чтобы расчистить место, где мог бы существовать и развиваться социализм. На самом деле он с корнем выкорчевал не только капитализм, но и вообще всю какую бы то ни было экономику. Уничтожив собственность, товарный обмен, предпринимательство и даже на какое-то время деньги, он сделал немислимыми даже те формы экономической жизни, которые на его языке именовались феодализмом, рабовладельческим строем и первобытным коммунизмом. Когда, например, русские крестьяне, отброшенные вспять к натуральному хозяйству, попытались найти себе убежище в том, что еще оставалось от сельской общины, то этот «пережиток» также был немедленно уничтожен.

Итак, место было расчищено — но социализм не появлялся. И тогда, чтобы подвести теоретическую базу под этот неожиданный факт, ленинско-сталинская идеология предложила следующее объяснение: рождению социализма мешало то обстоятельство, что капитализм, вопреки всей видимости, не был полностью уничтожен. «Основной закон» капитализма продолжать действовать подспудно — в виде неизжитых вредных привычек или преступной халатности тех, кто принимал участие в экономической жизни — то есть всей совокупности советских граждан.

Поскольку социализм не приходит сам по себе, то есть в ходе единой и стихийной самоперестройки всего общества — значит, его надо *построить*: другими словами, перевоспитать это общество во всех отношениях, ибо капитализм охватывает все стороны общественной жизни (впоследствии то же самое будет относиться и к социализму). Советская власть, которой в принципе предназначено вскоре раствориться в системе самоуправления общества (см. «Государство и революция»), становится таким образом чем-то вроде крепостного

вала, единственным оплотом, надеждой и *ultima ratio*¹⁴ социализма, поскольку его естественные *rationes*¹⁵ оказываются на поверку недостаточными.

Эта власть всеобъемлюща. Она способна охватить — и охватывает — все области жизни: производство, потребление, их взаимное согласование и, как говорил Ленин, «учет и контроль». Поэтому можно думать, что экономика вскоре полностью поглотится политикой, и вместо *политической экономии* социализма будет уже только *экономическая политика* социализма.

Но если мы соглашаемся с такой постановкой вопроса, социализм перестает быть общественно-экономической формацией, естественным образом приходящей на смену капитализму в ходе нормального развития человеческого общества. Он теряет свое «законное» право на существование, а вместе с ним — и власть, единственная роль которой заключается в том, чтобы стать его «повивальной бабкой». Именно это и отмечает Сталин с обычной для него ясностью и невозмутимостью. В той же работе он выступает с язвительной критикой по адресу т. Ярошенко. Согласно последнему, коммунистический режим представляет собой всего лишь «рациональную организацию производительных сил». Поэтому у социализма нет какой-то особой политической экономии, как это имело место для досоциалистических общественно-экономических формаций, а есть только экономическая политика, рациональность которой может развиваться без помех, свойственных всем предыдущим формациям.

Но это глубоко ошибочное мнение, — возражает Сталин, не считая нужным даже приводить на этот счет какие-либо веские аргументы. Он довольствуется всего двумя. Во-первых, производительные отношения не обязательно являются помехами на пути развития производительных сил, как при капитализме; они могут также быть и «положительными факторами». А вот и доказательство: «Никто не может отрицать колоссального раз-

14) Последний довод, последнее средство (*лат.*).

15) Причины, средства, основания (*лат.*).

вятия производительных сил нашей советской промышленности и нашего сельского хозяйства»¹⁶. Далее, «нельзя рационально организовать производство без учета общего состояния общества». Уважаемый т. Ярошенко не понимает, что «раньше, чем перейти к формуле «каждому по потребности», нужно пройти ряд этапов экономического и культурного перевоспитания общества, в течение которых труд из средства поддержания жизни будет превращен в глазах общества в первую жизненную потребность, а общественная собственность — в незыблемую и неприкосновенную основу существования общества»¹⁷. Иными словами, советская власть, осуществляющая это перевоспитание, способствует воплощению в жизнь «объективного» закона, являющегося плодом данного перевоспитания. А поскольку эта власть представляет собой неотъемлемую часть социализма, то она сама подчиняется этому закону, олицетворяет его и, в конечном итоге, доказывает его верность. Следовательно, т. Ярошенко неправ. Ленин, вслед за Энгельсом и (как ему казалось) Спинозой, полагал, что свобода есть осознанная необходимость. Сталин предоставил *органам*, советской форме необходимости, позаботиться о том, чтобы все перевоспитуемые осознали свою абсолютную свободу и научились бурно выражать «чувство глубокого удовлетворения» этим фактом. При социализме экономическая политика и политическая экономия совпадают, и законы (или директивы) государства сливаются в единое целое с объективными законами социализма.

Из всего сказанного вытекает принципиальной важности следствие, а именно: столкнувшись с каким бы то ни было экономическим явлением, советская власть прежде всего должна задаваться вопросом, какому закону оно подчиняется — капитализма или социализма? Производство материальных благ должно оцениваться по-разному в зависимости от того, следует ли

16) Цит. соч., стр. 146.

17) Цит. соч., стр. 156.

его отнести к проявлениям капитализма, все еще неискорененного и постоянно пытающегося поднять голову, или же социализма, постоянно находящегося под угрозой и бережно охраняемого в своем развитии государственной властью.

Советское сельское хозяйство, полностью разрушенное за годы военного коммунизма, в период нэпа вновь встало на ноги и достигло примерно уровня 1913 г. Однако, это было *неправильное* развитие, поскольку оно обуславливалось главным образом восстановлением «капиталистических» механизмов. Следовательно, на этом пути нельзя было достичь социалистического изобилия, ибо по мере приближения к цели она фактически становилась все более отдаленной, так как одновременно происходило укрепление диаметрально противоположного ей уклада — капитализма. В терминах «основных экономических законов», характеризующих эти два способа производства, это означало, что нельзя добиться «обеспечения максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей всего общества» путем «разорения и обнищания большинства населения». Поэтому следовало приступить к коллективизации, которая привела к обнищанию и разорению всех слоев крестьянства — зажиточных, середняков и бедноты, — запятнавших себя причастностью к «капитализму». И все это — чтобы обеспечить возможность *правильного*, социалистического развития деревни! «Без этого производственного переворота, — добавляет Сталин, — производительные силы нашего сельского хозяйства прозябали бы так же, как они прозябают теперь в капиталистических странах»¹⁸.

Вот она, подлинная диалектика! Формула Бакунина — «дух разрушения и дух созидания есть одно и то же» — является онтологической формулой большевизма: чтобы расчистить место, где могли бы зародиться (а затем и расцвести пышным цветом) ростки социализма, необходимо уничтожить ростки изобилия противопо-

18) Цит. соч., стр. 147.

ложной природы, корнями уходящие в капитализм. Именно поэтому большинство экономических мероприятий советского режима имеет своей целью не только организацию производства материальных благ (которые должны сами собой появиться в результате естественного развития социализма в соответствии с его «основным законом»), но и дезорганизацию этого производства в той мере, в какой оно создает те блага, источником которых является (на самом деле или по мнению партийных идеологов) «капитализм».

Коллективизация имеет целью обеспечение бурного развития сельского хозяйства. Однако, даже если она и приводит к его полному разорению, нельзя утверждать, что она провалилась. На самом деле она *подготовила условия* для последующего мощного подъема. То же самое относится и к планированию. Его функция состоит не только в том, чтобы просто организовывать производство (как полагают неискушенные западные ученые, привыкшие понимать все слова буквально), но и одновременно его дезорганизовывать.

Это стало очевидным фактом начиная уже с первой пятилетки. Пятилетний план 1928-1932 гг. был разработан кучкой уцелевших меньшевиков и эсеров на основе статистики общенациональных ресурсов: они верили в возможность некоторого разумного и эмпирического управления экономикой и принимали политическую экономию всерьез. Однако для Сталина и его приспешников слово «план» послужило прикрытием совершенно противоположного рода действий. Были полностью упразднены товарный обмен, установление равновесия между спросом и предложением, сбалансированная политика цен — то есть как раз те экономические инструменты, без которых любое планирование становится просто немислимым. Советское хозяйство являло собой удивительную картину: между Магнитогорском и прочими «гигантами первых пятилеток» (то есть тяжелой промышленностью, служащей созданию военной мощи), с одной стороны, и разоренными колхозами — с другой,

простирались огромный пустырь, ничейная земля, где господствовали самые непредвиденные (и в еще меньшей степени запланированные) явления, как паническое бегство крестьян в город, падение заработной платы, всеобщее разбазаривание и расхищение «социалистической собственности» и, наконец, голод.

Результаты дезорганизующего планирования можно наблюдать непосредственно на предприятиях. Свидетельства о ситуации в колхозах и совхозах, на заводах и фабриках, рисуют нам руководителей, издерганных неосуществимыми или противоречивыми директивами, плановыми заданиями, которые требуется выполнить любой ценой, независимо от наличия необходимых для этого условий. Природа плана такова, что он ставит перед предприятиями и целыми отраслями невыполнимые задачи, но поскольку последние, как мы увидим ниже, в итоге считаются выполненными, последующие директивы оказываются еще более нереальными. Дезорганизующее влияние плана состоит в том, что он препятствует выбору и применению адекватных средств для достижения пресловутых *конечных целей*, которые, быть может, в конечном счете и были бы достижимы, если бы хозяйственных руководителей не связывал по рукам и ногам всемогущий *план*, с его бесчисленными и бессмысленными *плановыми показателями*.

Экономика-фикция

Советский режим не ограничивается утверждением, что коллективизация подготовила условия для *бурного развития* сельского хозяйства, а планирование — для *неуклонного подъема* промышленности. Оба эти явления считаются реально существующими, доказательства чему ежедневно преподносит советская печать: невиданные урожаи, шеренги тракторов, дружно распахивающих плодородный чернозем, гигантские комбайны, за штурвалами которых стоят радостно улыбающиеся комбайнеры, костромские коровы, ветвистая пшеница. апельсины за полярным кругом . . . А рядом — исполин-

ские доменные печи, рабочие, с ученым видом склонившиеся над пультами управления, и головокружительно взмывающие ввысь кривые роста всех производственных показателей. Вспомним, что писал Сталин в том же своем сочинении: «Никто не может отрицать колоссального развития производительных сил нашей советской промышленности, нашего сельского хозяйства». Действительно, отрицать этого никто не мог. Никто и не отрицал.

Поскольку советский строй представляет собой социализм, это обязательно должно проявиться в конкретных результатах: если существует фундаментальный «основной закон» социализма, то он обязан выполняться. Далее, поскольку это объективный, научный закон, то он проверяется результатами измерений, роль которых в экономике играют статистические данные.

Два обстоятельства придают советским статистическим данным совершенно особый характер.

1. Эти статистические данные относятся к социализму. Другими словами, единственными фактами, достойными быть зафиксированными, обработанными и опубликованными, являются факты, характеризующие социализм. Поскольку социализм признается реально существующим, безработица, несчастные случаи на производстве, преступность, ничтожная заработная плата и т. п. считаются несуществующими. Следовательно, они не подлежат статистическому анализу. Это правило выходит далеко за пределы собственно экономики: авиационные и железнодорожные катастрофы и даже стихийные бедствия — такие, как наводнения, землетрясения или эпидемии, ответственность за которые трудно возложить на социализм, — лишены законного права на существование и, следовательно, рассматриваются как несуществующие. Отсюда следует, что публикуемые в СССР статистические ежегодники по принятым на Западе критериям не могут считаться полными. Например, в них отсутствуют данные об алкоголизме, прогулах, забастовках, а сведения о размере заработной платы и пенсий публикуются в доступ-

ном для анализа виде лишь в той степени, в какой они являются совместимыми с идеей социализма. Все, что касается капитализма, советскую статистику не интересует — а в соответствии с советской доктриной каждое «отрицательное» явление приписывается влиянию капитализма. По этой же причине целый ряд явлений, которые с нашей точки зрения следовало бы рассматривать как положительные (например, частная торговля или кустарное производство), считаются отрицательными. Таким образом, чтобы режим мог сохранить свое «законное» право на существование, определенная часть советской действительности обязательно должна замалчиваться.

2. В процессе селекции и сбора данных никто не может претендовать на роль нейтральной, «незаинтересованной» стороны. Это положение с необходимостью вытекает из предыдущего принципа. При социализме каждый — и тот, кто предоставляет сведения, и тот, кто их собирает — несет ответственность за строительство социализма. Иначе обстоит дело на Западе, где производственные показатели в целом не подлежат моральной оценке. Сбор соответствующих данных осуществляется, как правило, организациями, у которых нет причин их фальсифицировать. Если же эти данные затрагивают интересы определенной группы, и она может использовать свое влияние с целью их искажения, то другая группа (или группы), представляющая противоположные интересы, всегда имеет возможность открыто поставить под сомнение представленные цифры. Так, например, статистические показатели уровня жизни часто являются предметом разногласий и дискуссий между профсоюзами наемных работников и предпринимателей. Вне сферы учета и проверки остаются все данные, касающиеся статистики правонарушений: уклонение от уплаты налогов, проституция, преступные организации типа мафии, занимающиеся вымогательством, шантажом и т. п. В СССР, однако, в подобной ситуации оказывается вся совокупность могущих быть

выраженными в цифрах «отрицательных» явлений. Купля, продажа, спекуляция, хищение, воровство — все это рассматривается как явления одного порядка, оценкой которых должен заниматься следователь, а не экономист.

Точно так же, как и при селекции областей, подлежащих учету и сбору данных, никто не может оставаться нейтральным и по отношению к самим цифрам, описывающим «социалистическую действительность», поскольку строительство социализма — есть дело всех и каждого. Если некий директор в составляемой им сводке или отчете приводит какую-то цифру, то причина этого в том, что он *должен* представить именно эту цифру. Контролер, в обязанности которого входит проверка этой первой цифры, уже заранее, до проведения любой ревизии или контроля, знает, какая цифра должна будет фигурировать в его отчете. Оба они — и директор, и контролер — несут за это политическую ответственность (в условиях советской системы это означает — и уголовную ответственность). Таким образом, на рассматриваемом этапе любая цифра представляет собой нечто среднее между тем, что требует власть, и действительностью; выражаясь точнее, она соответствует максимальному искажению действительности, совместимому с видимостью правдоподобия.

Во все времена экономические системы могли функционировать вообще без статистики или со статистикой, не соответствующей действительности. Можно представить себе, что советская статистика, составленная на основе данных, собранных на каждом предприятии, оказывается настолько несогласованной и внутренне противоречивой, что признается недействительной и отбрасывается; в этом случае мы имели бы дело с рыночной экономикой примитивного типа, без какого-либо учета, но все же функционирующей.

К сожалению, это невозможно, поскольку в СССР предполагается, что развитие всего производства в целом представляет собой рациональный и согласован-

ный процесс, направляемый с помощью планирования и измеряемый с помощью статистики. В результате введение фиктивной согласованности приводит к тому, что вся система теряет свою чисто «экономическую» согласованность.

Как это происходит? Первый этап: каждое предприятие получает некое выраженное в цифрах плановое задание. Это задание нельзя игнорировать ввиду политико-уголовной ответственности, которую несут руководители, а также потому, что на предприятие направляется поток товаров (сырье, оборудование и т. д.) и услуг, которые должны теоретически обеспечить выполнение плана. Однако их количество недостаточно, а качество — неудовлетворительно, так что руководители оказываются вынужденными заниматься очковтирательством в отношении количества и качества фактически достигнутых результатов. Здесь мы уже вступаем во второй этап: благодаря различным бухгалтерским ухищрениям составляется «липовый» отчет, в котором план оказывается выполненным на бумаге, вместе с соответствующим процентом перевыполнения, который также заранее предусматривается планом. Третий этап: на основе этих фальсифицированных показателей планирующие органы разрабатывают новый план, еще более невыполнимый, чем предыдущий, так как, выражаясь научным языком, «соответствующая информация подверглась дополнительным искажениям в канале обратной связи». В результате планирование, по мере того, как оно распространяется на все более протяженные промежутки времени, детализируется и охватывает новые предприятия или отрасли, испытывает неуклонную тенденцию к отрыву от реальности и созданию экономики-фикции, которая начинает существовать и «развиваться» независимо от реального производства.

Случается, что разрыв между экономикой-фикцией и реальной экономикой становится опасным в политическом отношении. Тогда власть «спускает сверху» скорректированную цифру. Вспомним то впечатление

разорвавшейся бомбы, которое произвел — на Западе — доклад Хрущева о состоянии сельского хозяйства, из которого недвусмысленно вытекало, что после сорока лет бурного подъема сельскохозяйственное производство в СССР не достигло даже уровня 1913 г.

Не следует, однако, впадать в иллюзию: исправленная цифра — это вовсе не значит «правильная». Заявить, что Советский Союз вот-вот догонит и перегонит США по производству мяса и молока на душу населения, или что поголовье крупного рогатого скота насчитывает меньше голов, чем в царские времена, да и тем, что уцелели, не хватает корма — это акт политический, а не экономический. Никто — ни Хрущев, ни министр сельского хозяйства — не знает, сколько на самом деле голов в этом самом поголовье. Публикуемые цифры должны восприниматься не в их арифметическом, а в политическом значении: например, они могут свидетельствовать о новой кампании под лозунгом «Все силы на подъем сельского хозяйства!», или еще о чем-нибудь, или, наконец, о победе одной группировки в Политбюро над другой.

Эти практикуемые время от времени политические корректировки оказывают сдерживающее влияние на планирование (я имею в виду не планирование производства, а планирование показателей производства). Нужно признать, что вот уже лет двадцать, как мы не слышим больше о перевыполнении плана на 1000%, что при Сталине было вполне обычным делом. Темпы роста определяются уже не двузначными цифрами (от 10 до 25%), как в сталинские времена, а однозначными, го есть приближаются к западным. В этом факте следует видеть не торжество истины и реалистического подхода, а лишь стремление к большему правдоподобию, к цифрам, которые были бы «похожи на правду». Иногда мне приходит в голову, что поправки, ценой огромных усилий вносимые западными экономистами в советские статистические ежегодники, или дополнительные данные, с такой изобретательностью вычисляемые ими, чтобы

заполнить зияющие пробелы в доступных публикациях, представляют собой неопределимое подспорье для советских плановиков. А что если они используют ученые труды специалистов из «London School of Economics», чтобы придать своей экономике-фикции видимость согласованности и правдоподобия, которой без этой зарубежной помощи она была бы лишена?

Королева Вильгельмина говорила о Наполеоне III, что тот так изолгался, что нельзя принимать за истину даже полную противоположность того, что он говорит. Ее слова должны стать девизом каждого, кто берется за интерпретацию советских источников, особенно содержащих цифровые данные. Здесь мы имеем дело не с искажением реальности путем преувеличения или преуменьшения, и не с псевдореальностью, от начала до конца сфабрикованной и не имеющей никакого отношения к подлинной действительности. И то, и другое предполагало бы знание этой подлинной реальности, что кажется в высшей степени маловероятным. Действительно, советский руководитель располагает более обширной информацией, чем простые граждане: он пользуется доступом к секретным документам, зарубежным источникам, иногда даже к результатам социологических опросов и исследований, авторы которых, прикрываясь безличностью объективной методики, пытаются как-то нейтрализовать последствия искажения информации теми, тому вменено в обязанность ее собирать и передавать. Однако, с другой стороны, тот же самый руководитель должен и в помыслах, и на словах жить в особой реальности, где социализм считается осуществленным фактом. Он занял свой пост, преодолев все ступени «естественного отбора», именно благодаря своей способности мириться с фикцией, считать фиктивную реальность существующей на самом деле и тем самым претворять ее в жизнь. Иной реальности он и знать не хочет. Оттого и возникает этот парадокс: советские цифры ложны, но даже если бы они были правильными, то не стали бы от этого менее ложными,

поскольку между ними и реальностью нет никакого соотношения, даже того, которое имеется между правдой и ложью. Даже если бы 145 миллионам тонн стали, фигурирующим в советской статистике, где-то соответствовали действительно выплавленные 145 миллионов тонн, то это было бы лишь необъяснимым совпадением, подобным тому, о котором говорит Спиноза — между псом, лающим на лисицу, и псом из созвездия Гончих Псов.

Два принципа

Формула Бакунина — «дух разрушения и дух созидания есть одно и то же» — предполагает, что развитие социального мира обуславливается особой, внутренне ему присущей движущей силой — биологической, конфликтной, «диалектической» — которая и заставляет его переходить от одного этапа к другому, от «капитализма» — к «социализму». Революционная партия разрушает капитализм, то есть существующую реальность, во имя наступления социализма. Та же самая партия, но уже находящаяся у власти, видя, что социализм не наступает, продолжает разрушать реальность, которая препятствует его приходу и в силу этого по определению должна считаться капиталистической. Подобная постановка вопроса вполне оправдана, поскольку, по убеждению советского правительства, социализм зависит от определенных, чисто технических, условий, каковые должны быть воплощены в жизнь политической властью. Именно эта власть и осуществляет превращение социализма из идеи в реальность, переход его от «сущности» к «существованию». Но если отсутствие социализма обусловлено не техническими, а онтологическими причинами, если он не существует просто потому, что *не может существовать*, то его построение приводит лишь к разрушению того, что уже существует. Реальность, ошибочно отождествленная с капитализмом, который существует лишь в качестве противополож-

ности несуществующему социализму, становится объектом штурма, направленного на установление в ее центре того самого «небытия», которым продолжает оставаться социализм. Именно поэтому те периоды, для которых характерен самый безудержный энтузиазм и наиболее интенсивная деятельность, направленная на построение социализма, оказываются самыми разрушительными: военный коммунизм, коллективизация, годы первых пятилеток, китайский «большой скачок вперед».

Представляется поэтому, что последовательное воплощение в жизнь принципа построения социализма постепенно привело бы к полному уничтожению всех материальных благ и всего населения.

Однако на практике его осуществление откладывается на неопределенный срок за счет вмешательства другого принципа: нельзя ставить под угрозу власть. Эти два принципа сочетаются следующим образом. Социализм может возникнуть лишь в том случае, если власть занимается его построением. Следовательно, покуда удерживается власть, социализм сохраняет возможность воплотиться в действительность. Легитимность этой власти основывается на некоторой общей концепции мира, включающей в себя социализм. Верность этой концепции может быть опровергнута одним-единственным событием — утратой власти, что лишает социализм его последней возможности стать реальностью. Поэтому, пока власть существует, она сохраняет законное право на существование: здесь *де-юре* вытекает из *де-факто!* Там, где присутствует власть, там присутствует в зародыше и социализм.

Таким образом, принцип, гласящий: «капитализм (или, что то же самое, реальность) должен быть разрушен» оказывается подшитым другим принципом: «следует сохранить столько капитализма (то есть реальности), чтобы власть с ее материальной и политической базой не оказывалась под угрозой». Все экономическое искусство советского правительства состоит в комбинировании этих двух принципов таким образом, чтобы

осуществить социалистический проект разрушения капитализма, но при этом сохранить силу и жизнеспособность партии-государства, на которое опирается осуществление этого проекта. Нужно, чтобы партия-государство оставалось сильным, чтобы оно могло рассчитывать на покорность, молчаливое согласие или даже на активную поддержку населения. Нужно, чтобы оно располагало военной мощью, которая делает его недосыгаемым для нападения извне и наглядно демонстрирует реальность проекта мировой революции. Нужно, чтобы эта военная мощь опиралась на достаточное тыловое обеспечение и индустриальную базу. Ленин был и остается подлинным мастером этого чисто большевистского искусства управления советской экономикой. Именно он в 1921 году отверг планы Троцкого, которые должны были привести к уничтожению капитализма полностью и без остатка — но вместе с ним и советской власти. Сталин проявил себя настоящим ленинцем, как раз вовремя остановившись перед «головокружением от успехов», которое было головокружением над пропастью небытия. В этом смысле плохими ленинцами оказались Мао Цзэдун, ввергнувший Китай в ту ненадежную и опасную ситуацию, где он находится сегодня, а также Пол Пот, который зашел в строительстве социализма в Камбодже так далеко, что разрушил собственную партию и потерял власть.

Компромисс

Советское экономическое искусство состоит в поисках компромисса. Компромиссы заключаются на всех уровнях — от самого скромного предприятия до Совета экономической взаимопомощи. Эти компромиссы непрочны, так как строительство социализма немедленно вступает в свои права, как только компромисс исчерпал свои благотворные эффекты. Действительно, речь вовсе не идет о компромиссе с реальностью. Наоборот, компромисс изыскивается именно потому, что реальность не

идет ни на какие компромиссы, и лишь постольку, поскольку он может оказаться полезным для последующего разрушения «капитализма». Другими словами, власть не просто мирится с компромиссами или смотрит на них сквозь пальцы — она идет на них сознательно. Политика компромисса — это активная политика, и его нельзя путать с тем, что в официальных текстах именуется «пережитками капитализма». Фактически в периоды интенсивного социалистического строительства вся экономическая реальность может представляться таким «пережитком», и компромисс используется именно для того, чтобы в дальнейшем покончить с этими пережитками. Путаница в этих двух понятиях является источником заблуждения, в которое периодически впадают западные наблюдатели. Каждый раз, когда советское правительство решает отклониться от асимптотической кривой, стремящейся к абсолютному нулю, то есть чистому социализму, они видят в этом возвращение к реализму, к рыночной экономике, к «капитализму». Вскоре, однако, они оказываются вынужденными констатировать, что сколь бы глубокими ни были уступки и компромиссы, всегда существует асимптотический разрыв и по отношению к рыночной экономике, которая в конце концов никогда не достигается. Это ставит перед нами практическую задачу. Именно: когда правительство советского типа предпринимает крупную экономическую реформу, то какие критерии позволят нам судить, идет ли в данном случае речь об отказе от социалистического проекта? Например, югославские коммунисты допускают у себя такие вещи, как квази-рыночная экономика, зарубежные инвестиции, право на эмиграцию, высокий уровень безработицы, и прочие проявления стихийного «капитализма», которые в любой западноевропейской стране сурово бы подавлялись. Относится ли все еще югославская экономика к социалистическому типу? Я предлагаю следующий критерий: экономика остается социалистической, сколь бы «капиталистической» она ни казалась в своем реальном

функционировании, если решение пойти на компромисс и ввести какие-то принципы, противоречащие духу социализма, принимается для того, чтобы сохранить власть и, как следствие, возможность в другое время и при других обстоятельствах претворить в жизнь социализм. Сколь бы далеко ни зашло временное отступление, решение отступить является коммунистическим по духу, если оно принято с целью сохранить коммунистическую власть.

Производство

Итак, мы познакомились с целями советской экономики (социализм), с двумя ее основными принципами (разрушение капитализма/построение социализма и сохранение власти) и практическим правилом (поиск оптимального компромисса). Остается дать лишь ее конкретное описание.

Представляется, что для целей этого описания можно рассматривать по отдельности производство материальных благ и их потребление частными лицами. В экономических системах, не относящихся к советскому типу, производство и потребление неразрывно связаны (поскольку блага производятся с целью удовлетворения запросов рынка), а их взаимное согласование осуществляется с помощью огромного количества различных добровольных операций, без какой-либо иной координации, кроме влияния знаменитой «невидимой руки»¹⁹.

19) Метафора «невидимой руки», ставшая классической, принадлежит Адаму Смиту. В своем основополагающем труде «Исследования и природе и причине богатства народов» (1776) он проанализировал, каким образом рыночная система может сочетать свободу отдельных лиц преследовать свои собственные, индивидуальные цели с тесным сотрудничеством, необходимым для производства материальных благ. Он показал, что рыночный обмен может быть выгодным для обеих сторон, и, более того, пока сотрудничество остается строго добровольным, будут осуществляться только взаимовыгодные сделки. Поэтому, как писал А. Смит, индивидуум, «имеющий в виду лишь собственную выгоду, как бы направляется невидимой рукой и содействует осуществлению цели, которая вовсе не входила в его намерения. [Более того], преследуя собственные интересы, он зачастую содействует интересам общества более эффективно, чем если бы действительно намеревался это сделать». (Прим. перев.)

В советской системе блага производятся (по крайней мере, теоретически) по административному заказу (или приказу) и с целью удовлетворения потребности, определяющейся также административным путем. Координация в принципе осуществляется «видимой рукой» плана и экономических и политических органов партии-государства. Такое посредничество партии-государства, которое решает, что должно быть произведено, и что направлено на личное потребление, устанавливает фактическое разделение между процессами производства и потребления, что и позволяет нам рассматривать их по отдельности.

Сектор I

В системе производства существуют три сектора. Сектор I включает в себя производство материальных объектов и услуг, являющихся источником *мощи* партии-государства. «Чтобы построить социализм, — писал Ленин, — нам нужна власть и еще раз власть». Совокупность экономических средств, обеспечивающих этой власти политическую и военную мощь, требующиеся для того, чтобы построение социализма представлялось вполне реальным проектом, и составляет сектор I. Следовательно, он подчиняется второму принципу советской экономики — сохранению власти.

Сектор I подразделяется на две области: производство внешней мощи и производство внутренней мощи.

К первой относится в первую очередь военное производство, оружие, производящие его отрасли промышленности, научные исследования и разработки, направленные на военные цели. Сюда следует добавить те виды «производства», которые служат повышению международного престижа СССР. Одни из них могут иметь непосредственное отношение к военной промышленности (развитие авиации при Сталине, полеты в космос при Хрущеве), другие — нет. Например, деликатная механика «Интуриста», со всем своим солидным

«потемкинским» хозяйством, которая всегда гладко функционировала на радость заграничным визитерам, требует сооружения городских и сельских декораций (новенькие поликлиники, образцовые колхозы и т. п.) и поддержания в соответствующем порядке строго ограниченных, но довольно обширных территорий и маршрутов, отведенных для посещения иностранными гостями. Другой пример: олимпийские рекорды, балет Большого театра, икра и прочие «экспортные товары», предназначенные для того, чтобы произвести впечатление за рубежом.

Военное производство является приоритетным, эффективным, ставящим перед собой реальные цели. Рассматривая конфликт между «капитализмом» и «социализмом» в территориальном аспекте, можно думать, что если социалистический лагерь не сумеет при необходимости выдержать вооруженного столкновения со своим главным империалистическим противником, то его песенка спета. Управление военной экономикой было первым экономическим вопросом, за который взялось правительство Ленина. В качестве образца была выбрана германская военная машина, которая при Ратенау достигла высокой степени эффективности. Эта эффективность не является недостижимой в рамках советской системы, при условии, что речь идет о поддержании конкурентоспособности, выраженной в конкретных терминах. Например: требуется произвести столь-то танков, обладающих такими-то характеристиками. Поставленные цели являются ограниченными, ясно сформулированными, определяющимися уже существующими западными образцами: утопичности здесь меньше, чем в любом другом секторе советской экономики. Поскольку стимулирующие факторы максимальны, а политическое предписание намечает вполне достижимую (ибо уже где-то достигнутую) цель, то неудивительно, что в секторе I сосредотачивается техническая рациональность системы. В конце концов создание определенной системы вооружения сводится к созданию отдельной

промышленной системы внутри общей системы. Следовательно, можно пожертвовать равновесием последней во имя создания первой, если она настолько важна, что во имя ее можно пожертвовать другими приоритетами, в том числе строительством социализма. Так и происходит. Военная промышленность представляет собой центр, вокруг которого вращается вся советская система, ибо так она была задумана, и на практике тоже ничто не препятствует ей быть этим центром.

Какова ее доля в общем объеме советского производства? По подсчетам западных специалистов, эта цифра близка к 12⁰%, по мнению Сахарова — к 40⁰%. Величина расхождения свидетельствует о трудностях численной оценки советского производства. Возможно, что удельный объем советского военного производства не достигает цифры, приводимой Сахаровым, но если обратиться к удельной стоимости, то это кажется правдоподобным. Дело в том, что продукция военной промышленности характеризуется количественно определяемой рыночной стоимостью, в то время как «гражданская» продукция таковой не обладает. Изделия военной промышленности являются объектом конкуренции — если не коммерческой, то по крайней мере технической. Их технические характеристики и показатели измеримы, их можно продать, и они действительно составляют основную статью советского экспорта промышленных изделий. Прочие изделия, не испытывающие давления конкуренции, копирующие (и копирующие плохо) соответствующие зарубежные образцы, продать значительно труднее, на мировом рынке они присутствуют в ничтожных количествах, и поэтому невозможно приписать им определенную рыночную стоимость.

Сколь бы значительным ни было военное производство, оно не может, даже во время войны, монополизировать все производство целиком. Следует оставить определенную долю и для «гражданского» производства — по очевидным техническим, а также политическим причинам. Однако для этого существуют и чисто экономиче-

ческие причины. В самом деле, если возможно рациональным образом определять цели и задачи военного сектора, то этого нельзя сказать об имеющихся в его распоряжении средствах. Качество продукции (резко контрастирующее с качеством продукции в «гражданском» секторе) достигается здесь путем многократного контроля (иногда контролеров столько же, сколько рабочих), что трудно совместить с рациональным управлением, исходящим из понятия рентабельности. Военное производство целиком и полностью принадлежит к социалистической сфере планируемой экономики, откуда оно изымает основную массу своих средств (некоторые дополнительные средства поступают из внесоциалистического сектора). Без них оно не могло бы функционировать.

К производству внутренней мощи, несомненно, следует отнести «услуги», предоставляемые аппаратом принуждения. Уместно вспомнить, что из советских архивных документов, захваченных немецкой армией в начале войны с СССР, следует, что 13% учитываемого производства управлялось НКВД. Однако к этому производству внутренней мощи следует также добавить еще один вид продукции, обычно рассматривающийся как входящий в сферу индивидуального потребления и таким образом учитывающийся вместе с товарами и услугами, определяющими уровень жизни советских граждан. Я имею в виду производство культурных ценностей и услуг. Газеты, журналы, книги, спектакли, плакаты, телевидение, познавательные-развлекательные мероприятия и даже значительная часть школьного и высшего образования — все то, что у нас представляет собой услуги, существующие лишь в зависимости от спроса, в Советском Союзе входит в состав аппарата принуждения партии. Эти «услуги» никак не связаны со спросом населения и, наоборот, навязываются ему неэкономическими путями. Когда частные потребители оказываются в состоянии проявить свою волю и установить в данном секторе закон рынка, это приводит

к положению, при котором миллиарды книг пылятся на полках магазинов и «идут под нож», тогда как книги, действительно пользующиеся спросом, продаются на черном рынке по астрономическим ценам. Все эти культурные ценности и услуги производятся «в пустоте», как выражение мощи советского государства, как вехи на пути социалистического строительства. Они представляют собой не дополнение к тем благам, которыми позволено располагать населению, но наоборот — способ изъятия части этих благ.

Сектор II

Сектор II отличается от сектора I функционально (формального различия между ними нет). Он включает в себя производство товаров и услуг в рамках «социалистической», то есть «планируемой» экономики. Следовательно, он олицетворяет социализм в действии и подчиняется первому принципу социалистической экономики (разрушение капитализма/построение социализма). В глазах иностранцев советская экономика полностью сливается с сектором II. Он охватывает собою сектор I (исключение составляют лишь использующиеся в последнем методы — по упомянутым выше причинам, связанным с конкурентоспособностью, рациональностью и иерархией приоритетов). Сектор II удовлетворяет потребности сектора I (в силу первичности принципа сохранения власти) и затем, опираясь на эту власть, удовлетворяет свою внутреннюю потребность — строит некую особую, ни на что не похожую систему (такую, чтобы она казалась вышедшей из недр капитализма в результате революции).

Что касается функционирования сектора II, то мы можем адресовать читателя к учебникам, рассматривающим и подробно описывающим советскую экономику. Заметим лишь, что планирование, которое не имеет возможности опираться на объективные цены, которому неизвестны и не могут быть известны реальные данные

— это не планирование. Оно не достигает целей, которые само перед собой ставит (или делает вид, что ставит) — модернизация, индустриализация, рост производства — и потому периодически на повестку дня вновь выдвигается вопрос о необходимости проведения реформы планирования.

В основном предлагаются (попеременно) два типа реформ. Первый заключается в замене обычных методов Госплана более тонкими, более мощными методами, с привлечением самых современных математических моделей или быстродействующих ЭВМ. «ЭВМ управляет СССР» — этот утопический штамп время от времени появляется вновь как в СССР, так и на Западе. Очевидно, что вычислительные машины будут точно так же снабжаться фальсифицированными данными, как и теперешние конторские счеты, обладающие двойным преимуществом — простотой и, что еще важнее, отсутствием «памяти». Подобные утопии по сути дела сводятся к объяснению недостатков планирования его недостаточностью и предложениям усилить роль планирования путем как его интенсификации, так и расширения масштаба применения. Однако прогресс планирования означает одновременно прогресс его способности дезорганизовывать производство: либо за счет более плотного контроля, парализующего деятельность предприятий, либо же в результате окончательного отрыва планирования от реальности и погружения его в абсолютную фикцию. В конечном счете практика вступает в противоречие с «категорическим императивом» принципа сохранения власти, и эксперимент быстро прекращается.

Второй тип реформ сводится к децентрализации планирования путем предоставления определенной инициативы руководителю предприятия: например, ему разрешается самостоятельно заключать сделки, нанимать и увольнять работников, вводить материальную заинтересованность результатами деятельности предприятия и полученной им прибылью и пр. Этот тип реформы противоположен предыдущему, поскольку он приводит

не к усилению, а к ослаблению роли планирования. Разумеется, подобная реформа предоставляет столь значительные рациональные преимущества, что может (при благоприятной политической ситуации) найти себе сторонников даже среди самих советских руководителей. Вскоре, однако, они осознают, что такая реформа подрывает дух учреждений власти и даже само «законное право на существование» социализма. Следовательно, она вступает в противоречие с принципом построения социализма, постепенно подтачивая также принцип сохранения власти. Именно по этой причине авторы и сторонники реформ второго типа рискуют навлечь на себя гораздо большие неприятности, чем в случае первого типа. Действительно, если первая реформа неосуществима, то ее инициаторы просто опередили свое время, и если она невозможна сейчас, то наверняка будет претворена в жизнь при каком-нибудь «высокоразвитом социализме» или «коммунизме»... Что же касается авторов реформы второго типа, то антисоциалистическая суть их проекта, потрясающего сами основы системы, вскоре оказывается разоблаченной, их происки, объективно ведущие к реставрации капитализма, терпят постыдный провал, а личная карьера этих «горе-экономистов» обычно заканчивается в Гулаге²⁰.

Систематический провал попыток осуществить оба типа реформ свидетельствует о том, что в каждой исторической ситуации существует некоторая оптимальная степень планирования. Этот оптимум относится к общей категории *компромисса*: с одной стороны, нужно, чтобы планирование «организовывало» производство ровно в такой мере, чтобы не разрушить ту материю, которую оно призвано организовывать (то есть быть достаточно примитивным и упрощенным, чтобы позволить уцелеть тем участкам и областям, которые ускользают из-под его влияния), а с другой стороны — оно должно быть достаточно дезорганизующим, чтобы эта материя не

²⁰ См.: А. Д. Сахаров, «О стране и мире», изд-во «ИМКА-Пресс», 1976. Заметим, что Либерману повезло больше, чем злополучному реформатору Худенко.

сумела полностью от него освободиться (то есть чтобы производство не смогло развиваться независимо, благодаря автономным действиям различных экономических единиц).

То, что препятствует саморазрушению сектора II под напором его внутренних противоречий — это промежуточное положение, которое он занимает между сектором I и сектором III.

Представляя собой «тыловую базу» снабжения и обеспечения сектора I, он в определенной мере участвует в рациональности последнего. Как только оказывается принятой определенная военная программа, к ней немедленно приспосабливается общая программа планирования, устанавливая, например, какое количество стали действительно должно быть произведено. Таким образом, дезорганизующая функция плана компенсируется наличием конкретных программ первоочередного характера, которые должны быть осуществлены любой ценой. Все, что не касается этих конкретных программ, может быть отдано в жертву самым безудержным и дорогостоящим фантазиям. Сектор II тянет лямку во имя своей неопределенной (и неопределимой) задачи — построения социализма. Именно поэтому, между прочим, и невозможно в точности очертить его контуры. В задаче построения социализма находят себе и объяснение, и оправдание такие явления, как колоссальное разбазаривание средств и материалов, гигантские и абсолютно бесполезные работы, презрение к элементарным правилам хозяйствования и управления. Никто не контролирует и никто не несет ответственности за исход таких «экспериментов», как освоение целинных земель или строительство Великого Туркменского канала, поскольку все это неизменно делается во имя будущего социализма. Каждый подобный эксперимент представляет собой даже не элемент этого недостижимого социализма, а нечто вроде «моления о дожде» или умилюстительной жертвы, в результате чего социализм в конце концов должен будет возникнуть из ничего перед

глазами отчаявшихся верующих. Если канал засыпают пески пустыни, если целинные земли превращаются в черную пыль, развеиваемую ветром, то это ничего не означает: кто знает, а вдруг мы уже прикоснулись к социализму, вдруг были лишь на волосок от желанной цели — и, значит, попытка того стоила. Девиз сектора II — «необязательно надеяться на успех, чтобы предпринять попытку, и необязательно добиться успеха, чтобы продолжать эти попытки предпринимать». Но когда требуется любой ценой и под страхом самого сурового наказания обеспечить производство столько-то танков и столько-то самолетов — тут сектор II прекращает свою погоню за вечно ускользающей «синей птицей» и вновь возвращается на землю. Компромисс с сектором I является для сектора II спасением. Этот компромисс реализуется на всех уровнях, и детальный его механизм здесь проанализировать довольно трудно — но суть его сводится к взаимодействию конечных целей секторов I и II. Огромный завод, например, можно было бы отнести в рубрику построения чистого социализма — со всей его нерациональностью, нерентабельностью и бесхозяйственностью, которые в конечном счете приводят к обнищанию народа. Но этот завод может характеризоваться также рациональностью, характерной для «производства мощи», если выпускаемая им сталь, каковая бы ни была ее себестоимость и возможная конкурентоспособность на мировом рынке, идет на нужды военной промышленности. Таким образом, этот завод, неспособный внести вклад в строительство социализма, списывается в убыток реального социализма — но, поскольку он укрепляет могущество коммунистической власти, то в то же время он работает на пользу потенциального социализма. С одной стороны, он дезорганизует существующую реальность и разрушает ее бессмысленностью капитальных вложений, разбазариванием средств и человеческого труда и финансовыми убытками (настолько, насколько они поддаются бухгалтерскому учету). Но с другой стороны, тот же

завод опирается на твердый грунт реальности, действительно производя сталь, которая может быть использована для выпуска конкретных машин и орудий, будь то даже орудия разрушения.

Однако советская экономика не исчерпывается взаимодействием сектора I и сектора II. Чтобы тот же завод вообще хоть как-то работал, необходимо, чтобы существовал компромисс иного типа — с сектором III.

Сектор III

Сектор III включает в себя совокупность всех тех благ и услуг, производство которых осуществляется вне сферы социализма. Согласно советской терминологии, он представляет собой «пережиток капитализма» в полном смысле этого слова. В этом секторе товары и услуги производятся частными лицами, которые свободно объединяются между собой, и с целью удовлетворения существующего спроса. Таким образом, он не подчиняется ни принципу сохранения власти, ни принципу построения социализма. Однако большевистское искусство компромисса ухитряется использовать и этот сектор в совершенно чуждых ему целях и заставить служить его, в противоречии с его природой, упомянутым двум принципам.

Фактически сектор III обеспечивает реальности последнее средство уцелеть и играет роль своего рода «спасательного круга», позволяющего пересечь бурные воды строящегося социализма и при этом не погибнуть. Приусадебные участки дают крестьянам возможность не умереть с голоду в своих колхозах, а рабочим — несколько сгладить последствия постоянных перебоев в снабжении продуктами питания. Бесчисленные артели предоставляют услуги и производят товары широкого потребления. Кроме этого, сектор III обеспечивает функционирование двух первых секторов, поскольку те вынуждены к нему прибегать. Именно, сектор III предоставляет рынок, где могут черпать необходимые ре-

сурсы как те, кто отвечает за производство мощи, так и ответственные за планирование. Директор военного завода найдет на этом рынке сырье, запасные части и рабочую силу, которых ему не могут предоставить планирующие органы. Да и сами планирующие органы будут надеяться, что этот рынок в конце концов и обеспечит выполнение плана — или, по крайней мере, такой процент его выполнения, который можно будет без особого страха сообщить начальству.

Социалистическая сфера (секторы I и II) быстро оказалась бы парализованной, сели бы она полностью устранила внесоциалистическую сферу и уничтожила рынок. Она этого не делает и живет в симбиозе с сектором III, как паразит, питающийся плотью своего хозяина, без которого он уже не в состоянии обойтись.

Один из результатов компромисса, заключаемого с сектором III, состоит в том, что последний оказывается разделенным подвижной, но четкой границей, отделяющей деятельность, допускаемую законом, от правонарушения. Таким образом, по условиям этого компромисса части сектора III предоставляется официальное право на существование: приусадебные участки колхозников и рабочих, артели кустарей и т. д. Но все, что находится за пределами этой линии, является нелегальным, и те, кто играет в этой зоне активную экономическую роль, сколь бы полезными и необходимыми они ни были, рассматриваются как правонарушители. Социалистическая сфера позволяет существовать некоторой несоциалистической сфере, но не может признать ее целиком, не отрекшись одновременно от своих собственных принципов и не утратив законное право на существование. Вот почему социалистическое правосудие сурово преследует нелегальную экономическую деятельность (в силу второго принципа), но, поскольку оно также подчиняется закону компромисса (в силу первого принципа), то в результате оно само оказывается зараженным миазмами сектора III — иначе говоря, коррупцией. Таким образом, социализм доводит до крайности

бескорыстие и неподкупность, так как теоретически он не имеет ничего общего с материальными интересами, но при этом — поскольку он должен выжить, чтобы впоследствии победить, — он доводит до предела и саму коррупцию.

Взаимосвязь трех секторов

Невозможно определить место, занимаемое каждым из трех секторов в советской экономике, даже отвлекаясь от принципиальной невозможности установить конкретные цифровые данные. Дело в том, что не существует устойчивого деления советского производства на три соответствующих сектора: это запрещается внутренней логикой системы, которая заставляет их вступать между собой в конкуренцию.

Логика сектора I требует его максимального развития. Производство мощи является первейшим долгом советской власти, пока социализм еще слаб, ибо мощь есть его главный оплот, — но также и тогда, когда социализм уже окреп, ибо тогда мощь становится его естественным средством выражения. Если окинуть взглядом прошлое, то мы увидим, что военная промышленность и другие виды производства мощи всегда были раздуты до крайнего предела, который только еще мог выдержать СССР. Это было так, поскольку этого требовали стратегические планы, поскольку к такому положению был приспособлен аппарат производства и потому что социализм должен был быть всегда готов дать отпор любым проискам империализма. Предельные размеры сектора I определяются тем уровнем, выше которого любое дополнительное усилие приведет к политически опасной ситуации или же к техническому срыву.

Логика сектора II также требует его максимального развития. Действительно, социализм, существующий в потенции, постоянно стремится перейти в социализм, существующий реально, теоретический социализм пытается превратиться в социализм практический. Точно

так же, взгляд в прошлое показывает, что контроль производства и планирование были всегда доведены в СССР до того предела, который он еще мог выдержать. Временные отступления (например, в 1921 или 1933 гг.) всякий раз означали, что контроль стал настолько всеобъемлющим, что это грозит политической опасностью или технической катастрофой.

Однако стремление к максимальному развитию секторов I и II парадоксальным образом приводит к максимальному развитию сектора III, от которого первые два полностью зависят. Чем больше социализма имеется в СССР, тем больше требуется «капитализма», чтобы обеспечить его функционирование (или видимость функционирования). Ленин заметил, что едва лишь восторжествовал социализм, как «капитализм» уже повсюду чувствовал себя полноправным хозяином. С тех пор прошло шестьдесят пять лет — и в этом симбиозе ничего не изменилось. Социализм от этого не страдает, ибо ленинское искусство компромисса состоит в том, чтобы поставить капитализм себе на службу и заставить его работать на укрепление могущества и построение социализма. Таким образом, формулу можно обратить: чем больше существует капитализма, тем больше и социализма. Тем не менее, развитие сектора III также характеризуется некоторым пределом: это тот момент, за которым уже нет социалистической власти, и где решения уже принимаются теми, кто обладает деньгами и средствами производства, то есть «капиталистами». На протяжении всей истории СССР до этого всегда было довольно далеко.

Естественные «империалистические» наклонности каждого сектора приводят к тому, что между ними постоянно существуют конфликты и заключаются временные союзы.

Сама по себе принадлежность к одной и той же — социалистической — сфере не предохраняет от возникновения конфликтов между секторами I и II. Действительно, так как сектор I подчиняется требованиям

определенной рациональности производства, то в своем функционировании он постоянно наталкивается на неспособность сектора II предоставить ему те товары и услуги, которые он требует. Внутренние задержки и прорывы сектора II не имеют значения (кроме, быть может уголовной ответственности для виновных), поскольку они ни задерживают, ни ускоряют приход «социализма». Но когда подобные неурядицы непосредственно затрагивают сектор I, когда самолетостроение не получает достаточного количества алюминия, когда электронное оборудование оказывается бракованным — вот тогда в полной мере обнаруживаются все дефекты и недочеты планового управления социалистической экономикой.

Руководители сектора I, входящие в число руководителей СССР, могут адресовать руководителям сектора II (которые являются их коллегами в высших партийных инстанциях) лишь единственный упрек: что они плохо используют возможности, предоставляемые им социализмом. Иной вид публичной критики просто невозможен. Этот упрек, пройдя сверху донизу по всем этажам административной иерархии, приведет к очередному «закручиванию гаек» в секторе II, делая его еще более планируемым и еще более социалистическим. Тем не менее, в самой среде руководителей иногда может проявляться и иная реакция. С точки зрения сектора I требования конкретного производства являются более приоритетными, чем абстрактная задача построения социализма. В этом случае на первый план выдвигаются чисто технические аспекты. Подобные руководители склонны верить, что возможно ввести в экономику больше «техники», то есть экономической рациональности, не принеся при этом вреда социализму, а может быть, даже и улучшив его. Другими словами, они склонны выдвигать на первый план принцип укрепления мощи в ущерб принципу построения социализма. В совокупности они составляют тот слой, который на Западе принято называть «технократами». В этом споре

высшим арбитром и конечной инстанцией, выбирающей наиболее подходящую степень компромисса, является партия.

Однако в то же время сектор I вынужден опираться на сектор III. Его руководители знают, что выполнение стоящих перед ними задач в конечном счете зависит от «созидательной способности» сектора III. Поэтому они предпочитают, чтобы он не был раздавлен социализмом сектора II до такой степени, что уже не сумел бы играть свою роль штурмана управления и резервуара, откуда можно в случае крайней необходимости черпать необходимые ресурсы. Именно такая позиция руководителей сектора I, которым доверена вся мощь советской системы и вручен «карающий меч» для защиты ее от внутренних и внешних врагов, и позволяет им сходить за «либералов» в глазах западных наблюдателей. Частично этим обусловлена определенная популярность армии и тайной полиции в глазах простых граждан. Народ чувствует, что эти организации опекают его — в том смысле, что не оставляют полностью на произвол неопределенной социалистической абстракции, угроза которой висит над людьми постоянно. В пределах сектора I народ пользуется привилегиями, предоставляемыми конкретным и ограниченным деспотизмом.

Со своей стороны, сектор II стремится расширяться за счет двух остальных. При случае и он черпает недостающее из резервуара сектора III, но состоит с ним в гораздо более враждебных отношениях, чем сектор I. Именно поэтому он и не ослабляет ни на минуту своей социалистической бдительности и не прекращает репрессий.

Каким образом осуществляется циркуляция товаров и услуг между тремя секторами? В этой области советская система также проявляет оригинальность. Когда в конце концов вновь были полностью восстановлены деньги и бухгалтерский учет, могло показаться, что процесс обмена в этой системе, как и во всех современных разновидностях экономики, осуществляется с по-

мощью купли-продажи. Однако, это не так. Денежные операции существуют в полном смысле этого слова, со всеми соответствующими функциями, лишь там, где имеет место спонтанное, рыночное ценообразование — то есть в секторе III. В двух других секторах цены фиксируются решением планирующих органов. При этом *стоимость* — в том смысле, как ее понимал Маркс, — не имеет никакого значения для установления цены. Между ценой и стоимостью не существует определенно-го соотношения — и поскольку данная операция не поддается расчетам, то становится невозможным рассчитать и цены. Поэтому в процесс ценообразования входит некая произвольная величина — и эта величина имеет чисто политический характер. Цены фиксируются на уровне, превосходящем или не достигающим того, которого они бы достигли, если бы формировались в условиях рынка — исходя из политических соображений. Так, они могут служить целям определенной экономической политики (поощрять капитальное строительство, способствовать производству или потреблению какого-то продукта или поощрять какую-то категорию населения), или же являться выражением определенного соотношения сил. Например, резкое снижение закупочных цен на сельскохозяйственные продукты служило подавлению крестьянства, лишению его политической силы — но в то же время поощряло промышленные капиталовложения и ставило в более благоприятные условия городских жителей.

Таким образом, в секторах I и II цены являются не столько экономическим показателем, характеризующим коммерческие операции, сколько способом зафиксировать на бумаге следы этих операций. Бухгалтерский учет регистрирует совершившиеся факты, ведет реестр «затраты — выход» данного предприятия или отрасли. но отнюдь не опирается на такую точку отсчета, какой могла бы быть объективная цена.

Поэтому бы неудобно и неправильно обозначать всю совокупность операций товарно-денежного обмена в со-

ветской экономике с помощью понятия *купли-продажи*. Его следует сохранить за сектором III. Вне его подобная операция будет носить иное название: *изъятие*. Даже если процесс изъятия описывается в денежных терминах, по своей природе он выражает волю одной стороны, участвующей в этой экономической операции — и в той степени, в какой эта воля является волей политической, сопровождаемой наличием определенной власти или возможности эту волю воплотить в жизнь. Отметим, что в локальном масштабе существуют изъятия двух типов. Одни из них производятся легальными учреждениями и должным образом отражаются в бухгалтерском учете. Вторые — нелегалы и не оставляют следов в бухгалтерии. Я предлагаю сохранить за первыми название изъятия, а вторые обозначать с помощью древнего, но по-прежнему актуального понятия — *хищение*.

В отношениях между сектором I и II доминирует изъятие. Чтобы достичь поставленных задач, обладающих наивысшим приоритетом, политические власти принимают решение изъять из сектора II недостающие ресурсы и направить их на укрепление сектора I. Как мы знаем, после войны Берия создал специальную и полностью автономную отрасль советской экономики, обладающую правом производить любые изъятия, с единственной и первоочередной целью — обеспечить СССР атомным оружием. Зная, насколько развитой технологии требует создание этого оружия, и сопоставляя это с чрезвычайно низким общим уровнем промышленного развития СССР в первые послевоенные годы, можно себе представить весь количественный и качественный размах подобного изъятия. Также к операции изъятия относится и то, что при случае сектор II может заполучить из сектора I, и прежде всего — удавшиеся попытки уменьшить относительную долю сектора III. В рубрику изъятия попадают любое распущенное или закрытое властями предприятие в секторе III, любой спекулянт, направляемый в лагерь после конфискации его имущества.

Отношения между сектором III и двумя прочими секторами управляются операциями купли-продажи, а также хищения.

Секторы I и II обеспечивают себя необходимыми им товарами и услугами на рынке сектора III с помощью купли. Они приобретают эти товары и услуги в соответствии с их стоимостью, по существующей в данный момент цене. Когда какому-то экономическому руководителю срочно требуется найти одну деталь, чтобы пустить в ход целую машину, или более качественную сталь, чем та, которой его обеспечивает система планируемого снабжения, он обращается к представителю сектора III, который и продаст ему нужный товар по установленной между ними цене. Таким представителем может быть кладовщик, местная «крупная шишка», доверенное лицо тех мафий, которые орудуют на всей территории СССР и в особенности в союзных республиках. Не исключено, что проданный товар окажется произведенным в легальной области сектора III; в этом случае мы будем иметь дело с самым что ни на есть законным контрактом купли-продажи. Так, например, обстоит дело, когда некоторые предприятия покупают с целью материального поощрения своих работников сельскохозяйственные продукты на колхозном рынке. Однако, чаще всего рассматриваемый товар производится в секторе I или II и попадает в сферу действия сектора III путем хищения. Таким образом, социалистическая сфера как целое испытывает постоянную утечку изделий (и рабочей силы) в пользу сектора III. Существует определенное макроэкономическое динамическое равновесие между *паразитизмом* социалистической сферы, развивающейся за счет сферы несоциалистической с помощью методов политического принуждения, которыми она располагает, и *хищением*, практикуемым на всех уровнях индивидуальными экономическими деятелями сектора III, которое позволяет этому сектору не только уцелеть, но и развиваться. Это равновесие — реальное, но неустойчивое, шаткое, непризнанное —

подвержено самым различным трениям и конфликтам. Свидетелями этих трений могут служить миллионы обитателей ГУЛага.

Индивидуальное потребление

В социалистической системе потребление не подчинено воле частного лица, которое само решает, что и как приобретать или потреблять, исходя из тех возможностей, которые ему предоставляет рынок. При социализме структура потребления определяется политическими органами власти еще до того, как начался процесс производства. Эти же самые органы определяют и потребности граждан в зависимости от того, что от них ожидается. Выражаясь образно, они решают, какое количество масла следует предоставить населению, чтобы оно было способно произвести определенное количество пушек. Опыт показывает, что нужное количество пушек может быть произведено и в том случае, когда масла явно не хватает (даже по сравнению с предусмотренным количеством), ибо в известных пределах принуждение довольно эффективно заменяет материальную заинтересованность. В результате структура потребления обладает значительно большей гибкостью, чем в других типах экономики, поскольку предложение может без особых неудобств меняться в гораздо более широких пределах, а спрос влияет на предложение довольно слабо, так как не существует никакой связи между потребностями среднего потребителя и соответствующими «потребностями», установленными планирующими органами.

Другой характерной чертой социалистического потребления является то, что оно предусматривает не только минимальный, но и максимальный уровень.

Никому никогда не удалось определить верхний предел спонтанно возникающих потребностей человека. Как древние, так и современные моралисты отмечали, что человек, если только он не обладает какими-то

особыми добродетелями, не может довольствоваться тем, что римляне называли *aurea mediocritas**. Значительная часть классических утопий, от Платона до Фенелона, предлагала различные способы умерить ненасытный человеческий аппетит — с помощью убеждения, воспитания или принуждения. Однако никто из классиков экономики никогда не установил никакой верхней границы потребления, помимо той, которая определяется естественным условием — редкостью какого-либо товара или услуги.

Сталин признает, что социализм должен заключаться в «обеспечении максимального удовлетворения постоянно растущих материальных и духовных потребностей» населения. Однако железное правило, справедливое в сфере производства, остается верным и в сфере потребления: законным правом на существование обладает лишь то, что происходит в рамках социализма, лишь то, что порождается социализмом. «Правильное» потребление должно соответствовать количественным и качественным директивам плана. Социалистическое воспитание заключается также в том, чтобы люди приобрели социалистические привычки в потреблении, социалистическую строгость и дисциплину в выборе желательных благ и способа доступа к этим благам.

Определенный таким образом верхний предел является пределом теоретическим и достигается крайне редко. Внутренние законы развития системы производства приводят к тому, что доля продукции, предназначенная на потребление, сокращается и удерживается где-то вблизи минимального предела или даже ниже его. Максимальный предел достигается лишь в исключительных случаях. В принципе он должен увеличиваться вместе с процессом неуклонного роста, характерного для всей социалистической экономики. Поэтому цифры потребления возрастали от пятилетки к пятилетке даже тогда, когда реальное потребление падало — как это было между 1929 и 1956 годами и, возможно,

*) Золотая середина (лат.).

вновь имеет место после 1973 года. Однако существует некоторый верхний предел потребления, который можно назвать абсолютным. Дело в том, что опыт показал, что изобилие товаров, разнообразие выбора, незатрудненность доступа к ним расширяли сферу автономии индивидуума, даже если эти товары были произведены в социалистической сфере. Собственность, или даже простое обладание какой-либо вещью, окружает простого гражданина своего рода защитной оболочкой, тем более плотной, чем более многочисленны, изобильны и разнообразны те блага, которыми он обладает. Советское государство вовсе не намерено ни позволять этой оболочке укрепляться, ни разрешать своим подданным окружать себя защитной прослойкой денег, сбережений или съестных припасов. Отдельный домик, окруженный зеленой лужайкой, с кладовой, наполненной разнообразной снедью, с низкотемпературным домашним холодильником для хранения замороженных продуктов, с одним или двумя автомобилями, расположенный неподалеку от торгового центра — это отнюдь не советский пейзаж и быть им не может.

Чтобы заняться социалистическим воспитанием своего подданного, государство должно лишить его защитных оболочек. Только таким образом можно применить к нему то, что вслед за Лениным обычно называют *контролем*. Политический контроль обеспечивается вездесущностью партии и ее органов, социальный контроль — советским образом жизни, образованием, культурой, наблюдением за речью и высказываниями. Контроль экономический обеспечивается состоянием хронического дефицита. Нужно, чтобы гражданин постоянно испытывал постоянную зависимость от внешних обстоятельств, чтобы он ощущал эту зависимость изо дня в день. В коммунальной квартире он постоянно зависит от соседей — благодаря общей кухне и прочим «местам общественного пользования». Над тем, чтобы сделать семейную жизнь достоянием коллектива, много и плодотворно потрудились советская архитектура. Однако по-

истине великим инструментом экономического контроля является очередь. Очередь — это феномен, представляющий собой акт не политического, а чисто экономического принуждения; в сфере же экономической — это явление *par excellence** советское. Очередь — это эквивалент того, чем в других экономических системах являются разнообразный выбор продуктов и ценообразование, торг с продавцом и «поход по магазинам» с полной уверенностью, что ты сможешь купить все, что надо. Стояние в очередях отнимает у гражданина несколько часов в день и навязывает ему совершенно особый тип социального общения.

Необходимость существования верхнего предела потребления объясняет также и тот факт, что в то время, как планирование предусматривает значительный рост жизненного уровня, то же самое планирование предпринимает меры, направленные на понижение этого уровня. Например, в централизованном порядке упраздняются частная торговля и ремесленничество, чтобы помешать потребителю хоть как-то влиять на количество и качество потребляемых им продуктов, помешать ему покупать что-либо непосредственно, из рук в руки, и таким образом стать, хотя бы в минимальных масштабах, активной и независимой экономической единицей.

Организация постоянного дефицита представляет собой особый раздел в применении принципа дезорганизации или разрушения, внутренне присущего процессу построения социализма. Это состояние постоянного дефицита необязательно приводит лишь к негативным эффектам. Разумеется, нельзя ожидать, что очередь будет воспитывать в людях чувство любви и преданности к организовавшему все это государство. Однако, когда человек в очереди достигает, наконец, заветного прилавка и протягивает руку за долгожданным куском мяса, сорочкой или газетным кульком с мороженой кар-

* По преимуществу; в высшей степени; в истинном смысле слова, подлинно (франц.).

тошкой — он рассматривает это как награду, как подарок, который ему делает государство. Поскольку существует лишь весьма условное соотношение между количеством труда и заработной платой, поскольку сами по себе деньги значат меньше, чем удача или терпение, необходимые для приобретения нужного товара — то последний и предстает в конце концов как бескорыстный дар и щедрое подавание государства своему подданному. «Ты получаешь это от меня, — как будто втолковывает государство, — и это мне ты должен быть благодарен и за эту рубашку, и за эту картошку» Дефицит в сочетании с государственной монополией в конечном счете приводит к тому, что все существующее начинает рассматриваться как благодеяние государства и как повод для признательности его подданных. Само существование памятников и монументов старого режима, поскольку они не были разрушены советской властью, вменяется ей в заслугу и свидетельствует о трогательной заботливости. Даже хорошей погодой, как замечает Зиновьев, мы обязаны нашему правительству. Потребитель приучается к зависимости как в том случае, когда у него ничего нет, так и в том, когда ему что-то достается: в обоих случаях он целиком и полностью зависит от государства.

В сфере индивидуального потребления также можно различить три сектора, что не означает, что они соответствуют трем секторам производства. Связь между ними обусловлена тем, что все они входят в общую структуру советской экономики с ее делением на социалистическую сферу (направленную на укрепление государственной мощи и/или на построение социализма) и на сферу внесоциалистическую.

Сектор А

Сектор А сферы потребления предназначен, в интересах политического могущества системы, для тех, кто обладает властью. Этот сектор возник одновременно с

возникновением самой советской системы. С 1918 года уже было ясно, что жизненные условия членов партии должны отличаться от соответствующих условий, характерных для остального населения. В противном случае могла быть полностью разрушена железная дисциплина, лежащая в основе ленинской концепции партии нового типа и превращающая эту партию в обособленную и сплоченную группу. Члены партии получили право на *двойной паек* или *специальный паек*, а впоследствии эта мера принималась на вооружение всеми коммунистическими партиями, как только они приходили к власти. Две буханки хлеба вместо одной — это производило чудодейственный эффект на боевой дух партии. С тех пор двойной паек развился в сложную систему закрытых распределителей, денежных пособий, нигде не регистрируемых конвертов с кругленькими суммами, разнообразных привилегий, права на внеочередное приобретение дефицитных материальных благ, спецзаказов, облегченного доступа к товарам, предлагающимся на черном рынке и т. д. Чтобы получить право доступа в сектор А, недостаточно быть членом партии, ибо партия столь же иерархична и стратифицирована, как и сама структура власти. Однако основным принцип весьма прост: те, у кого больше власти, больше и потребляют.

Существование сектора А приводит к тенденции (но лишь к тенденции!) наделения партии и всех тех, кого она допускает к власти (номенклатурных работников, военных, сотрудников органов госбезопасности, народных и заслуженных артистов, спортивных чемпионов, церковных иерархов и т. п.), статусом некой привилегированной касты. Предоставляемые привилегии не ограничиваются материальными благами: к ним относится доступ к поликлиникам и больницам с более современным оборудованием и квалифицированными специалистами, к более комфортабельным домам отдыха и санаториям, а для детей — возможность учиться в специальных школах и закрытых институтах. Сюда же

относятся и менее распространенные способы вознаграждения, как поездки за границу, доступ к запрещенной литературе, к порнографии, и даже определенная свобода в высказываниях и поведении, недоступная простым смертным. Тот, например, кто занимает ответственный пост в идеологическом аппарате власти, может себе позволить выказывать даже некоторое пренебрежение к идеологии и проявлять признаки свободомыслия — тем более сходящие ему с рук, чем более важную роль он фактически играет в этом аппарате.

Совместимо ли существование сектора А с социализмом? Действительно, может показаться, что предоставление привилегий связывает существующий режим с частными интересами правящей группы, тогда как он должен опираться на идеологическую базу и преданность абстрактным идеалам социализма. Можно еще согласиться с допустимостью «двойного пайка» в период нищеты и разрухи, когда это позволяет наиболее ценным партийцам поддерживать свое, столь необходимое делу партии, здоровье. Но можно ли оправдать таким образом бесчисленные привилегии правящей касты? В конечном счете такая каста превращается в отдельную, особую расу, представители которой обладают явным физическим и интеллектуальным превосходством над всей массой остального населения (что компенсируется, правда, столь же явно заметной моральной порочностью). Сектор А сферы потребления охватывает от 1 до 4% всего населения: этого достаточно, чтобы режим обладал определенной социальной, а не только идеологической, базой. В конечном счете такая ситуация привела бы к постепенному превращению советского режима в типичную олигархию, напоминающую колониальное или рабовладельческое общество, часто встречающееся в мировой истории, с резкой, почти биологической границей между привилегированной кастой и всем остальным населением.

Несомненно, сектор А стремится к максимальному развитию — но при этом он наталкивается на конкрет-

ный политический предел. Этот сектор, созданный с целью стабилизации концентрации власти вокруг партии, не имеет права выходить из своей роли — иначе партия оказалась бы в результате в такой классовой ситуации, когда она была бы уже неспособна строить социализм. Роль сектора А сферы потребления определяется компромиссом между двумя фундаментальными принципами системы — тем же самым компромиссом, который определяет место сектора I в сфере производства. В обоих случаях речь идет о некотором «временном» средстве сохранения власти, что необходимо для будущего построения социализма.

Именно поэтому партия не может откровенно признать существование сектора А. Распределение привилегий осуществляется без лишнего шума, а иногда даже тайно. Специальные распределители прячутся за плотными портьерами, конверты с деньгами переходят из рук в руки, привилегии в области медицинского обслуживания и образования определяются местом в государственном аппарате, а не социальным положением. По сравнению с виргинскими или бразильскими плантаторами, с правящей кастой маньчжуров в Китае или британскими колонизаторами в Индии, положение советских слуг народа более шатко и неустойчиво. По сути дела, предоставляемые «привилегии» есть не что иное, как определенные преимущества, которых можно всегда лишиться.

Другой причиной, обуславливающей терпимое отношение идеологии к существованию сектора А, является то, что оно препятствует партии включаться в сферу общих интересов населения. Нельзя допустить, чтобы обладатель власти начал торговать своим влиянием. «Полагающаяся» ему доля общественного богатства, изымаемая у общества, взимается не им лично, а государством. После этого государство предлагает ему соответствующее вознаграждение, имеющее целью наглядно «убедить» его в выгодности именно такого положения и предотвратить поборы, взимаемые им с насе-

ления по собственной инициативе и в рамках частной сделки.

Таким образом, термин «новый класс» так же неточен, как и «государственный капитализм». Партия не является новым классом, поскольку это предполагало бы, что она образует вместе с остальной частью населения некое единое для всех общество. Однако, природа советского режима это исключает, и сектор А предназначен для того, чтобы обеспечить партии обособленное существование. Партия присутствует во всех слоях советского общества, во всех его «классах» (или, вернее, том, что от классов осталось), но сама по себе класса не составляет. Она сохраняет свой характер религиозной секты или рыцарского ордена, которым ее наделил Ленин, и в еще более четкой форме — Сталин (который даже сравнил ее с орденом Меченосцев в языческой Лифляндии тринадцатого века). Если она и вырождается, то на манер секты или такого ордена.

Итак, мы видим, что проблема максимального и минимального уровня потребления ставится в каждом секторе по-разному. В секторе А нижняя граница определяется той минимальной степенью количественной и качественной дифференциации, которую следует сохранить для поддержания различий между партийными руководителями и массами населения. Верхняя граница определяется тем пределом, за которым члены партии освободились бы от идеалов социализма — либо трансформировавшись в замкнутую наследственную касту, чьи права гарантируются законом, либо же превратившись в класс, один среди прочих, в объединенном обществе (даже если бы этот класс и располагал львиной долей всего общественного богатства и привилегий). Допускаемый советским режимом компромисс находится, следовательно, между этими двумя границами. Однако природа сектора А такова, что постоянно наблюдается тенденция к выходу за пределы верхней границы, в сторону касты или класса. Стоящая перед высшими партийными инстанциями задача состоит в

том, чтобы воспрепятствовать подобному сползанию и сохранить в своем распоряжении средства, позволяющие в любой момент вновь взять ситуацию в свои руки. Для этих целей партия располагает аппаратом подавления и властью, позволяющей ей смещать или наказывать виновных в коррупции, и периодически проводить чистку партии. Однако, гораздо легче просто время от времени повышать верхнюю границу еще на одну-две ступени, чтобы избежать подобных тенденций и предохранить среднего коммуниста от контакта с внешним миром. Таким образом, предоставляемые сектором А преимущества и вознаграждения должны постоянно расширяться и возрастать, что представляет для советского режима источник опасности и постоянных затруднений.

Сектор В

Сектор В включает в себя систему распределения материальных благ и услуг, функционирующую в рамках режима социалистической экономики. Для потребителей этот сектор олицетворяет собой социализм в действии и представляет собой результат уже достигнутого социализма и педагогики будущего социализма. Ежегодно планом определяется доля национального дохода, предназначенная на потребление, уровень заработной платы, размеры дополнительного вознаграждения натурой. В определенном смысле сектор В охватывает сектор А, за исключением тех сторон последнего, которые скрыты от постороннего взгляда. Однако механизм его функционирования иной.

Если в секторе А на первый план выдвигается проблема верхней границы потребления, то в секторе В — нижней границы. Разумеется, существует некоторый минимальный предел уровня потребления, ниже которого возникает опасность политического кризиса. Нельзя допускать, чтобы нищета населения достигала такой степени, когда отчаяние может вылиться в бурный протест против советского режима. Ленинская партия, при-

шедшая к власти в результате того, что временные продовольственные трудности вызвали бунт жителей Москвы и Петрограда, всегда старалось обеспечить в первую очередь снабжение именно этих городов. Можно сказать, что в секторе В действует общее правило: минимальным уровнем потребления, ниже которого нельзя спускаться ни при каком условии, является минимальное снабжение городского населения. Можно еще допустить, чтобы с голода умирало сельское население: крестьяне менее опасны, и их бунты можно подавить сравнительно легко и без огласки. Ситуация в городах, и особенно крупных, чревата гораздо более серьезными последствиями — и поэтому нижняя допустимая граница потребления меняется для различных областей и населенных пунктов в зависимости от степени потенциальной политической уязвимости.

Минимальный уровень потребления в масштабах всей страны определяется другим фактором: население не просто не должно голодать — оно должно быть способно выполнять поставленные перед ним задачи, и особенно в том, что касается производства мощи. Нельзя добиться удовлетворительной производительности труда, если рабочие в массе своей истощены, поражены алкоголизмом или технически неграмотны. Такая рабочая сила не может соответствовать требованиям современной военной промышленности. Таким образом, из социалистического принципа сохранения власти вытекает необходимость накормить население, обеспечить ему минимально сносные жилищные условия и дать образование.

Несмотря на это, сектору В стоит огромных усилий удержаться в течение более или менее длительного времени выше минимальной границы — но зато он, ко всеобщему неудовольствию, с поразительной легкостью соскальзывает ниже ее. Попытки стабилизации постоянно подрываются дефицитом производства и беспорядочностью распределения, с одной стороны, и динамикой потребления в двух других секторах — с другой.

Капиталовложения в производство (будь то в целях

строительства социализма или укрепления аппарата мощи) всегда неблагоприятно отражаются на сфере потребления. Выражаясь советским языком, производство средств производства (то есть тяжелая промышленность) всегда пользуется приоритетом по сравнению с производством предметов потребления (т.е. легкой промышленностью). Любой план в конечном итоге никогда не выполняется, поскольку он невыполним; однако в первую очередь будет выполняться тот, который затрагивает приоритеты, определяемые правительством. Легкая промышленность всегда оказывается в положении «бедной родственницы», поскольку невыполнение плана в тяжелой промышленности может повлечь за собой серьезные последствия для виновных, тогда как самое вопиющее невыполнение плана производства предметов потребления связано с куда более легким наказанием. Короче говоря, плановые показатели развития этого сектора всегда будут сравнительно низкими, а фактическое выполнение — еще ниже.

Сельскохозяйственные продукты, предназначенные для сектора В сферы потребления, поступают в сектор II сферы производства, а этот сектор, как мы уже говорили, является наименее развитым. Очевидно, что официальный урожай, собранный в колхозах и совхозах, не может обеспечить изобилия на прилавках и в витринах советских магазинов. Кроме того, механизмы распределения в этом секторе подчиняются логике социализма. В воображении советских граждан эта логика ассоциируется с зерном, гниющим под открытым небом, с вереницами грузовиков с овощами, сутками ожидающих своей очереди перед переполненными приемными пунктами и овощехранилищами, с гигантскими переборами в снабжении потребительскими товарами первой необходимости. Внезапно магазины могут оказаться заваленными мужскими ботинками 44-го размера, заменяющими собой все остальные виды обуви, пиджаками без брюк, брюками без пиджаков и так далее. Затем, столь же внезапно, из продажи исчезнут нитки, гвозди,

маргарин — а затем и мужские ботинки, брюки и пиджаки. В результате система *планируемого* потребления сектора В оказывается той, где полноправно царит абсолютная *случайность*. Вещественным символом планирования в СССР становится *авоська*, то есть хозяйственная сетка, которую каждый советский человек носит с собой в кармане «на авось» — иначе говоря, на тот случай, когда удача или провидение позаботятся о том, чтобы на его пути оказался магазин, куда случайно что-то «выбросили».

Наконец, сектор В испытывает двойную утечку своих и без того скудных ресурсов. Во-первых, то же самое соотношение сил между партией и остальной частью населения, которое приводит к абсолютному сокращению объема этого сектора, приводит также к постоянному изъятию из него ресурсов и товаров в пользу сектора А. Сложные политические цели, ради которых существует сектор А, оказались бы не достигнутыми, если бы снабжение закрытых распределителей не было бесперебойным. Поэтому сектор В призван в первую очередь обеспечивать снабжение закрытой системы распределения сектора А, не особенно заботясь о том, что полки его собственных магазинов могут не только не свидетельствовать об изобилии, но и попросту пустовать.

Во-вторых, не менее ощутимая утечка происходит из сектора В в сектор С; этот процесс осуществляется с помощью хищения и всеобъемлющей коррупции.

Сектор С

Сектор С включает в себя всю совокупность материальных благ и услуг, предлагающихся индивидуальным потребителям вне сферы непосредственного контроля государства, вне планирования, вне «социализма». Эти товары и услуги могут иметь различные источники: так, например, сектор III сферы производства поставляет сюда сельскохозяйственные продукты и кустарные изделия, что может осуществляться как законным обра-

зом (колхозный рынок, состоящие на государственном учете артели), так и незаконным. Остальное поступает из секторов I и II, причем всегда в обход закона. Сектор С распределяет продукты и изделия, которые не имеют права распределять ни сектор А, ни сектор В. В СССР можно купить все что угодно, если только предложить сходную цену. Некоторые вещи, которые не являются предметом торговли на Западе; в СССР могут быть приобретены за деньги: сюда относятся, например, сложные медицинские операции, аттестаты зрелости или университетские дипломы. За деньги можно приобрести право на некоторые поблажки: так, наличие вездесущей цензуры компенсируется «черным рынком» запрещенной литературы и «самиздатом». Суровость законов и репрессий со стороны карательных органов смягчается коррупцией чиновников и сотрудников милиции.

Сектор С подчиняется законам рынка. Однако здесь речь идет о «черном рынке», со всеми присущими ему аномалиями. Поскольку заключаемые сделки являются «подпольными», это препятствует свободному ценообразованию, и цены меняются в зависимости от места, времени или личности продавца и покупателя. Получаемые прибыли трудно укрыть и чрезвычайно сложно использовать для вторичного помещения капитала или с целью накопления. Вступающие в коммерческие операции постоянно рискуют стать жертвой шантажа и оказаться вынужденными нести дополнительные расходы, не имеющие никакого экономического оправдания (за исключением разве что тех случаев, когда существует определенная цена за «покровительство» какого-нибудь местного представителя власти). Включение в цены «надбавки за риск» приводит к их раздуванию. Короче говоря, этот рынок напоминает те наши подпольные рынки (притоны, торговля «живым товаром», игорные дома), за которыми у нас на Западе призвана следить полиция нравов.

Доступ в сектор С также открыт не для всех. Основная масса населения, снабжаемая обычно через сектор В, прибегает к услугам сектора С, чтобы обеспечить себя тем, что ей не может предоставить планируемая сфера потребления. Однако количество подобных потенциальных потребителей сектора С ограничено низким уровнем их доходов. Поэтому вначале они вынуждены продать то, чем они обладают, и в первую очередь — свою рабочую силу. Дополнительные «левые» заработки принимают в СССР широчайшие масштабы, что соответствует расширению «черного рынка». У этого рода потребителей есть еще и другая возможность: реализовать на рынке сектора С товары и продукты, украденные ими на своих предприятиях — либо с помощью продажи, либо путем обмена на другие товары.

Те, кто обладают властью и, следовательно, имеют право пользоваться услугами сектора А, обладают также облегченным доступом к сектору С, где они могут приобрести то, чего свой сектор им обеспечить не может. В первую очередь это объясняется тем, что они располагают значительно большими материальными средствами, обеспечиваемыми их официальными и полуофициальными доходами. Вторая причина заключается в том, что они продают товар, имеющий в условиях «черного рынка» чрезвычайно высокую ценность — покровительство власть имущих. Именно последние, в обмен на материальные блага и услуги, предоставляют активным экономическим деятелям сектора С тот минимум легальности или, вернее, либерального к ним отношения, которое тем необходимо как воздух. Закрывая глаза на нарушения закона, они приобретают определенную популярность. Для представителей сектора С (а в секторе С в тот или иной момент появляются практически все) «либералами» являются те судьи, работники милиции или секретари обкома и райкома, с которыми «можно договориться».

Проблема верхней и нижней границы уровня потреб-

ления в секторе С не возникает. Действительно, здесь предложение автоматически приспособляется к спросу, и любой товар немедленно предоставляется в распоряжение того, кто в состоянии его купить. Проблемой сектора С является относительный объем, которым он должен обладать по сравнению с двумя другими секторами. И здесь допустимые пределы определяются политическими соображениями. Ниже определенного порогового размера сектор С оказался бы неспособным компенсировать все недостатки и огрехи сектора В. Состояние дефицита, которое является необходимым и даже полезным для режима (из «педагогических» соображений), пока оно остается хроническим и хотя бы в минимальной степени терпимым, приняло бы острые, чреватые политической опасностью формы. Кроме того, сектор С не смог бы более предоставлять дополнительные товары и услуги, которые имеют право требовать для себя те, кто обладают властью и богатством. Это также было бы опасно. Но, с другой стороны, сектор С не может и вырасти до таких размеров, чтобы заменить собой два другие сектора. В результате он поглотил бы и растворил политическое могущество партии и ослабил узлы контроля, сковывающие ее подданных. Таким образом, в игру вновь вступает «большевистское искусство компромисса». Результаты подобного оптимального компромисса наблюдаются, например, на протяжении последних сорока лет, на примере *приусадебных участков*. По оценкам, занимаемая ими общая площадь составляет около 1% всей обрабатываемой земли, но их продукция обеспечивает треть всего продовольственного потребления страны! Перед нами вопиющее исключение из всех социалистических правил. Этот пример свидетельствует также о доведенной до предела неэкономичности, ибо время, которое крестьянин проводит на своем участке, орудуя обыкновенной лопатой, фактически отнимается от того времени, которое он мог бы посвятить работе в колхозе, оснащенном недостаточно используемой, а зачастую и вообще уже не используе-

мой сельскохозяйственной техникой. Однако запрет приусадебных участков привел бы к искусственно созданному голоду невероятных масштабов, который сам по себе мог бы оказаться даже приемлемым для власти, но является абсолютно недопустимым, если учесть неминуемый его результат — падение производства мощи. Поэтому приходится мириться и с приусадебными участками. В настоящий момент, когда главнейшей и первоочередной задачей является производство мощи, советское правительство считает более выгодным решать проблемы потребления с помощью допускаемых им приусадебных участков, чем с помощью гигантских и бесполезных капиталовложений в колхозы и совхозы. Некоторые одобрительно отзываются в связи с этим о «либерализме» Брежнева. Однако на самом деле речь идет о временном и всегда могущем быть пересмотренном компромиссе в рамках теперешней политики укрепления и накопления мощи. Это отнюдь не означает, что в будущем советская власть не захочет запретить приусадебные участки — когда, например, накопленная мощь позволит ей более прямо и непосредственно посвятить себя задаче построения социализма.

Внутренняя противоречивость системы и ее пределы

Каждый советский гражданин, за редким исключением, не принадлежит к одному-единственному сектору производства и не обеспечивает себя необходимыми товарами и продуктами только в одном секторе потребления. Возьмем, например, колхозника. Колхоз представляет собой целостную хозяйственную единицу, где все эти различные секторы сосуществуют, конкурируют друг с другом и вступают между собой в конфликты. В той степени, в какой производство является реальным, оно вносит свой вклад в мощь СССР, в той степени, в какой оно относится к социалистическому сектору — в строительство социализма, а в той степени, в которой

оно свободно — служит источником для различных изъятий в пользу системы мощи и системы социалистического производства и потребления. При этом оно еще обеспечивает существование самого колхозника. Последний обязан отдавать колхозной эксплуатации львиную долю своего рабочего времени, за что он получает денежное вознаграждение (до 1965 года — вознаграждение натурой). Однако все свое свободное время (а также то, когда ему удастся увильнуть от работы в колхозе) он любовно отдает своему приусадебному участку, ибо тот его главным образом и кормит. Колхозник может купить некоторые продукты (в основном водку) в сельпо, но с теми скромными суммами, которые он сумеет получить от продажи собственных овощей, он может также выйти на свободный рынок сектора потребления С. В то же время он тащит из родного колхоза что только придется, халтурит, ворует направо и налево, «расхищает народное добро» и тут же продает его на сторону — то есть в результате снабжает тот же свободный рынок поступлениями из секторов I и II. Председатель колхоза делает все, что в его власти, чтобы удержать в каких-то подобающих рамках деятельность своего подчиненного — и за это получает право в положенной ему мизерной степени пользоваться благами сектора потребления А. Таким образом, наш средний колхозник поочередно выступает в роли производителя в условиях принудительного труда, добровольного производителя и расхитителя. Он одновременно ведет жизнь раба на плантации, садовода-любителя и первобытного кочевника, живущего сбором «дикорастущих» плодов и разбойничьими набегами с разграблением чужого добра.

Советская экономика не однородна и не образует единого рынка. Два сектора из трех являются административными и стремятся быть «антирыночными», что им в определенной мере удается. Третий может быть назван «квази-рыночным», но он несовершенен, раздроблен условиями «подполья» и испытывает давле-

ние со стороны двух остальных. Часть коммерческих операций осуществляется вне рамок денежной системы, путем прямого изъятия, хищения и меновой торговли. В социалистическом секторе цены устанавливаются планирующими органами, которые принимают в расчет одновременно фактическую себестоимость, соображения экономической политики и установленные ранее плановые показатели. Таким образом, цена сама по себе также представляет собой компромисс. Она не является мериллом экономической деятельности — о ней можно торговаться, изменять, влиять на ее размер. Цена не возникает ни в результате чистого решения, ни как объективное отражение реальности. В соответствии с духом ленинизма, решение является свободным, когда оно исходит из объективно существующей реальности. Но поскольку эта связь оказывается нарушенной, реальность разрушает сам процесс принятия решения (вместо того, чтобы служить критерием его правильности), а решение извращает реальность, поскольку не может ее подчинить.

В различных секторах цены на один и тот же товар значительно отличаются друг от друга. Пусть, например, какой-то продукт получает некоторую цену в социалистическом секторе распределения. Однако потребитель не может его приобрести в этом секторе, поскольку этот товар оказывается дефицитным, поскольку очередь слишком велика, поскольку он испорчен, залежался, вышел из моды или по любой другой причине. Тогда он будет вынужден обратиться к несоциалистическому сектору, где цена на этот товар окажется гораздо выше, или же к «привилегированному» сектору, куда его не допустят, если он будет располагать только деньгами. Чтобы получить доступ к материальным благам и услугам, советский гражданин может выбирать между несколькими путями в денежной сфере и несколькими — в сфере внеденежной (хищение, изъятие, обмен). Иногда, однако, выбор невозможен. Именно поэтому частные лица нередко располагают довольно

крупными суммами на сберегательной книжке или в виде облигаций, но не могут эти деньги использовать, поскольку требующиеся им товары и услуги находятся либо в секторе А, где их нельзя приобрести за деньги, либо же в секторе С, где они стоят слишком дорого, поскольку в цену входит «надбавка за риск» устрашающих размеров.

Социалистическая доктрина родилась в девятнадцатом веке из стремления покончить с кажущейся анархией рыночной экономики и заменить «слепые» рыночные механизмы сознательным и рациональным управлением экономикой. Если под социализмом понимать подобную наглядность и прозрачность экономических механизмов, открытых взгляду и воздействию планирующих органов, которые знают всю подноготную этой экономики и ею управляют, то надо признать, что советская экономика — одна из наименее социалистических, какие только существуют на нашей планете. Октябрьская революция не только не отдала в руки государства естественные рычаги управления экономикой, но окончательно эти рычаги сломала.

Государству ничего не известно о фактическом состоянии экономики. Цифры, которые предоставляются ему планирующими органами, фальсифицированы — и все это знают. Брежнев не знает, сколько зерна произведено в стране на самом деле. Говорят, что он руководствует оценками ЦРУ, полученными на основе наблюдений со спутников. Это может дать представление об урожае «на корню», но не о фактически собранном и заложенном в закрома, ибо неизвестно, сколько хлеба теряется во время жатвы, перевозки и хранения. Точно так же отсутствуют точные и подробные данные о промышленном производстве. Однако, даже если бы анализ хозяйственной деятельности не искажался фальсификацией данных, все равно он не мог бы руководствоваться объективными ценами. Понятие цены имеет какой-то смысл лишь в несоциалистической сфере, само существование которой допускается лишь постольку,

поскольку она ускользает от учета и контроля государства. Государство не располагает теми точными экономическими инструментами, какими на Западе являются налоговая система, кредит, средства безналичного расчета (деньги банковского оборота и т. п.). Налоги в СССР обладают лишь очень слабой силой воздействия. Банковская система не затрагивает массу населения. Чековая книжка, кредитная карточка неизвестны рабочим и служащим, которые получают каждый месяц бумажные деньги и мелочь, как до революции.

Те инструменты, которые имеются в распоряжении западных государств — установление учетной ставки, кредитные рестрикции, налоговые льготы, контроль цен — и которые позволяют им с огромной гибкостью воздействовать на экономику как целое, не могут быть использованы советским государством. Оно может жестко и грубо воздействовать на часть советской экономики, но не на всю экономику целиком, поскольку оно нуждается в существовании внесоциалистического сектора — который не может подвергаться государственному контролю и регулированию без того, чтобы это немедленно не парализовало социалистический сектор. Этим объясняется тот факт, что в социалистических государствах должна существовать зона «дикого» капитализма, во всех отношениях сходного с тем, который так пылко обличал в свое время Маркс. Этот капитализм не знает и не может знать тех религиозных, моральных, юридических рамок, которые в диккенсовской Англии умеряли алчность предпринимателей и стояли на страже общественных интересов — ибо в СССР нет иных общественных интересов, кроме интересов социалистического сектора.

Впрочем, сам этот сектор использует в своих интересах тот факт, что подавляющее большинство населения одновременно принимает участие в стихийных операциях сектора III, для того, чтобы избавиться от необходимости осуществлять во всей полноте те мероприятия, которые во всем остальном мире связываются

с идеей социализма. Пенсионное обеспечение, профилактика несчастных случаев на производстве, гигиена труда и профилактика профзаболеваний, система оплачиваемых отпусков — все это существует лишь на самом примитивном уровне и не выдерживает сравнения с развитыми странами.

Эта «слаборазвитость» советской экономики в какой-то степени, как ни странно, облегчает повседневную жизнь советских граждан. Действительно, за экономический рост и развитие «государства всеобщего благоденствия»* нам, на Западе, пришлось заплатить гигантским усилением государственного контроля. Каждый, кто участвует в экономической деятельности на Западе, обязан выполнять административные, налоговые, бухгалтерские предписания, от которых советский человек избавлен. Давление государственной машины и мелочный, неусыпный контроль со стороны бюрократических органов в СССР затрагивают лишь ответственных за хозяйственную деятельность в социалистических секторах. Они живут в постоянном страхе, в ожидании пресловутого *ревизора*. Однако огромное большинство работников это никак не касается. С материальной точки зрения жизнь в СССР бедна и трудна, но зато проста.

Тем не менее, хотя советская экономика гораздо менее «социализирована», чем западные, она, и только она, заслуживает названия социалистической — ибо идея социализма является ее руководящим принципом и определяет все ее характерные черты. Пусть эта идея пуста и лишена всякого содержания — но все опирается на нее. Как я уже сказал, вся советская система существует лишь в целях построения социализма и/или сохранения шансов на его построение в будущем. Управление этой системой основывается на компромиссе между двумя этими генеральными направлениями, которые принимаются коммунистической партией и определяют

*) «Государство всеобщего благоденствия» (welfare state) — принятый в западной социологии термин для обозначения государства с развитой сетью социального обеспечения, бесплатным обучением, медицинской помощью и т. п. (Прим. перев.).

линию ее экономической политики. Таким образом, поддерживающие целостность и жизнеспособность системы силы находятся вне экономической сферы. Управляющей силой советской экономики является политическая власть. Однако политическая власть сама подчинена этому «детищу чистого разума», каким является социализм в своих бесплодных попытках воплотиться в жизнь. Именно политическая власть (и необходимость ее сохранить) навязывает советской экономике ту триединую структуру, которую мы проанализировали выше, но навязывает она ее лишь потому, что сама всецело опирается на идеологию. Таким образом, мы наблюдаем двойное смещение центра тяжести: экономики к политике, и политики — к экономике. Если принять это, то система перестает казаться внутренне противоречивой или непоследовательной. Ее прототипом, в отличие от классических экономических систем, не может быть Робинзон, благоустраивающий свой остров с помощью тех ресурсов, которыми он располагает, и собственного труда. Нужно представить себе планирующие органы, руководство профсоюзов и администрацию предприятий в виде Пятницы, подчиненного Робинзону как непостижимому и абсолютному повелителю. Кроме того, нужно представить себе, что сам Робинзон состоит на службе социализма.

Статика и динамика

Трехчленная структура советской экономики и конкуренция между секторами представляют собой постоянную составляющую советской экономики и формируют, если можно так выразиться, ее статику. Рассмотрим теперь ее динамику: как она растет, развивается — или, наоборот, регрессирует и приходит в упадок. Вот основное правило этой динамики: советская экономика растет постольку, поскольку она соперничает с несоциалистической экономикой и постоянно на нее посягает. Но поскольку она не обладает собствен-

ными, внутренне ей присущими стимулами роста, то в условиях изоляции ее естественной тенденцией оказывается неуправляемый спад.

Таким образом, условием существования советской экономики является существование экономики несоветского типа (или, выражаясь свойственной ей терминологией, экономики капиталистической). Внутри советской системы мы столкнулись с необходимостью присутствия третьего, несоциалистического, сектора, служащего резервуаром и штурвалом управления для двух остальных. Этот третий сектор, заключенный в границы СССР, подвластный контролю государства, позволяет социалистической сфере уцелеть, но он не в состоянии направлять и поддерживать динамику ее развития как целого. Функции внешнего по отношению ко всей системе «сектора III», столь же необходимого для ее выживания, как и внутренний сектор III, осуществляет международная экономическая система, и в первую очередь — ее промышленно развитая часть. В дополнение к простому поддержанию жизнеспособности советской экономической системы, этот внешний «сектор III» обеспечивает ее моделью и средствами развития.

По мысли Ленина, социализм неизбежно придет на смену капитализму в силу его внутреннего превосходства над последним: новые «производственные отношения» освободят «производительные силы» и сообщат им невиданный до того размах. Тот факт, что по мере установления нового режима эти самые производительные силы приходили в полнейший упадок, не обескураживал Ленина и его соратников, поскольку идеология приписывала эту катастрофу материальным и духовным пережиткам как раз того режима, который они намеревались свергнуть. Чтобы от них избавиться, следовало предпринять строительство социализма, преодолевая те препятствия, которые стояли на пути его стихийного развития. Но что должно было служить образцом, моделью в этом процессе построения социализма?

Что касается «производственных отношений», то на этот счет в традиционной марксистской доктрине имелись соответствующие указания, так что после частичной расчистки строительной площадки от остатков капитализма, можно было на его месте воздвигнуть сектор II и сектор I, играющий роль его стража и защитника. Что же до «производительных сил», то существовала конкретная модель — развитые «капиталистические» страны. Ленин рассматривал Россию как отсталую и варварскую страну, где капитализм еще не успел довести до конца свою историческую, революционизирующую миссию. Эта миссия была завершена в Западной Европе и в Соединенных Штатах, где, как с нетерпением ожидал Ленин, вскоре должна была разразиться социалистическая революция. Тем временем, полагал Ленин, на плечи молодого революционного государства ложилась задача как можно быстрее и эффективнее осуществить те преобразования, которые не успел довести до конца зарождающийся русский капитализм. Ленин глубоко восхищался экономическим развитием Соединенных Штатов и тогдашней Германии. Огромные заводы, технологические нововведения, дисциплинированные и компетентные работники, точный учет — вот то, что по его мнению составляло обязательные атрибуты воплощенного в жизнь социализма. Нужно было перенести их в Россию. Таким образом, процесс построения социализма должен был изображаться следующей кривой: отправляясь от чрезвычайно низкого уровня, на котором находилась дореволюционная Россия, кривая стремительно взмывала вверх, вскоре пересекала более пологую кривую развития тех стран, где капиталистические производственные отношения сдерживали прогресс производительных сил, чтобы затем вознестись к еще невиданным сияющим высотам.

Следовательно, если в сфере производственных отношений легитимность советской власти (т.е. ее соответствие канонам идеологии) обеспечивается ее способностью построить сектор II, то в сфере производитель-

ных сил — способностью *догнать и перегнать* наиболее развитые капиталистические страны. О том, чтобы их «перегнать», теперь (через шестьдесят пять с лишним лет) больше нет и речи, хотя советское правительство и заявляло неоднократно, что это вот-вот произойдет. Но «догнать» их по-прежнему остается его главной задачей (как для того, чтобы повысить акции советского режима в его притязаниях на «законность», так и непосредственно в целях роста его мощи).

Развитие несоциалистических экономических систем обусловлено множеством разнообразных факторов, которые мы здесь не будем перечислять — но все они (или, по крайней мере, наиболее существенные) обладают одним общим свойством: они внутренне присущи этим системам. Главным фактором роста советской экономики является воля советских руководителей, чтобы этот рост стал реальностью, их проект — *догнать и перегнать*. Однако сам этот фактор обусловлен *внешней* причиной — более высоким уровнем развития, достигнутым странами с несоциалистической экономикой.

Имитация реальная и имитация символическая

Советская экономика находит для себя цели и задачи за рубежом. Запад играет в одно и то же время роль линии горизонта и поставщика перечня методов, которые нужно заимствовать, и свершений, которые следует воспроизвести. Поскольку США производят столько-то автомобилей, тракторов или шин, нужно, чтобы СССР производил столько же. Поскольку эти автомобили или трактора обладают определенными характеристиками, советские автомобили и трактора будут обладать аналогичными.

Подобная тенденция к подражанию имеет свои технические причины. Всегда более выгодно скопировать какое-то изделие, чем вести исследования, которые в конце концов приведут к его изготовлению. Гораздо выгоднее заимствовать за рубежом методы и решения,

уже зарекомендовавшие себя на практике, чем вновь повторять весь процесс «проб и ошибок», который привел к тому, что были выбраны именно они. Именно таким образом Франция в девятнадцатом веке обогнала Англию, а Япония в двадцатом — Западную Европу. Имитация обычно представляет собой неотъемлемую часть процесса «модернизации», через который прошли все индустриальные страны, за исключением Англии, а затем Соединенных Штатов, которые шли по этому пути первыми. Однако, если присмотреться поближе, то окажется, что цели советской экономики радикально отличаются от того, что в экономической литературе принято называть модернизацией. Для этого нужно рассмотреть цели и способы практикуемой в СССР имитации и пронаблюдать, как они осуществляются в каждом секторе.

В секторе I, занятом производством мощности, имитация реальна. Между советской армией и армией ее основного противника существует постоянное соперничество, не позволяющее закрывать глаза на факты. История советской армии свидетельствует о замечательной способности разрабатывать конкурентоспособные системы вооружения и находить внутри страны ресурсы, позволяющие претворить эти проекты в жизнь. Здесь имитация является творческой и гибкой. Как правило, ответственным за этот сектор всегда удавалось остановить свой выбор на высококачественных типах вооружения, отличавшихся простотой, надежностью и эффективностью, а затем — наладить их производство в достаточном количестве. Они доказали свое умение развивать сильные стороны, чтобы скомпенсировать наличие уязвимых мест. Например, обладая солидной традицией в артиллерийском деле, Советская Армия сумела перенять у немцев зарождающуюся технологию производства ракет и развить ее до такой степени, чтобы скомпенсировать превосходство противника в области стратегической авиации. В этом секторе копируются скорее не методы производства, а сами материальные

изделия. Фактически проблема состоит в том, чтобы их произвести, несмотря на тот факт, что промышленное производство в целом находится на более низком уровне, чем для этого требуется. Поэтому оказывается необходимо способствовать развитию тех отраслей, которые связаны с самой современной технологией, сверх всякой меры сосредотачивать все ресурсы для решения какой-то одной задачи, использовать преимущества системы распределения А для вознаграждения наиболее ценных работников или же сажать их в *шарашки*, если нет лучшего средства заставить их работать, наконец, осуществлять гораздо более жесткий, чем обычно, контроль за рабочими. Техническая имитация приводит к созданию конкурентоспособных изделий, но не находит своего отражения в имитации экономической, если под последней понимать рост производительности труда и сокращение производственных издержек. Такое сокращение может быть достигнуто просто путем поддержания заработной платы на минимальном уровне или даже несколько ниже его. Иногда случается, что техническая конкуренция приводит к усовершенствованию экономических механизмов, но бывает и так, что для того, чтобы скомпенсировать недостатки и недоразвитость этих механизмов, оказывается достаточно простого принуждения, что в конечном счете избавляет власти от необходимости прибегать к дополнительным капиталовложениям и проводить модернизацию.

Сектор II, занятый строительством социализма, может удовлетвориться имитацией символической. Неважно, что советское сельское хозяйство продолжает разваливаться — достаточно лишь собрать побольше документов и «наглядных доказательств», чтобы они позволили публично утверждать, что оно ни в чем не уступает американскому сельскому хозяйству: предъявить, например, фотографии безупречно вспаханных полей, рекордных урожаев или коров с выменем невиданных до толе размеров. Или другой пример: в последние годы жизни Сталина в СССР производились (в ничтожных

количествах) сверкающие лимузины типа «Кадиллаков» и велось строительство полдюжины небоскребов. Подобные достижения были призваны символически уравновесить все легковые автомобили и все небоскребы, заполняющие собой улицы деловых кварталов американских городов. Эта эквивалентность была принята за чистую монету частью советских граждан и даже некоторыми заграничными вояжерами, которые возвращались после поездки по испещренному подобными символами маршруту в полном восхищении: все было как в Америке.

Этот контраст между реальной и символической имитацией наблюдается и в научных исследованиях. Реальная наука сосредоточена в военной области, и она за шестьдесят лет сумела добиться впечатляющих и зачастую блестящих результатов. С другой стороны, СССР никогда не произвел ни одного оригинального искусственного волокна, ни одной пластмассы, ни одного важного лекарственного средства, ни одной машины бытового назначения, призванной облегчить повседневную жизнь. Во всех этих областях он ограничивается тем, что с запозданием копирует то, что уже создано за рубежом, но зато культивирует псевдонаучные исследования, представляющие чисто символический интерес. Здесь имеются такие достижения, как эликсир долголетия («сыворотка академика Богомольца»), ветвистая пшеница, дающая невиданные урожаи, оживление трупов, парапсихологические открытия и прочие научные подвиги, почему-то всегда имеющие отношение не к реальной жизни, а к области чудес и фантастики. Точно так же, как пять-шесть небоскребов доказывали, что Советский Союз *догнал* Запад, эти открытия призваны возвещать, что он его *перегнал*.

Не столь уж важно, что подобным символам суждена, как правило, недолгая жизнь: прежде всего потому, что всегда можно сфабриковать новые, когда эффект воздействия прежних несколько ослабнет. Помимо этого, когда они на поверку оказывались блефом, можно было

всегда сказать, что это, в сущности, не в счет: если легковых автомобилей действительно в СССР несравненно меньше, чем в Америке, то это просто потому, что социалистический образ жизни предполагает преимущественное развитие общественного транспорта, гораздо более современного и совершенного, чем на Западе. Это с готовностью признавали и западные эксперты, даже не потрудившиеся собственными глазами посмотреть, что из себя представляет на деле советский общественный транспорт.

Разумеется, имитация в секторе II иногда бывает вполне реальной. Когда нужно было сооружать гигантские плотины или металлургические комбинаты, это делалось по лучшим западным образцам и зачастую под руководством западных инженеров. Еще и сегодня СССР импортирует сооружаемые «под ключ» целые заводы по производству легковых автомобилей, грузовиков, алюминия и т. д. Однако эта реальная имитация подгоняется требованиями имитации символической, ибо социализм не может просто «копировать» капитализм — он должен превосходить его по всем статьям. Конечным пунктом имитации является не тождественность, но то превосходство, которое демонстрируют символы. Символы вообще были бы не нужны, если бы речь шла о повышении благосостояния или облегчении жизни людей; однако их производство, наоборот, приводит к обнищанию населению. Для обескровленного Советского Союза в 1950 году было бы куда лучше не производить роскошных автомобилей и не сооружать высотные дома, обходящиеся в астрономические суммы, не умножать число подземных дворцов московского метро, достойных египетских фараонов, не соединять Волгу с Доном с помощью гигантского канала и подождать с устройством вдоль берегов среднеазиатских рек искусственных лесонасаждений, которые к тому же засыхали на корню. Эти символы вносили свой вклад не в благосостояние, а в рост социализма, то есть в повышение «степени законности» власти. Все эти меро-

приятия находят себе оправдание и становятся вполне рациональными, если рассматривать их с точки зрения приносимых политических выгод. Поэтому достаточно, если они будут тем, что они есть: не реальной имитацией, требующей времени, денег и длительных усилий, а имитацией символической, возводящей на несколько месяцев декорации коммунистического XXI века, скроенные по образцу капиталистического XX века — другими словами, имитацией имитации.

Петр Великий и Ленин

Считая Ленина великим реформатором и поборником модернизации России, многие на Западе, естественно, сравнивают его с Петром Первым. В своем интервью с Эмилем Людвигом (1931) Сталин подхватил это сравнение и развил в пользу Ленина. Действительно, Петр, как и Ленин, заимствовал на Западе определенные технические модели, но не экономические, и в еще меньшей степени — политические. Царь-реформатор наметил также схему подразделения русской экономики на три части: с военным сектором, для нужд которого он основывал мануфактуры под руководством немецких специалистов; сектор престижа и политической мощи, символом которого стало строительство Санкт-Петербурга; и «свободный» сектор, нещадно обираемый с целью поддержания двух остальных. Однако между Петром и Лениным имеются существенные различия. Вот они. Петр действовал под влиянием необходимости, а не утопии или идеологии. Было жизненно необходимо, чтобы русская держава сумела догнать и перегнать в определенных областях своих западных соперников. Эта задача становилась тем более безотлагательной, если учесть скудость того исторического наследия, которое досталось в удел петровской России, и непрерывно усиливающееся внешнее давление, не оставляющее времени для передышки. Поэтому Петр все усилия сконцентрировал в секторе I, не придавая сектору II

того размаха, который мог бы оказаться для нищей России непосильным бременем. Стремление к имитации было искренним: Петр на самом деле восхищался Голландией или Германией, которые он намеревался догнать и перегнать. Он действительно хотел, чтобы Россия переняла уровень развития тогдашней европейской цивилизации — но именно уровень, а не методы или дух. Это неизбежно обрекало его хотя бы на частичную неудачу. Однако деспотизм был для Петра лишь временным средством, чем-то вроде строительных лесов, которые будут сняты, когда здание новой России будет, наконец, сооружено и достигнет уровня желанной цивилизованности. Этот уровень можно было имитировать, ибо он был реальным, существующим, уже где-то достигнутым. Фактически Петр бросал в почву семена, из которых несколько дало ростки. Петровская модель развития во второй половине девятнадцатого века, по мере постепенного ослабления деспотизма, превращалась в модель европейскую. Россия начала походить на выбранный ею образец. Развивалась рыночная экономика, постепенно поглощая секторы мощи и политического престижа; величественный и роскошный петербургский пейзаж, столь долго пустовавший, наполнился кипучей жизнью.

Для ленинской модели развития наиболее характерной чертой являются не относительные размеры секторов I и II по сравнению с сектором III (первые два неизмеримо более раздуты, а последний — более подавлен, чем в эпоху Петра), но тот факт, что Ленин в своих действиях руководствовался утопией и идеологией, а не необходимостью. Имитация здесь перестает быть искренней: Запад не является более образцом, достойным восхищения. Наоборот, он олицетворяет собой капитализм и империализм, то есть абсолютное зло. Подлинной моделью и образцом является социализм — иными словами, такой модели фактически нет. В попытках ее создания могут оказаться полезными заимствованные на Западе и прошедшие «идеологическую обра-

ботку» конкретные примеры достижений, реализованных «по последнему слову техники». На Западе заимствуются методы и технология, которые можно приспособить для целей его последующего разрушения и уничтожения. Стремление к имитации замешано на ненависти, а само наличие ее укрывается, ибо не может найти оправдания в доктрине. Кроме того, такая имитация по необходимости неполна, так как в качестве ее объекта выбирается лишь то, что может служить целям подготовки неминуемого столкновения, а также — строительным материалом для социализма, представляющего собой отрицание Запада. Петр Великий хотел достичь того же, что и Запад, но используя иные средства. Ленин и ленинцы хотят достигнуть чего-то иного — социализма, который принципиально отличен от капитализма, но не может воплотиться без его помощи. Таким образом, лозунг «догнать и перегнать» никогда не означает — «пойти по тому же пути». Ленинская модель развития никогда не может перенять структуру и стиль западной модели. Три сектора остаются разделенными и каждый из них сохраняет отведенное ему место. Процесс развития мирового социализма постепенно оттесняет капитализм, неуклонно сокращая зону, с наличием которой социализм пока вынужден мириться. Капитализм пока еще существует — но лишь для того, чтобы дать социализму направление и импульс к развитию, которого тот сам по себе лишен, и предоставить ему материальную помощь, которую тот требует.

Страны-сателлиты

К границам СССР непосредственно прилегают страны, строящие под его руководством социализм. Ввиду их полной политической зависимости от «великого соседа» эти страны принято называть его «сателлитами». Чтобы отблагодарить СССР за то, что он «освободил» их от капитализма и защищает от происков империализма,

они соглашались играть роль внешнего сектора III, но не «подпольного», а привилегированного и связанного с СССР «братскими узами». Сразу после войны ГДР, Польша, Чехословакия и Румыния находились на уровне развития, заметно превышающем уровень развития СССР. Последний воспользовался этим фактом, чтобы произвести изъятия, которые в первые послевоенные годы принимали примитивные формы демонтажа и вывоза промышленного оборудования и заводов. Затем военно-политическое превосходство позволило Советскому Союзу начать диктовать условия, на которых должен был осуществляться обмен между ним и этими странами. Он забирал себе лучшую часть промышленной и сельскохозяйственной продукции, произвольно устанавливая цены и запрещая своим сателлитам выходить на мировой рынок.

Эксплуатация и разграбление стран-сателлитов наталкиваются на некоторый политический предел. Если перегнуть палку, то возникает риск либо внезапной потери контроля и «контрреволюционных» восстаний, либо же — доведения братских стран до такого отчаянного положения, когда они окажутся неспособными вносить положенный им вклад в могущество социалистического лагеря. О том, что компромисс было найти нелегко, свидетельствуют и восстания 1953-1956 гг., и тот факт, что СССР иногда приходится поворачивать обратно поступающий извне поток материальных благ, чтобы «помочь» той или иной из стран народной демократии «преодолеть временные трудности».

Похоже, что СССР извлек урок из этих прискорбных эпизодов, и что компромисс теперь исходит из следующих предпосылок. С одной стороны, страны народной демократии, развивая внутри них самих трехчастную структуру экономики, глобально служат по отношению к СССР в качестве сектора III, который можно эксплуатировать при соблюдении определенных условий, которые диктуются осторожностью и ленинским искусством власти. С другой стороны, им разрешено прибе-

гать к использованию ресурсов несоциалистического мира, который является для социалистического мира общим внешним сектором III. Более того: хотя СССР оставляет за собой право определять общие методы и направления в соответствии со своими собственными интересами, он использует свое политическое влияние и вес, чтобы помочь странам народной демократии перекачивать ресурсы из этого внешнего сектора в максимальном количестве и на выгодных условиях. Запад полностью согласен с условиями такого компромисса и субсидирует страны народной демократии как для того, чтобы защищать их от влияния СССР, так и потому, что они находятся под его «защитой».

Западные субсидии

Определить размеры и экономическое значение материальной помощи Запада СССР с 1917 года и до наших дней — это задача для специалистов по истории СССР. Быть может, в 1921 г. советский режим был спасен благодаря так называемой «миссии Гувера»*, которая, предотвратив гибель от шести до семи миллионов человек, помешала голоду перейти в политический кризис. В тридцатые годы западная техническая помощь стала основным фактором в придании хоть какой-то согласованности и эффективности попыткам индустриализации, ознаменовавшим собой первые две пятилетки. В годы войны таким фактором, на который опирался СССР в своей подготовке, а затем и ведении войны, стала помощь со стороны гитлеровской Германии (до 1941 года), а затем, до 1945 года, англо-американский «ленд-лиз». В последние двадцать лет Запад не перестает снабжать СССР продовольственными продуктами, современными заводами, передовым оборудованием и технологией.

*) Герберт Гувер (1874-1964), миллионер, горный инженер по профессии, в 1917 году был назначен Верховным администратором США по вопросам продовольствия, и в этом качестве оказал огромную помощь разрушенной войной Европе, в том числе — Советской России. В 1929-1933 гг. — президент США. (Прим. перев.).

Западная помощь способствует в первую очередь развитию сектора I. Запад пока еще не поставляет СССР ракеты и атомные бомбы, но (открыто или обходными путями) передает ему военную технологию. Сектор I включает в себя не только производство вооружений, но материальную базу и промышленный аппарат, служащий нуждам этого производства. Во время второй мировой войны Советская Армия снабжалась грузовиками непосредственно фирмой «Дженерал Моторс», в рамках поставок по «ленд-лизу». Сегодня эти грузовики производятся на гигантском заводе «КамАЗ», полностью сооруженном по заказу СССР фирмами «Дженерал Моторс», «Форд» и другими компаниями с не менее высокой профессиональной репутацией. Наконец, если Запад направляет определенное количество поставок и услуг в секторы II и III, то изъятия из них в пользу сектора I могут быть пропорционально более значительными. Например, когда в 1973 году США помогли СССР избежать тяжелого продовольственного кризиса, то программа военного развития смогла развиваться по намеченному графику лишь потому, что последствия срыва в секторе II были скомпенсированы помощью Запада. Запад поставляет масло, а СССР — пушки.

То, что в течение двадцати лет было единичными и независимыми примерами, теперь обнаруживает тенденцию превратиться в опирающийся на традицию и закрепленный договорами официальный институт. Быть может, США спасли СССР в 1921 или в 1943 году. Сегодня, вместе со своими европейскими и японскими партнерами, они поддерживают его обеими руками — или, по крайней мере, пребывают в состоянии постоянного и организованного симбиоза с экономическими системами советского типа.

Реализация этого симбиоза идет различными путями. Неденежный путь изъятия продолжает существовать в виде научно-технического и промышленного шпионажа, вполне легального вывоза образцов изделий с целью их последующего копирования или абсолютно

неэквивалентной оплаты приобретаемых лицензий. Переходной формой между изъятием и торговлей является использование военного и политического давления с целью добиться более выгодных условий заключения коммерческих сделок. Дореволюционная Россия характеризовалась архаической, или даже колониальной структурой внешнеторгового обмена: она продавала сырье и покупала изделия с высокой долей вложенного в них квалифицированного труда. Неэквивалентность подобного обмена всегда была источником претензий и недовольства русского правительства. СССР продолжает продавать сырье и покупать готовые изделия, но его мощь помогает ему избежать неравенства при обмене или даже навязать невыгодные условия сделки его партнерам. В этом СССР ничем не отличается от любой другой державы его размера.

То же самое можно сказать и о торговле, но здесь следует учитывать следующие особенности.

Употребление термина «рынок» в применении к советским условиям весьма двусмысленно. Предложение и условия сделок не определяются отдельными участниками экономической деятельности в зависимости от потребностей или спроса. Решение принимает государство и только государство. Внутренний сектор III никак не связан с внешним сектором III (правда, между сектором III и внешним миром ведется в небольших масштабах торговля валютой и золотом, но это явление абсолютно маргинальное, не имеющее никакого экономического значения и служащее лишь для разжигания кампаний по борьбе с этим жутким преступлением). Объем импорта определяется государственными органами в зависимости от текущей экономической политики государства. Они также принимают решения об экспорте, продавая советские товары, на которые существует спрос, по ценам мирового рынка и не учитывая ни цены на внутреннем рынке, ни величину себестоимости, неизвестную им самим. Например, есть веские основания полагать, что изготовление автомобиля

«Фиат» обходится дороже на заводе в Тольятти, чем в Турине, несмотря на значительно более низкую заработную плату советских рабочих. Тем не менее, эти автомобили будут продаваться на международном рынке гораздо дешевле, чтобы советское государство могло получить валюту, в которой оно так нуждается. Политика демпинга, в глобальном масштабе приводящая к обнищанию СССР, заменяет собой политику конкурентоспособности товаров, но позволяет достичь приоритетных целей. Это явление может рассматриваться как изъятие из сектора II в пользу сектора I.

Советская торговля в сумме выгадывает от того, что государство является монопольным покупателем в условиях, когда предложение исходит от многих, не связанных друг с другом компаний. СССР хочет построить автомобильный завод? «Фиат», «Рено», «Мерседес» вступают между собой в жестокую конкуренцию, объем технического задания не перестает возрастать, конкуренты наперебой предлагают все более выгодные цены и условия кредита.

Наконец, советское государство взяло на вооружение, но в более широких масштабах, традиционную политику займов прежней Российской Империи. С не меньшей ловкостью оно сумело заставить вступить между собой в конкуренцию государственные и частные учреждения, ведающие кредитами, сочетать твердость в переговорах и точность в обслуживании, т. е. в уплате процентов по предоставленным займам, и, наконец, постепенно связать кредиторов по рукам и ногам до такой степени, что они оказываются вынужденными предоставлять новые кредиты, чтобы обеспечить выплаты по тем, которые они предоставили ранее.

Цель советской внешней торговли целиком и полностью вписывается в рамки конечной цели всей советской экономики: построить социализм, сохранить и развить инструмент мощи советского государства, которая рано или поздно обеспечит окончательную победу социализма над «капитализмом». Следовательно, советская

торговля вовсе не руководствуется соображениями взаимной выгоды. В глазах советского государства, являющегося ее единственным хозяином, она представляет собой лишь один из видов оружия в глобальном столкновении, а ее результаты в любой момент должны оцениваться в терминах победы или поражения. Она обязана непрерывно вносить свой вклад в ослабление партнера, который ни на минуту не перестает рассматриваться как противник. Торговля может использоваться советским государством, как и внесоциалистический внутренний сектор, но лишь постольку, поскольку в то же время идет подготовка к ее окончательному уничтожению. На Западе имеется целая литература, посвященная предполагаемому «смягчающему» воздействию внешней торговли на советский режим, где эта торговля рассматривается как дрожжи, разрыхляющие плотное тесто, как размягчающие испарения, которые в конце концов постепенно пропитают собой «закостенелые структуры» советского экономического механизма. Подобные писания встречаются с одобрительной реакцией со стороны Советского Союза, если они предназначены для исключительного пользования ответственных деятелей западной экономики. В самом СССР их не публикуют.

И все же, несмотря ни на что, пророчество Ленина сбылось: Запад сам продает коммунистическому миру веревку, на которой его собираются повесить, и даже предоставляет кредиты, призванные облегчить и ускорить эту покупку. Что же заставляет его это делать? Чтобы разобраться в этом механизме, нужно провести различие между побудительными мотивами, движущими частными компаниями и государствами как таковыми.

У первых нет никаких принципиальных возражений против торговли с СССР — главное, чтобы предполагаемая сделка обещала в перспективе получение прибыли. Те, кто стоят во главе частных компаний, не собираются посвящать себя политическим анализам, ка-

сающимися отдаленного будущего. Для них будущее ограничено сравнительно близкими горизонтами и текущими условиями, определяемыми бюджетом их предприятий. Возьмем, например, крупную автомобильную компанию. Проект постройки автомобильного завода в СССР обещает ей загруженность и заказы, что можно только приветствовать. В результате могут улучшиться отношения администрации с профсоюзами, нередко находящимися под влиянием коммунистической партии. Сделка повышает престиж и способствует рекламе фирмы. Наконец, самое главное: доля собственного капитала фирмы в реализации подобного проекта весьма невелика, как невелик и риск, поскольку фирма либо уже национализирована, либо получает государственную субвенцию, да и кредиты чаще всего гарантируются государством.

Как вполне естественно в западном обществе, такие сделки или их возможность приводят к возникновению групп давления («лобби»), оказывающих воздействие на общественное мнение и государственные органы в интересах данной фирмы. В таких группах никогда не переводятся «друзья» Советского Союза или даже его агенты. Они исповедуют сами и распространяют в средствах массовой информации различные теории, призванные оправдать их поведение, причем эти теории нередко оказываются гораздо более благородными и возвышенными, чем незамысловатая логика прибыли. Директор одной фирмы, которая только что построила гигантский завод в одной из стран-сателлитов СССР и готовилась построить такой же завод под Москвой (не вложив во все это предприятие ни гроша из собственного капитала), предавался передо мной разглагольствованиям о необходимости «диалога» между Востоком и Западом и не стеснялся даже цитировать Тейяра де Шардена!*

*) Пьер Тейяр де Шарден (1881-1955) — французский палеонтолог, философ и теолог, развивший концепцию «христианского эволюционизма», объединяющую чисто научный и религиозный подход. Согласно этой концепции, человечество в своей эволюции придет к некому высшему духовному единству, представляющему собой торжество подлинного гуманизма. (Прим. перев.).

Поскольку сама структура нашего экономического общества такова, что оно складывается из автономных компаний и предприятий, выступить против подобной торговли и принять сдерживающие меры могла бы только государственная власть. Государства могли бы, например, перестать гарантировать займы и предоставлять капиталы частным компаниям, предоставив им действовать на свой страх и риск. За исключением редких периодов, они от этого воздерживались. Как раз наоборот, западные государства с завидным усердием постарались развить то, что они называют «торговым обменом», причем верхний предел этого обмена определяется не ими самими, но лишь способностью Советского Союза поглощать поток товаров, идущих с Запада. Такая позиция обуславливается по меньшей мере тремя причинами.

Первая из них ничем не отличается от мотивов, движущих руководителями отдельных компаний. В век торжества кейнсианского подхода к экономике правительства знают, что нужно во что бы то ни стало заставить крутиться экономическую машину, даже если она крутится впустую. Кейнс* предлагал даже копать ямы, чтобы потом их закапывать. Торговля с СССР может казаться гораздо более естественным выходом, если она может способствовать уменьшению безработицы и развитию промышленности. Что же касается возможных последствий — укрепления могущества державы, которая сама объявляет себя непримиримым врагом капитализма, — то серьезно к ним относиться мешают две другие причины.

Вторая причина связана с общим представлением об эволюции социалистических режимов. Утверждается, что советский режим приобрел все свои отталкивающие

*) Джон Кейнс (1883-1946) — английский экономист и публицист, основатель нового направления в экономике капитализма. Кейнс оспаривал традиционное представление, что экономика должна развиваться сама по себе, и утверждал, что правительственные меры могут поддерживать высокий уровень экономической активности и занятости. Основная цель общества, по Кейнсу, это обеспечение бесперебойного процесса общественного производства. (Прим. перев.).

черты лишь потому, что после революции он оказался в условиях нищеты, разрухи и враждебности со стороны крупнейших западных держав. Первая реакция Антанты — установление в 1918 г. так называемого «санитарного кордона» — была разрушительной и повлекла за собой *ужесточение* режима, которого можно было бы избежать. После 1920 года Ллойд-Джордж, а вскоре и Эдуард Эррио*, полагали, что следует обращаться с Советской Россией по-другому и пытаться найти путь к сердцам большевиков. Поэтому нужно было помочь СССР осуществить планы своего *развития*. Оказавшись в *нормальных* условиях, в силу естественного хода вещей и успокоения умов, режим придет к подлинной *либерализации* и *нормализации*.

Эта картина постепенной нормализации социалистического режима может развиваться в двух различных направлениях. Действительно, в чем, собственно, состоит эта нормализация? Можно вообразить, что обмен между Востоком и Западом несет с собой в направлении СССР влияние западного образа социальной и политической жизни. В результате через какое-то время можно ожидать возрождения и расцвета рыночной экономики. Политическая жизнь смягчится. Партия в процессе *гуманизации* откажется, быть может, от своей политической монополии и даже в какой-то степени согласится с присутствием плюрализма. Отказавшись от приверженности утопии, Россия будет управляться своего рода термидорианцами, и кто знает, не приведет ли новый Бонапарт (столь же просвещенный, но, будем надеяться, менее склонный к экспансии, нежели его исторический прототип) к возвращению СССР в лоно содружества цивилизованных народов?

Можно также представить себе, что нормализация будет заключаться просто-напросто в построении *подлинного* социализма. В конце концов, необязательно

*) Дэвид Ллойд-Джордж (1863-1945) — премьер-министр Великобритании в 1916-1922 гг. Эдуард Эррио (1872-1957) — премьер-министр Франции в 1924-1926 и 1932 гг. (Прим. перев.).

быть троцкистом, чтобы утверждать, что СССР, несмотря на все ужасы режима, остается социалистическим государством, или быть социал-демократом, чтобы полагать, что социализм — это хорошая вещь, эксперимент, заслуживающий всяческого одобрения и связанный с величайшими надеждами всего человечества. Именно так и полагает значительная часть западного общественного мнения и, с помощью прессы и избирательных урн, подталкивает правительства в этом направлении. Последние же не могут даже вообразить, что советский режим ставит перед собой иные цели, чем те, которые он провозглашает: процветание, экономический рост, социальная справедливость, повышение жизненного уровня. Разумеется, они считают, что советский путь, социалистический метод не являются наиболее *эффективными* в достижении этих целей. Однако идея *мирного соревнования* двух систем их вполне устраивает. Западные политики думают, что в конце концов мы станем свидетелями *конвергенции* двух систем, и что западные субсидии (или, как они предпочитают выразиться, «обмен»), торговля между Востоком и Западом и прочие «орудия мира» — это лучшее средство ускорить этот процесс.

Третья причина — это желание избежать тех трудностей и неприятностей, которые мог бы причинить СССР. Советский режим из просто неприятного мог бы стать абсолютно нестерпимым. Советское правительство может нажать на «революционную» педаль, направить *жесткие* директивы западным компартиям, начать вмешиваться в выборы, саботировать работу международных организаций, начать вести подрывную работу в экономически или политически связанных с Западом странами третьего мира, и в конце концов — даже развязать войну! Чтобы избежать всего этого, Запад изо всех сил старается делать все, что только может утешить СССР. В частности, в экономической области он поощряет «обмен», предоставляет кредиты на все более выгодных условиях, соглашается продавать те товары.

которые в большей или меньшей степени могут считаться стратегическими.

Любопытно, что эта третья причина регулярно сменяет собой вторую: когда оказывается, что советский режим, несмотря на предоставляемую ему помощь, не меняется, не *нормализуется*, Запад приходит к заключению, что следует помогать ему такому, какой он есть — чтобы он по крайней мере не стал хуже. Итак, помощь предоставляется с мыслью о нормализации, но когда в результате советская держава становится еще более могущественной, более грозной и еще менее нормальной — то и помощь находит себе иное оправдание: теперь она превращается в выкуп.

Фактически, начиная с 1919 года, эти две причины постоянно сменяли друг друга в качестве оправдания для очередного предоставления помощи СССР. Но каждый раз эту помощь приходилось увеличивать, ибо длительность существования и прочность режима могли предвещать лишь его жесткость, которая может уступить только продолжительным и упорным попыткам добиться разрядки и приподнять «железный занавес». Когда же эти попытки приносили в конце концов не разрядку, а укрепление политической и военной мощи режима, то поток кредитов и льгот только усиливался — чтобы смягчить враждебное чудовище в надежде на то, что тогда оно будет вести себя прилично.

После войны и до настоящего времени страны народной демократии также получали равную (или даже большую) долю западной «манны небесной». Однако, они не могут играть на альтернативе «нормализация/угроза», поскольку направление их внутренней политики не зависит от них самих, а также потому, что их никто не боится. Они играют на альтернативе «зависимость/независимость». Запад свято верит, что по мере возрастания западной помощи социалистическим странам в той же мере уменьшается и зависимость этих «порабощенных наций» от СССР. Поэтому время от времени в какой-либо из этих стран начинают оживленно обсуждаться

проекты экономической реформы — чтобы Запад не подумал, что его деньги и помощь пропали впустую. Однако, когда реформы с треском проваливаются, а зависимость от СССР возрастает — помощь отнюдь не прекращается. Запад не собирается пускать на ветер ни вложенный им капитал (как доброй воли, так и чисто денежный), ни терять уже завоеванные (как он полагает) позиции из-за какого-то отступления, которое вполне может быть лишь временным.

В этом процессе постоянного роста помощи СССР Запад, быть может, уже оставил позади ту точку, после которой возврата уже нет. Вот уже в течение некоторого времени мы наблюдаем, что каждый раз, когда СССР предпринимает риск какой-то международной авантюры (которая прежде привела бы к прекращению или уменьшению западной помощи), эта помощь рассматривается нашими правительствами как нечто абсолютно приоритетное, как подлинное сокровище разрядки, наследие добрых отношений, гарантия мира и залог будущего примирения. И действительно, СССР никогда не переставал использовать в своих интересах перечисленные три мотива, которыми руководствуется Запад. Заставляя вступать между собой в конкуренцию различные фирмы, он дает им иллюзию рынка. Он громко сетует, что враждебность Запада вынуждает его принимать жесткие меры и выбирать твердую линию поведения. Наконец, он распространяет свою угрозу по всей планете и начинает становиться поперек пути западным державам в их отношениях с зависящими от них экономически и политически странами третьего мира. В результате СССР оказывается в состоянии ответить на возможное уменьшение западной помощи такими шагами, что для Запада возникает трудная ситуация на других рынках (на сей раз настоящих). Не исключено, что через десяток-другой лет вместо двух теперешних экономических систем, все еще вполне отличных друг от друга и сравнительно автономных, будет всего лишь одна. В зависимости от точки зрения

ее можно будет считать либо «капиталистической», но отягощенной гигантским злокачественным наростом советской экономики, либо же социалистической, но опирающейся и паразитирующей на соответствующем секторе III — теперь уже в мировом масштабе.

Таким образом, социализм продолжает существовать лишь благодаря внутреннему несоциалистическому сектору, а развивается и растет — благодаря внешнему несоциалистическому сектору. Внешний мир предоставляет социалистической системе модели развития, технологию и материальную помощь. Онтологический принцип социализма ленинского типа заключается в том, что он питается не своими внутренними ресурсами, но паразитирует на внешней, противостоящей ему системе, которой он к тому же призван прийти на смену. Свою динамику и жизненные силы социализм черпает из контактов с западным миром; он укрепляется, чтобы продолжать свое соперничество с Западом, и расширяется за счет отторжения от того же Запада новых сфер влияния и новых территорий. Таков механизм роста двух секторов советской экономики — сектора производства мощи (сектор I) и строительства социализма (сектор II).

Социализм и экономический рост

Зададимся вопросом: обладает ли социалистическая система советского типа сама по себе, абстрагируясь от ее контактов с Западом, каким-либо внутренним стимулом роста? Ответить на этот вопрос не так легко, ибо на практике мы всегда имеем дело не с «чистым» социализмом, но социализмом в его взаимоотношениях с «капитализмом».

Взгляд на предысторию социализма и социалистического учения позволяет обнаружить характерное амбивалентное отношение к росту как таковому. Действительно, в экономических трактатах Ксенофонта, Аристотеля, Варрона, Колумеллы, Катона мы не находим

иной цели, нежели рост и процветание — даже если древние авторы и подчеркивают необходимость определенных пределов, которых требует мудрость и благоразумие. Начиная с восемнадцатого века Европа нового времени открыла секрет практически непрерывного и равномерного роста, с несколькими этапами особенно ускоренного и интенсивного развития. Однако предшественники социализма, в отличие от большинства европейского населения, не видели здесь никаких причин радоваться. Они не могли примириться с тем, что экономический рост и обогащение несут с собой неравенство, роскошь, нерациональность экономики, зависимость рабочего от предпринимателя. В этом подходе они сближались с консерваторами и во многом разделяли их патриархальные идеалы воздержанности и умеренности.

Своеобразие Маркса состояло в том, что он сочетал в себе свойственное консерваторам неприятие принципа обогащения и характерный для либералов индустриализм экспансионистского толка. «Капитализм» в понимании Маркса является могильщиком первых, но исторически обреченными оказываются и вторые, ибо «основное противоречие капитализма» препятствует экспансии далее определенного предела. Проповедуемый Марксом «социализм» позволяет примирить эти две тенденции. В будущем социалистическом обществе, уничтожившем капиталистическую эксплуатацию и «потогонную систему», духовная жизнь и всестороннее развитие человека достигнут небывалого расцвета, оставляющего далеко позади не только «железный век» капитализма, но и древний «золотой век» человечества. С другой стороны, богатство, освобожденное от сковывающих его пут, будет увеличиваться в темпе, превосходящим любое воображение. Таким образом, социализм привлекает как ностальгических приверженцев старины, так и нетерпеливых сторонников прогресса, и в то же время снабжает каждую сторону аргументами, позволяющими провозгласить историческую обреченность ее противников

Эта амбивалентность нашла свое отражение в ленинской интерпретации марксизма, атличающейся ультра-радикальным, манихейским* дуализмом. Как только два исходных абстрактных понятия — капитализм и социализм — начинают рассматриваться как объективно существующая реальность, обогащение и экономический рост перестают оцениваться сами по себе, но лишь постольку, поскольку они связываются с одним из этих двух абстрактных феноменов. В условиях капитализма повышение зарплаты будет рассматриваться как уступка, вырванная у хозяев, или же как попытка подкупа, призванная подорвать классовую сознательность и солидарность. При социализме тот же факт преподносится как триумф системы. Точно так же понижение зарплаты будет трактоваться либо как результат капиталистической эксплуатации и погони за сверхприбылями, объяснимый лишь «абсолютной пауперизацией», либо же, соответственно, как добровольное пожертвование на дело построения социализма. Материальные блага, экономический рост, техника перестают быть самостоятельными и независимыми понятиями и становятся трансцендентальными формами проявления двух реальностей — капитализма и социализма. При этом любой факт, в зависимости от принадлежности к той или другой системе, может скрывать в себе два противоположных значения.

На протяжении целой исторической эпохи и вплоть до наших дней коммунисты рассматривали сосуществование социализма и капитализма не просто как неизбежный, но и желательный факт, ибо еще уцелевший капитализм подготавливает приход социализма и обеспечивает его мощью, необходимой для окончательной победы. Предположим, однако, что эта цель достигнута, и во всем мире воцарился социализм, уже не нужда-

*) Манихеизм или манихейство — эклектическая дуалистская религиозно-философская система (получившая название от имени ее основателя, Мани), возникшая в Персии в III в. н.э., в основе которой лежит концепция космического конфликта между двумя извечными началами — добром (светом) и злом (тьмой). (Прим. перев.).

ющийся в существовании капитализма. В этом случае процесс ликвидации внутреннего и внешнего сектора III больше не ограничивается пределами, обусловленными риском утратить политическую власть, и его можно довести до конца. Исчезают также причины для существования сектора I. Остается лишь сектор II, занятый исключительно строительством чистого социализма.

Зададимся вопросом: являются ли по-прежнему желательными с точки зрения внутренних законов данного сектора (который, по предположению, охватывает всю производственную сферу целиком) экономический рост и обогащение? Остаются ли они нормальными целями труда и товарного обмена, как это было во всех досоциалистических формациях? Это отнюдь не очевидно.

Верные традиционному духу презрения к обогащению, советские плановики никогда не считали своей целью и не пропагандировали потребление как таковое — но лишь то, которое соответствует «социалистическим нормам». Однако если проанализировать в этих же терминах, какие именно материальные блага производятся фактически, то окажется, что все они могут быть отнесены к некоторому исходному стремлению к благосостоянию, удовольствию, достатку, комфорту или роскоши. А если рассмотреть причины, благодаря которым производятся эти блага, то они сводятся или к выгоде, или к получению дохода. Короче говоря, в них обнаруживается элемент капитализма, причем до такой степени, что если поставить задачу очистить процесс строительства социализма от всяческой примеси или налета капитализма, то это можно будет осуществить лишь ценой ликвидации всех его связей с материальными вещами. Чтобы уничтожить капитализм в зародыше, следует перейти от экономики к ее противоположности, которую можно назвать «анэкономикой».

Откуда могут взяться стимулы роста в чисто социалистической сфере? «Массы», выступая с требованиями повышения жизненного уровня, лишь доказывают тем

самым, что они еще не избавились от влияния капитализма, а организованное выступление их с целью добиться от власти выполнения своих требований возможно лишь ценой потрясения и сокрушения самих основ советской системы. Технологические нововведения? Они определяются планирующими органами. Если отпадает необходимость «догнать и перегнать», то что будет стимулировать технический прогресс? Какая конкуренция, какой внутренний спрос могут заставить изобретать новые типы автомобилей, электробытовых товаров, медикаментов? Производительность, рентабельность? Эти вопросы никогда не ставились в секторе II, даже в то время, когда он должен был подчиняться требованиям политики мощи — так кто же их поставит теперь, когда ничто более не требует достижения и поддержания функционального паритета с Западом? С самого своего возникновения социализм выступал против совета и призыва Гизо*: «обогащайтесь». Оказавшись у власти, он приводит не к обогащению, а к обнищанию, и вступает в противоречие с предписанием книги Бытия: «плодитесь и размножайтесь». Вместо роста мы наблюдаем упадок, вместо расцвета — пустыню. Если социализм овладевает всей планетой, то гибель его неминуема. Когда ему нечего больше завоевывать, не на чем паразитировать, он в конце концов угасает, как тлеющий костер, в котором все дрова уже превратились в пепел.

Стабилизирующие факторы

Описанная выше ситуация является чисто гипотетической, поскольку социализм продолжает политику завоевания, захвата окружающей его территории, причем его экспансия никогда не была столь стремительной. Однако внимательный наблюдатель замечает, что наряду с этими активными, «динамичными» проявлениями для социализма характерны и противоположные про-

*) См. прим. на стр. 185.

цессы, приводящие к застою и омертвлению. Действительно, на всей занимаемой социализмом территории там и сям встречаются отдельные участки, где социализм уже полностью осуществлен — но как раз они-то и представляют собой зоны застоя, разложения и маразма.

Средний советский гражданин постоянно сталкивается с подобными зонами и всю свою жизнь борется, чтобы не погрязнуть в них навсегда. Сельский пейзаж центральной России — это теряющиеся в бесконечных пространствах разоренные деревни, где прозябает обнищавшее, опустившееся население, истерзанное бедностью и алкоголизмом, деградировавшее до такой степени, что, по распространенному мнению, даже возвращение к свободе и ликвидация колхозов сами по себе не смогли бы в течение многих поколений возродить к жизни подлинное крестьянство. Городской пейзаж — один из самых мрачных на нашей планете. Унылые ряды одинаковых, кое-как построенных многоквартирных домов, которые требуют ремонта тотчас же после завершения строительства; улицы без мелких магазинов и разноцветных витрин, оживляемые лишь очередями да встречающимися на каждом шагу пьяницами; люди на улицах — плохо одетые, с усталыми, нездоровыми лицами, тяжелым взглядом и готовой выплеснуться агрессивностью; преступность среди несовершеннолетних — все это было описано несчетное число раз.

А на работе? Советские фабрики и заводы поражают грязью, бесхозяйственностью, нерациональностью производственных процессов, частыми поломками и простоями, а также совершенно неудовлетворительным уходом за машинами и оборудованием. Научным лабораториям, если только они не занимаются исследованиями для военных целей, вечно не хватает средств. Продвижение по службе определяется не личными качествами и заслугами, а интригами, доносами, подхалимажем. Люди работают мало и плохо.

Во всем, что касается сферы производства и товаро-

обмена, то есть экономической жизни (я не говорю здесь о жизни духовной или интеллектуальной), советский гражданин не может избавиться от ощущения, что его засасывает нечто абсурдное, неуправляемое, парализующее — это тяжелой и липкой массой медленно и вяло оседает на него осуществленный социализм. И как бы он ни сопротивлялся, пытаясь найти убежище либо в секторе III, то есть в спекуляции, либо же в доходах и реальной деятельности сектора I — все равно он ощущает непрочность и ненадежность этих уловок. Постепенно, исподволь наступает его неизбежное: расступается под ногами податливая трясина, вязкий воздух замедляет движения — и вот он уже погряз в повседневной инертности и безволии, поглощенный социалистической обломовщиной.

Социализм порождает лишь энтропию, накопление которой ведет к усиливающемуся застою и смерти; жизненные силы (то есть отрицательная энтропия) поступают к нему извне. В экономиках несоциалистического типа также существуют зоны роста и зоны регресса. Тем не менее, потенциальные ресурсы их динамичности и развития находятся внутри них самих, и потому каким бы вопиющим примером упадка на фоне остальных ни казалась бы нам какая-нибудь экономика несоциалистического типа (Китай в девятнадцатом веке, довоенная Франция, послевоенная Аргентина), мы говорим в этом случае не об энтропии, а в крайнем случае — о временном застое (стагнации) или недостаточном росте. Здесь никогда не идет речь об опасности затухания до нуля, выпадения из сферы экономики в состояние всеобщего обнищания — опасности, которая постоянно маячит на горизонте социалистической экономики. Та же самая внутренняя динамика приводит к тому, что рецессия в экономике вызывает волнения, протесты и сопротивление населения. Рецессия представляет собой фактор политической нестабильности и потому ставит правительства перед трудными проблемами. Западные руководители знают, что экономика — как велосипед,

который должен двигаться, чтобы не упасть, — не имеет права останавливаться, иначе это приведет к тяжелым последствиям.

Похоже, что в социалистической экономике дело обстоит по-другому — и для этого есть свои причины.

Прежде всего необходимо, чтобы было известно реальное положение вещей — а это не так. Как известно, «отрицательные» стороны жизни тщательно скрываются. Каждому известно, каково положение внутри той «зсны» осуществленного социализма, где он находится, и у него может быть некоторое представление о том, что происходит в других местах, но лишь самое приблизительное. Лишь немногие в СССР способны выработать ясное и целостное представление об общем состоянии дел в стране. Некоторые, как Солженицын или Зиновьев, пришли к этому, лишь посвятив всю свою жизнь упорным поискам теории, которая давала бы полное и удовлетворительное объяснение подобного положения. Большинство же видит не дальше своей деревни, своей лаборатории, своего квартала.

Как я уже говорил выше, правители осведомлены не лучше своих подданных — но, пожалуй, еще более важно то, что их политическая ответственность касается хозяйственных вопросов лишь в той мере, в какой те могут быть чреваты угрозой для самого существования советской власти. Зоны осуществленного социализма, эти стоячие омуты нищеты и абсурдности, никому не мешают, если только они не нарушают равновесия системы в целом или если их влияние уравновешивается в общем балансе источниками положительной динамики. У нас на Западе государственные деятели одержимы экономикой. Экономические вопросы занимают первое место в списке их повседневных занятий: поскольку именно эти вопросы непосредственно влияют на исход выборов, постольку вся расстановка сил на политической арене определяется сегодня показаниями экономического барометра. Подобные заботы абсолютно не волнуют советских руководителей. Из опыта они

знают, что в области экономики мало что можно сделать; знают они и то, что это не имеет большого значения. Правильное функционирование экономики беспокоит их меньше, чем что бы то ни было другое. Согласно формуле Маркса (правда, перевернутой), они перешли от управления вещами к руководству людьми, и только это для них важно.

Неосведомленность и дезинформация не являются единственной причиной экономической безмятежности в советской системе. Социалистическая энтропия, как и всякая другая, сама по себе ведет к абсолютному покою, характерному для недифференцированного субстрата или, в конечном счете, для небытия. Система с возрастающей энтропией порождает внутренние процессы, направленные на ее стабилизацию.

Было бы ошибкой представлять себе социализм как систему, в которой люди испытывают большие трудности и больше страдают, чем в условиях системы не-социалистической. Если бы это было так, то социализм оказался бы под угрозой, ибо они ни один человек, как это заметил еще Аристотель, не может жить без удовольствия. Власть, которая неспособна предоставить своим подданным тот минимум удовольствия, без которого жизнь становится бессмысленной, либо приведет к захирению и вымиранию населения, либо будет сметена его бунтом. Советский режим может этого не опасаться и править своими подданными спокойно. Кровавый террор, к которому он прибегал в течение тридцати пяти лет, был вызван вовсе не необходимостью подавить возможные бунты, но его внутренней логикой, в которой подавляющее большинство населения (именно потому, что оно и не думало восставать) ничего не понимало. Вопрос не в том, невыносим ли социализм — а в том, для кого он невыносим. Ответ нетруден: лишь для тех, кто ценит свободу. Разумеется, я имею в виду не свободу политическую, без которой большинство людей могло бы обойтись, и даже не гражданскую свободу, свободу совести, мнений, информации или свободу

передвижения, лишение которой человек переносит особенно болезненно. Речь идет о некоей духовной свободе — свободе быть самим собой, иметь о вещах собственное суждение и гордиться им, гордиться своей уникальностью и неповторимостью, уважать в себе человеческую личность. С незапамятных времен философы и моралисты знали, что люди не особенно дорожат всеми этими свободами, включая сюда и эту последнюю. Им было известно также, что в самом возвышенном, самом благородном человеке живет и противоположная склонность — к низкому и недостойному. И если столь многие так легко поддаются этой склонности и следуют ей, то лишь потому, что они надеются найти на этом пути желанные удовольствия. И действительно, приспособившись к низости и отдав ей свое существо, они их находят. Советское воспитание — осуществляемое не только аппаратом воспитания в собственном смысле, то есть школой, книгами, телевидением и т. п., но и всей советской жизнью — направлено на то, чтобы человек достиг такого уровня, где он будет находить удовольствие в удовлетворении вполне определенных потребностей, а советская экономика призвана это удовлетворение обеспечить.

Как правило, в экономиках несоциалистического типа существует некоторая фактическая, хотя и не строгая, пропорциональность между трудом и обогащением. Советская экономика эту связь значительно ослабила. Она существует в секторе III, однако здесь мы находимся вне пределов социализма. В секторе I она в определенной степени поддерживается, ибо срочность и реальность стоящих здесь задач влекут за собой необходимость вознаграждать и даже материально стимулировать наиболее активных и способных работников. Однако в секторе II такой связи попросту нет, откуда и ведет свое начало старая поговорка: «Они делают вид, что нам платят, а мы делаем вид, что работаем». Поскольку в предлагаемых условиях задания зачастую являются невыполнимыми, работа становится фиктивной. Рабочие,

лишенные возможности влиять на условия оплаты труда (ввиду отсутствия независимых профсоюзных организаций), работают как можно меньше и как можно хуже. Поэтому на заводах и фабриках безраздельно царит *халтура*, а о работе в учреждениях лучше и не вспоминать. И тем не менее социализм впервые в истории снял с человека древнее проклятие, избавив его от необходимости трудиться «в поте лица своего». Это произошло, однако, не в результате наступления царства всеобщего изобилия, как надеялись основатели социализма, а царства безделья и безответственности. Ценой отказа от того, что когда-то называлось рабочей честью, рабочие получили право больше не работать. Зять Маркса, Поль Лафарг, в свое время говорил о «праве на лень». Советские люди и не слышали о таком праве, что не мешает им вволю им пользоваться.

В экономиках несоциалистического типа всегда существовала некоторая фактическая, хотя и не строгая, связь между заслугами и продвижением по работе. Многие свидетельства заставляют нас думать, что в Советском Союзе эта зависимость стала обратной, поскольку изменилось на противоположное понятие заслуг и достоинств. Качества, которые на Западе позволяют выбиться в первые ряды — ум, знания, здравый смысл, смелость, упорство — там обрекают человека на неудачу. Действительно, все эти качества связаны со свободным развитием личности, которое при советском режиме отнюдь не поощряется. Он предпочитает и продвигает тех, кто удовлетворяется *безличным* развитием и отсутствием собственной личности. Выдвигаются и делают карьеру те, кто доказал свою преданность или же то, что он удовлетворяет соответствующим требованиям, причем критерием отбора является в этом случае способность совершать определенные поступки, осуждаемые общепринятой моралью, но предписываемые моралью идеологической. Умение открыто и не моргнув глазом поступать вопреки велениям собственной совести, вопреки очевидности, которую диктует тебе твой

разум, восхвалять и превозносить того, кто, будучи более искусственным в этой морали, оказался назначенным твоим начальником, наконец, умение доносить — все это требует от человека таких качеств, которые чаще всего несовместимы с умом, знаниями, здравым смыслом, смелостью и достоинством. Таков психологический и моральный портрет людей, которые делают карьеру в СССР. Тот, кто чувствует в себе это призвание, готовится к нему и, наконец, с помощью ряда хорошо продуманных и могущих быть замеченными шагов, привлекает к себе внимание партии. Партийные органы тщательно изучают и проверяют всю его подноготную и в итоге принимают решение, достоин ли он войти в ряды партии и подняться на первую ступень лестницы власти.

Из опыта мы знаем, что в нашем обществе также в изобилии существуют подобные типы, которые иногда даже достигают вершин власти и почета. Однако, они сталкиваются с конкуренцией других людей, отвергающих их мораль и их методы, и могущих, несмотря на это, добиться успеха, ибо на их стороне стоят сам дух нашего общества и общепринятая мораль. Те, кто делают карьеру в условиях советского режима, избавлены от подобной конкуренции. Поэтому в СССР существует целая категория людей (причем она, вероятно, гораздо более многочисленна, чем ее потенциальные соперники), которые там добиваются успеха, прекрасно при этом осознавая, что в другом месте их усилия были бы обречены на провал. Невежды-академики, светила медицины, которые у нас считались бы фельдшерами, бездарные артисты и художники, инженеры, едва достигшие уровня мастера, бестолковые руководители, во все вносящие первозданный хаос — все они, естественно, питают самые теплые чувства по отношению к экономической системе, оберегающей их и предоставляющей все возможности для процветания.

Наконец, еще одно удовольствие связано с санкционированием такого стиля поведения, который в других

условиях послужил бы причиной сурового наказания. Грубо отдавать приказания, унижать своих подчиненных, заставляя их почувствовать свое зависимое положение, выставлять напоказ свой произвол — все эти удовольствия, связанные с обладанием властью над людьми, у нас сдерживаются эволюцией нравов, наличием противостоящего влияния профсоюзов, наконец, простой вежливостью. В СССР это не так. Только здесь можно безудержно предаться наслаждению властью, которое зачастую в ситуации всеобщего недостатка материальных благ становится единственным конкретным преимуществом, связанным с какой-либо административной должностью.

Чтобы определить истинную ценность привилегий (или, вернее, преимуществ), предоставляемых в рамках экономической системы советского типа, мы должны измерять их не в абсолютной, а в относительной шкале. Уровень роскоши, в которой живут советские руководители, иногда весьма значителен. Однако в большинстве случаев материальные блага, которыми пользуется привилегированная прослойка, по западным критериям довольно скромны и характеризуются более низким, чем у нас, качеством. Загородные дачи, зачастую огромные и дорогостоящие, несут на себе неизгладимый отпечаток советских методов строительства. Им далеко до флорентийских вилл, французских усадеб или загородных домов где-нибудь в Джорджии. О большинстве прочих предметов материального достатка можно сказать то же самое. Импортные изделия, изготовленные за рубежом, которые служат отличительным признаком привилегированности, немногочисленны и выбор их невелик. Образ жизни, который эти блага дают возможность вести — и который у нас благодаря своему богатству, утонченности и обаянию представляет собой конечную цель получения материальных привилегий — это не что иное, как тот же советский образ жизни. То, о чем на самом деле свидетельствует наличие привилегий — это место в иерархии власти. Когда советский

руководящий работник получает доступ в закрытый распределитель (как правило, с гораздо меньшим выбором товаров, чем в самом захудалом нашем провинциальном супермаркете), то он знает, что его подчиненный не может об этом даже мечтать. Уровни потребления разграничены таким образом, чтобы сделать наглядными уровни, занимаемые в иерархии. Марксистская идеология учит, что структура капиталистического общества определяется производственными отношениями. Что касается социалистического общества, то смело можно сказать, что его структура определяется отношениями в сфере потребления.

Мандевиль в своей знаменитой «Басне о пчелах» (1714) показал, как частные пороки способствуют общей выгоде и экономическому процветанию. Новый, социалистический Мандевиль мог бы написать подобную басню, но с существенной разницей: речь идет о других пороках, а процветания нет и в помине. Это и есть социализм.

Пороки эти присущи всем людям, и именно потому соблазн социализма распространился по всей планете. Тот вид счастья, который предоставляет социализм, недостижим в рамках нашей экономической системы, столь требовательной, изнурительной и столь беспощадно обращающей в прах все надежды и амбиции бездарей. По-видимому, социализм привлекает людей, воздействуя на два различных уровня их сознания: тем, что он обещает, и тем, что он представляет собой на самом деле. Например: одним из сильных аргументов в пользу советской системы является ликвидация безработицы. Фактически режим удовлетворяется тем, что маскирует безработицу, позволяя считаться «работающими» целой армии полуголодных, нуждающихся людей, получающих за свой труд нищенскую зарплату. Не исключено, однако, что реальность затрагивает здесь более чувствительные стороны человеческой души, чем идеал, и что полная занятость полубезработных нищих оказывается более привлекательной, чем полная занятость насто-

ящих работников. Иллюзорный социализм преобразует действительный облик реального социализма, но люди распознают его истинные черты и втайне их предпочитают.

Товар номер один

Любая книга, автор которой всерьез размышляет о советском социализме, неминуемо приводит нас к образу одинокого пьяницы, жадно поглощающего вонючую бурду «с градусами». Одинокость алкоголика, низкое качество спиртных напитков, непреодолимое стремление пить описывают и Оруэлл, и Ерофеев, и Зиновьев.

А. Красиков посвящает этому явлению интересный экономический анализ, любопытный еще и тем, что содержащиеся в нем цифры (что бывает довольно редко) вызывают определенное доверие (максимальная погрешность приводимых им данных составляет всего лишь 100-200%)*. Монополия на производство и продажу спиртных напитков обеспечивает государству одну девятую всех поступлений в его бюджет. Этот доход превышает расходы на образование и научные исследования и примерно равен сумме отчислений из государственного бюджета, направленных на нужды здравоохранения, спорта и социального обеспечения вместе взятых. На приобретение спиртных напитков в государственных магазинах население затрачивает около 15% всего своего бюджета, что составляет примерно 28% всех расходов на продукты питания. Это значит, что на алкогольные напитки расходуется столько же, сколько на мясо и мясные изделия, ткани, книги, газеты и журналы вместе взятые. Водка — единственный товар, который никогда не исчезает из магазинов. Нередко в сельских магазинах на полках вообще ничего нет, за исключением стоящих на них рядов бутылок. Это единственный товар, за которым не надо стоять

*) А. Красиков, «Товар номер один», в: «Социалистическая оппозиция в сегодняшнем Советском Союзе» (на франц. яз.), Париж, 1976.

в очереди. Следует добавить (и это меняет все цифры), что количество изготавливаемого населением самогона не поддается определению, но оно, вероятно, не меньше, чем производимой государством водки.

Алкоголизм в СССР принимает чудовищные, почти сюрреалистические формы, хотя нельзя с уверенностью утверждать, что в пересчете на душу населения люди там пьют больше, чем во Франции, Италии или Португалии. Особенность советского алкоголизма в том, что в нем, как в зеркале, находят свое отражение все стороны этой системы.

Монополия на производство и продажу спиртных напитков дает государству средства, которое оно направляет на нужды сектора I. Самогон является одним из детищ сектора III, существующего вне социализма. Наконец, к пьянству сводится повседневная реальность строительства социализма.

Значение водки и ее роль не сводятся к какой-то одной функции. Например, она может служить символом привилегированности: существует целая иерархия сортов водки — высшего качества, обычная (терпимо тошнотворная) и жуткие смеси, неизвестно из чего изготовленные. Но в первую очередь она призвана *уравнивать* всех друг с другом. Пьют все — от самых верхов и до низов советского общества. При этом верхи не отличаются манерами, хотя бы отдаленно напоминающими те, которые на Западе символизируют аристократический идеал. Здесь почти не встретишь коллекционеров, знатоков, ценителей, гурманов, галантных кавалеров, умеющих обращаться с дамами. Отсутствуют здесь, впрочем, и сами дамы — зато в изобилии присутствует водка. У низов немного развлечений, помимо выпивки, да и те чаще всего служат очередным поводом, чтобы выпить. Между пьяными возникает своеобразная общность, сотканная из солидарности, взаимопонимания, умиления, разделяемого по-братски отращения к самому себе — запутанная смесь мягкости, грубости и фатализма. В результате именно эта общность,

это взаимопроникновение всех социальных слоев, это стирание всех различий перед лицом бутылки, блевотины и завтрашнего похмелья, и представляет собой воплощение социалистического идеала — в его незапланированном, но последовательном развитии из исходного зародыша и первоначальных намерений его создателей. Благодаря некому раздвоению этой эволюционной линии, остающемуся, впрочем, в рамках логики Великой Утопии, социализм, несмотря ни на что, воплощается в жизнь — но только в затуманенном алкоголем воображении вечерней толпы тех, кто уже «принял свою дозу».

Но в то же время это призрачное царство водки является единственным убежищем, доступным и разрешенным советскому гражданину. Красиков пишет: «Водка объединяет в себе прямые функции системы налогообложения, изымая у граждан деньги, которые поступают в государственную казну, с идеологической функцией — дать народу средство простого и легкого утешения и утопить его мысли в бутылке. Алкоголь (разумеется, в соответствующих дозах) дает то самое хорошее настроение, о котором у нас теперь столько говорится в газетах. Он отвлекает и усыпляет истерзанную совесть. Благодаря нему пьяный перестает считать себя ничтожеством; он подавляет чувство внутренней неполноценности и создает впечатление некоего духовного очищения, то есть сублимирует человеческое «я». В условиях, где человеческая личность ничего не значит, водка дает человеку иллюзию собственной значимости». Поистине чудотворный напиток, способный оказывать столь разностороннее воздействие на человека! Советский человек, находящийся в заколдованном кругу пьянства, фактически пользуется «благами» социализма, но в то же время у него создается впечатление, что ему удалось вытеснить его из себя, вырваться из его когтей, восторжествовать над ним. Освобождение иллюзорное, но тем не менее полезное, ибо оно позволяет терпеть тиранию, образ которой к тому же сам

расцветивается и преобразуется под влиянием алкоголя. И социализм, и его неприятие фантастически перемешиваются в пьяном мозгу и бесследно исчезают, растворившись в парах всеупражняющей водки, дающей желанное забвение.

Эффективность советской экономики

Один из самых высокопоставленных чиновников Французской Республики, занимающий ныне видный пост в руководстве экономикой, с которым я имел честь беседовать несколько лет назад, заметил по поводу советского народного хозяйства: «Они (то есть советская сторона) не очень-то эффективны». Вероятно, сей выдающийся специалист в области планирования не питал особого уважения к достижениям своих советских «коллег», не будучи в состоянии даже представить себе, что те способны ставить перед собой иные цели, нежели его собственные. Чтобы оценить эффективность советской экономической системы, следует прежде всего осознать характер того соперничества с несоциалистическим миром, которое она непрестанно поддерживает. Как мы видели, советский режим стремится не догнать западный мир, но уничтожить его и переделать на собственный лад. С этой целью он имитирует развитые страны Запада — но лишь в том, что касается методов создания и укрепления военной мощи. С этой целью он вынуждает Запад служить своим собственным задачам. С этой целью он развивается, расширяет свою территорию и поддерживает свою стабильность. Если обратиться к его истории за последние шестьдесят с лишним лет, используя в качестве критериев лишь те, которые приняты советскими руководителями и служат им для того, чтобы судить, критиковать и направлять свои действия — то мы не можем не признать эффективности советской экономики. Многие предсказывали ее близкий и неминуемый крах, основываясь на фактах, свидетельствовавших, по их мнению, об ее абсурдности. Это го-

ворит об их близорукости, о неумении увидеть в советской экономике присущую ей специфическую рациональность. Другие, гораздо более многочисленные, предсказывавшие ее подъем, ее «успехи» (в том смысле, как они это понимали), ошиблись по той же самой причине. Раковая опухоль есть явление патологическое и в то же время быстро развивающееся: мы не говорим ни об ее успехе, ни о провале, но можно назвать ее эффективной, если допустить, что ее назначение состоит в том, чтобы убить пораженный ею организм.

Сумеет ли советская экономика окончательно уничтожить «капитализм» и погибнет ли затем сама, выполнив свою задачу? Мы не занимаемся гаданием на кофейной гуще и потому оставляем эти вопросы без ответа. Однако, исходя из наблюдающихся уже сегодня явлений, можно рискнуть и высказать два следующие соображения.

Похоже на то, что перед лицом «капиталистического» Запада советские руководители оказались в ситуации, напоминающей известную сказку о курице, несущей золотые яйца. Ряд лиц по эту сторону железного занавеса прекрасно отдает себе в этом отчет; более того, такая ситуация их вполне устраивает, и они готовы продолжать (в соответствии с советской политикой) проводить политику курицы: чем крупнее и увесистее будут яйца, тем более невыгодным станет убивать курицу. Дилемма, стоящая перед советским режимом, действительно существует и напоминает иные дилеммы, которые ему приходится разрешать с помощью большевистского искусства компромиссов. Однако нельзя забывать, что «законность» советского режима основывается на его способности претворять в жизнь социализм. Золотые яйца желательны и даже нужны, если они дают возможность в один прекрасный день объединить все необходимые условия, чтобы свернуть шею курице. Вспомним, что курицу из сказки зарезали даже без столь веских причин.

Выше мы высказали утверждение, что социализм

регрессировал бы, если бы не было «капитализма», служащего для него одновременно соперником и питательной средой. Допустим, что это произошло: сектор I выполнил свою задачу и упразднен, сектор III наконец-то полностью ликвидирован, а сектор II впадает в маразм, хиреет и угасает. Однако, такая гипотетическая картина предполагает, что социализм представляет собой *единую* систему, завладевшую всей планетой. Но теперь-то мы знаем, что он не развивается в этом направлении, но по мере своего распространения распадается на отдельные блоки, между которыми существует непримиримая вражда. Некоторые наблюдатели высказывают свое удовлетворение фактом возникновения «полицентризма» внутри социалистического лагеря, полагая, что это может его ослабить. Следует различать относительное ослабление СССР и, более гипотетическое, ослабление «социалистического лагеря» в целом. С экономической точки зрения распад на зоны, находящиеся в конфликте друг с другом, вполне может явиться фактором жизнеспособности. Война и вооруженная борьба представляют собой суть ленинизма: она продолжится между социалистическими государствами. Следовательно, им придется содержать и укреплять сектор производства военной мощи и, вполне возможно, остаточный капиталистический сектор, чтобы обеспечить функционирование первого. Социалистическая экономика, даже распространившись на всю планету, будет порождать антагонистические противоречия, соперничество и столкновения, которые позволяют ей избежать маразма и погружения во всеобщую летаргию. Она не деградирует до стадии натурального хозяйства, что было бы, между прочим, весьма элегантным способом замкнуть цикл экономического развития человечества: пройдя стадию социализма, мы вновь вернулись бы к первобытному сбору дикорастущих плодов. Представляется более вероятным, что она пойдет по другому пути и постепенно превратится в перманентную военную экономику.

Политическая экономия или экономическая политика?

С самой первой строчки этого исследования термин «экономика» казался мне неподходящим. Стремясь показать, что мы имеем дело с феноменом, в корне отличным от того, что со времен Ксенофонта и до Кейнса было принято понимать под «экономикой», я предпочел бы иное слово для его обозначения. Но какое? «Система производства и потребления»? Слишком тяжеловесно и в конечном счете столь же неудовлетворительно. Такие неологизмы, как «метаэкономика», «анэкономика» или «антиэкономика», были непонятны и малоприспособлены для употребления. В результате я сохранил для краткости термин «экономика», ни на минуту не упуская из виду замечание моего греческого ученого друга Костаса Папаиоанну, который утверждал, что в СССР нет экономики в собственном смысле слова, поскольку там отсутствует и «ойкос», и «номос»*.

Так что же, признать неправоту Сталина, настаивавшего на том, что существует политическая экономия социализма, и правоту Ярошенко, заявлявшего, что при социализме имеется лишь экономическая политика? Я исходил из того, что следует согласиться со Сталиным и принять его постулат наличия «объективных законов», если только мы хотим понять природу и конечные цели советской системы. В конце концов, советские руководители создали и построили описанную нами выше систему именно потому, что они верили или должны были верить в законы, управляющие социалистической экономикой. И вот теперь, в заключение, я вновь вынужден признать правоту Сталина. Разумеется, основной закон социализма вовсе не тот, что провозгласил Сталин, но важно то, что такой закон существует. В той степени, в какой понятие закона во-

* «Ойкос» и «номос» (др.-греч.) — соответственно «хозяйство» и «закон». (Прим. перев.).

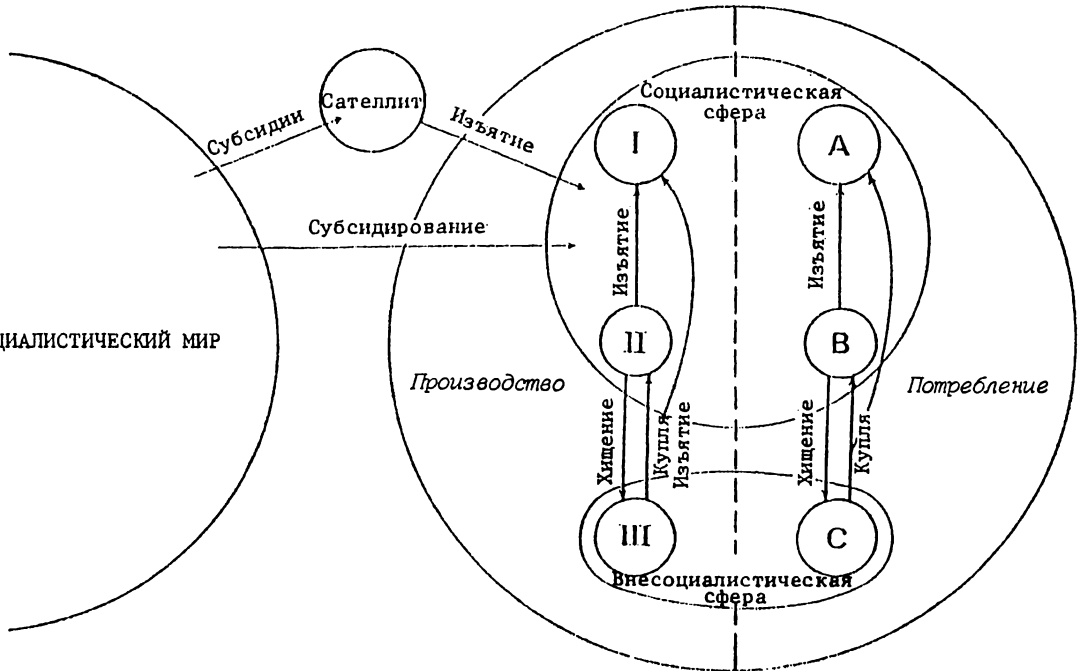
обще имеет смысл в столь неопределенной области, как политическая экономия, оно предполагает, что существует некоторая закономерность, неподвластная свободной воле человека, некая необходимость, подчиняющая себе наши желания. В наших экономических системах западного типа нельзя сделать ничего, что не повлекло бы за собой предвидимые в общих чертах последствия. «Невидимая рука» направляет несметное множество независимых действий миллионов людей, без их ведома, а иногда и против их воли связывает между собой эти действия, формирует из них единое, легко распознаваемое целое. Не подлежит сомнению, что существует и другая, социалистическая форма экономики. Она устанавливается сразу же после того, как в каком-нибудь уголке земного шара «капитализм» оказывается свергнутым коммунистической партией, которая принимается за строительство социализма. Эту форму можно распознать с первого же взгляда. Уже на ранней стадии она обнаруживает себя в характерных внешних проявлениях: очереди, исчезновение мелкой торговли, постоянный дефицит то одних и тех же, то самых неожиданных товаров, определенным образом выглядящие городские улицы, специфический сельский пейзаж. Она развивается всюду по единому образцу, допускающему лишь мелкие отклонения в различных странах, причем эти вариации объясняются действием того же закона, ответственного за всеобщую унификацию. За последние шестьдесят лет были предприняты многочисленные попытки обойти основной экономический закон социализма, провести реформы, либерализовать или ужесточить режим, найти новые пути и перспективы. Все впустую. Можно сколько угодно стараться, менять генеральных секретарей, расстреливать высокопоставленных чиновников, вводить «новую экономическую политику», выращивать «сто цветов», истреблять их, учреждать «пятилетки», «большой скачок вперед», «четыре модернизации», «социализм с маслом», «социализм с гуляшем» — все равно невидимая

рука социализма за короткий срок возвращает все в исходную точку. Политическая экономия одерживает верх над экономической политикой, втискивает ее в те же незыблемые рамки — рамки социалистической экономики. Идея социализма появилась на свет, чтобы свергнуть благодетельный гнет невидимой руки капитализма, чтобы установить на земле царство свободы, царство чистого разума, торжествующего над слепой необходимостью. Теперь, столетие спустя, когда иная невидимая рука, враждебная, бессмысленная и непостижимая, давит все живое своим еще более тяжким мертвенным грузом, мы знаем — это идея социализма, воплотившаяся в жизнь.



СОВЕТСКАЯ ЭКОНОМИКА

НЕСОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ МИР



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Михаил Геллер</i> — КОРНИ И ЛЮДИ .	5
РУССКОЕ ПРОШЛОЕ И СОВЕТСКОЕ НАСТОЯЩЕЕ	13
О ПРОБЛЕМЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОВЕТСКОГО РЕЖИМА	35
РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ И СОВЕТСКОЕ ВЛАДЫЧЕСТВО .	65
КРАТКИЙ ТРАКТАТ ПО СОВЕТОЛОГИИ...	80
ПОХВАЛЬНОЕ СЛОВО КОРРУПЦИИ В СОВЕТСКОМ СОЮЗЕ .	170
СОЛЖЕНИЦЫН В ГАРВАРДЕ	203
ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ УБЕЖДЕННОСТЬ ДО И ПОСЛЕ ПРИХОДА К ВЛАСТИ .	233
АНАТОМИЯ ОДНОГО ПРИЗРАКА: ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ РЕАЛЬНОГО СОЦИАЛИЗМА	267